

НАЕДИНЕ С СУРОВОЙ КРАСОТОЙ

Как я потеряла
всё, что казалось важным,
и научилась любить...

Карен
Хувинен





SHOUT
SHARE IT

Annotation

Карен бежит от проблем в маленькую деревню в горах Колорадо и остается наедине со своими мыслями на фоне красоты и жестокости природы. Когда пожар уничтожает все, что у нее было, она еще сильнее замыкается в себе. Но, пытаясь примирить жажду одиночества с потребностью в обществе, Карен находит путь назад и становится счастливой. Эти вдохновляющие мемуары – дань уважения сорока сезонам, которые автор прожила в горах, а также признание в любви непредсказуемым и прекрасным силам природы.

- Карен Аувинен



- Глава 1

- Глава 2

- Глава 3



- Глава 4

- Глава 5

- Глава 6

- Глава 7



- Глава 8

- Глава 9

- Глава 10

- Глава 11



- Весна

- Лето

- Осень

- Зима

- Кода



- Глава 12

■ Глава 13

■ Глава 14

○ Эпилог

○ Благодарности

○ Примечание от автора

○

• notes

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

○ 6

○ 7

○ 8

○ 9

○ 10

○ 11

○ 12

○ 13

○ 14

○ 15

○ 16

○ 17

○ 18

○ 19

○ 20

○ 21

○ 22

○ 23

○ 24

○ 25

○ 26

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

○ 34

○ 35

○ 36

○ 37

- ☐ 38
- ☐ 39
- ☐ 40
- ☐ 41
- ☐ 42
- ☐ 43
- ☐ 44
- ☐ 45
- ☐ 46
- ☐ 47
- ☐ 48
- ☐ 49
- ☐ 50
- ☐ 51
- ☐ 52
- ☐ 53
- ☐ 54
- ☐ 55
- ☐ 56

Карен Аувинен

Наедине с суровой красотой

Как я потеряла все, что казалось важным, и научилась любить

Karen Auvinen
ROUGH BEAUTY:
Forty Seasons of Mountain Living

© 2018 by Karen Auvinen (Scribner, a Division of Simon & Schuster, Inc., is the original publisher)

Серия «Книги, о которых говорят»

© Мельник Э., перевод на русский язык, 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

*Моей матери Сюзан, у которой
не было своего голоса,
и Грегу, который помог мне
обрести мой собственный*

*...и знает человек: за долгим
одиночеством, за многими шагами,
сделанными прочь от себе подобных к
царству незнакомцев, вся песнь его
молитвой истовой вскипает изнутри
– о том, чтобы вернуться, коль
возможно, ко всему родному, к миру,
почти утраченному в изгнании, что
глубже с каждым годом, когда
слишком долго живешь один.*

Голуэй Киннелл

Пролог

Истовая молитва



Март был густо замешен на предвкушении – маятник между зимой и весной, между спячкой и ростом – месяц надежды, месяц перемен. Его наступление означало, что зима непременно окончится. К тому времени на моем счету будет почти четыре с половиной месяца холодов и изоляции. И хотя я любила этот покой – дни, что были медитативны и плавны, ночи, ледяные и полные сновидений, и того рода роскошный глубокий сон, который приходит, когда закутаешься в несколько слоев одеял и перин, – это не означало, что мне было легко. Снега выпадало по футу^[1] за раз. Безмолвие ощущалось физически; порой мой собственный голос взрывал тишину, точно тело, проламывающее лед. И резкость, и рывок погружения заставляли меня вздрагивать. А еще был зимний ветер – *ян* для *инь* снега, – который завывал и скребся в хижину, грохоча оконными стеклами, точно живое существо. В рамках такого ландшафта учишься неподвижности.

К марту я была готова проклянуться.

В то утро, правя в сторону дома, я бросила взгляд в вышину между стройными телами сосен – этакий силуэт деревьев на фоне невозможно синего колорадского неба. Пара воронов реяла над горным склоном, выслеживая чужие беды. Эти птицы напоминали мне стайки мальчишек-подростков – шумных, буйных, полных чувства собственной важности. Было еще рано, часов десять утра, и зябко – первый день марта. Я развела огонь в печи своего бревенчатого дома, когда ночная температура упала почти до нуля, потушила рубленый сельдерей и лук для кукурузной

похлебки, а потом отправилась развозить почту по своему деревенскому маршруту; это была одна из трех моих работ с частичной занятостью. Элвис – красавец-блондин, смесок хаски, мой постоянный спутник – сидел на сиденье старого синего внедорожника рядом со мной, принохиваясь к холодному горному воздуху, дувшему сквозняком из щелочки над стеклом.

Я думала о весне, о смене сезонов. Несмотря на годы, проведенные в горах, и тот факт, что следовало бы в моем возрасте быть умнее, все мое тело гудело от мыслей о более теплых, более долгих днях, о колибри, звенящих у меня над террасой, о запахе тучной почвы, поднимающемся от оттаивающей земли. Первому настоящему проблеску весны – цветам ветреницы, контрастирующим своими бледно-фиолетовыми тонами с красно-коричневым ландшафтом, – предстояло появиться еще только через шесть недель, но ощущение *оттепели* меня завораживало. Я чуяла ее в заостренности мышц и конечностей, в бледности своей кожи. Мое тело созрело для освобождения. Всего через пару недель я поеду на равноденствие в Юту, буду праздновать возвращение солнца и позволю своему зимнему «я» развязать узлы и ослабить хватку.

Эта зима была полна всяких «впервые»: я, наконец, впервые надолго обосновалась в доме после слишком многих нескладных лет переездов с места на место; я завершила первую ступень высшего образования; и я блаженно жила одна – без экономической необходимости и относительного непостоянства соседей по жилью. Только я себя раздражала, только на себя должна была реагировать. После десяти с гаком лет, потраченных на «американские горки» случайных заработков и разных учебных заведений, я, наконец, уgomонилась. Здесь, говорила я себе, именно здесь будет мое начало. Обязательства отныне связывали меня, впервые в жизни осевшую на одном месте, не с людьми, а именно с местом. Презрев возможность трудоустройства в других штатах и экономический комфорт работы «с девяти до пяти», я сделала ставку на ландшафт, поставила все свои фишки на дикую природу.

Я осела на одном из самых высоких обитаемых мест в предгорьях Передового хребта Скалистых гор, где еще есть доступ в Интернет, не слишком удаленном (в пятидесяти минутах езды) от ближайшего крупного города (Боулдер). Бревенчатый дом, который я называла «полоса К»^[2], стоял на высоте 8500 футов, где зимы были долгими, а лета короткими, но чудесными. По горе широко разбрелись жилища горстки соседей, по большей части на участках в один-два акра^[3], отделенных друг от друга

неровностями местности, отмеченных там и сям купами скрученной широкохвойной сосны, толокнянки и смородины. Еще пять сотен человек обитали в Джеймстауне, расположенном в пяти милях^[4] ниже по каньону, где я прожила пару лет, когда завела Элвиса, а теперь работала поваром в кафе «Меркантиль», или попросту «Мерк», единственном и неповторимом бизнес-заведении городка. Я жила не на диких пустошах Аляски, но сравнительная изоляция и одиночество жизни «там, наверху» устраивали и меня, и моего полудикого пса, который намного лучше вел себя при отсутствии огороженных дворов и прогулок на поводке. Мы с ним оба были капельку неприручаемыми. У меня имелась инстинктивная потребность в дистанции и просторе. Как и медведю гризли, животному, которое некогда обитало на Великих равнинах Колорадо, мне нужна была своя территория. К тому же я всегда предпочту преувеличенно раздутые опасности соседства с медведями и пумами намного более зловещей угрозе со стороны людей, тишину и одиночество житья в горах – шуму и раздражителям, присущим современному миру.

Всю осень и зиму я пускала корни. Меня пьянила мысль о самостоятельности и тихой жизни, не говоря уже о давно лелеемой страстной мечте устроить свой дом именно так, как мне того хотелось. Я купила коренастые мексиканские деревянные стулья для гостиной и приглашала друзей в гости на креветок в текиле или тайские карри. Я расставила на полках свои книги по типам и жанрам. Там было место для медитации в длинной узкой спальне и место для занятий йогой. Я даже посадила под зиму первые травы – что было не так-то просто на моем затененном клочке земли, поросшем темным сосновым лесом, – и начала планировать летний огородик на открытой террасе. Я кормила птиц, разбрасывая семена для юнко^[5] и вывешивая длинные тонкие трубки для синиц и дятлов – птиц, которых запугивали стеллеровы сойки и наглые и бесстрашные канадские кукши, не говоря уже об одной решительной серой белке, которая, сердито стрекоча, ругала всех подряд. По утрам я писала, прихлебывала кофе и наблюдала за этой изменчивой иерархией, а Элвис разглядывал белку через окно со сдвижной рамой, наострив уши и склонив набок голову.

Жизнь в глуши лаконично расставляет приоритеты: готовить еду, укрываться от непогоды, сохранять тепло. Времена года и климат диктовали все до единого аспекты моего дня – от того, что я ела, до того, чем занималась. Зимой я впадала в спячку на горе и питалась томленным мясом и корнеплодами вдобавок к поленте или картофелю и проводила долгие дни за чтением у

камина и сочинительством. Летом ходила в походы, устраивая пикники с нарезанными помидорами и хумусом, свежими ягодами и взбитыми сливками, упиваясь роскошными днями на свежем воздухе вместе с Элвисом: моей жизнью повелевала Природа.

Зима означала необходимость каждый день разводить огонь в холодном брюхе громадной чугунной печи, которая обогревала все четыре комнаты моего дома и не давала замерзать водопроводным трубам. В хижине не было газового или электрического отопления, так что каждое утро я выбегала босиком на снег, чтобы собрать в ведро растопку, а потом укладывала лучинки поверх скомканной газеты, заткнутой между двумя положенными параллельно полешками внутри печи. Я разводила огонь, как это делается в *типи*, между поленьями, чтобы он как следует разгорелся, а затем добавляла сверху пару-тройку сосновых щепок покрупнее, прежде чем закладывать лучшее топливо – толстые дубовые чурбаки из распиленных железнодорожных шпал. Для разведения огня требуется терпение: угольки надо мало-помалу подкармливать. Стоит слишком поторопиться и положить слишком много дров – дерево оплывает и принимается чадить. Слишком много воздуха – и пламя умирает. Я обычно начинала растапливать с открытой печной заслонкой, а потом прикрывала ее, оставляя щелочку для тяги в дымоходе, варила себе кофе и кормила Элвиса, дожидаясь, пока печь будет готова принять дубовые щепки помельче, а потом чурбачки покрупнее. Этот заведенный порядок ощущался как священнодействие, равное медитации или заведенному мною же ежеутреннему ритуалу – записывать отчет о погоде и прилетавших птицах. Это был мой способ сохранять ориентиры, вести учет, закладывать фундамент грядущего дня. Теперь это ощущается как молитва о жизни, которой я и представить себе не могла.

Я жила не на диких пустошах Аляски, но сравнительная изоляция и одиночество жизни «там, наверху» устраивали и меня, и моего полудикого пса.

Отчасти к жизни «там, наверху» меня побуждали три разные работы, которыми я жонглировала: помимо курса творческого письма в общественном колледже недалеко от Боулдера у меня еще был маршрут доставки почты, двадцатипятимильная петля по двум каньонам вокруг моей хижины, плюс работа в «Мерке» в Джеймстауне. Каждый день ездить на работу в город было непрактично, так что, как и многие, я выбрала работу на горе.

В то утро я начала день вместе с воронами: мне нужно было

проверить студенческие работы, и еще было эссе, над которым я работала. Я повернула машину на Крокетт-трейл, лес обступил дорогу, и я бросила взгляд в сторону дома. Что-то необъяснимо светилось теплым сиянием на подъеме, там, где стоял мой дом; ближайшие деревья были тронуты мягким заревом, тем же чудесным призрачным свечением, которое отбрасывает на древесные стволы костер, разведенный в лесу. Пышное оранжевое полотно покрывало крышу на западной стороне дома. Против всякой логики мелькнула мысль: может быть, это хозяин проводит окуривание. Полотно элегантно колыхалось в утреннем воздухе, образуя алые и оранжевые волны, которые мерцали и бились на ветру.

Прошла секунда – и картина обрела смысл.

Мой дом горит. Эта мысль ударила меня в грудь, как тараном.

Я вдавила педаль газа и кулаком ударила по клаксону.

Как только в моем мозгу оформилось слово «пожар», я свернула на грунтовку, отходившую вбок от дороги прямо напротив моего дома, непрерывно сигналив клаксонами. Моя соседка Барбара, брюнетка и любительница похихотать, показалась на пороге, размахивая телефоном: она уже позвонила в добровольную службу горных пожарных – десять минут назад. И сейчас снова набирала их номер. Она и ее муж Чак владели компанией по управлению недвижимостью, и мой участок с домом, расположенный на расстоянии взгляда от их дома, был как раз одним из съемных жилищ, находившихся под их управлением. Я была знакома с ними полгода – достаточно долго, чтобы понимать, когда стоило держать дистанцию. Они были дружелюбны, но слишком любили «заложить за воротник» и под это дело громко разглагольствовать о своем оружии, своих правах, своей свободе. Чак комкал и глотал слова даже тогда, когда не был пьян.

– Не понимаю, куда они запропастились, – начала было Барбара, но я уже сдавала задом к своему дому.

Время запнулось и сломалось, развертываясь в замедленном движении дергаными, глотавшими целые куски рывками. Даже теперь эти картины мелькают перед глазами: моя машина, резко останавливающаяся в двадцати футах от дома; Элвис, молчаливо и спокойно наблюдающий за всем с переднего сиденья; мои руки, взлетающие в воздух рядом с крышей, словно я могла бы их движением погасить пламя; пробежка до пожарного шланга, который уже занялся огнем.

Мой дом горит. Эта мысль ударила меня в грудь, как тараном. Я вдавила педаль газа и кулаком ударила по

Первое правило поведения при пожаре – отойти от него подальше, но инстинкт, требовавший сохранить и составляющие, и доказательства моего существования, включился автоматически. Я побежала к огню, к жару, думая – необъяснимо – о чеке за аренду, который выписала только этим утром, и о купленной новой блузке, первой за много месяцев, которая висела в моем шкафу с еще не срезанным ценником.

Огонь накатывал и опадал огромными волнами от передней комнаты на западную террасу с ровным непрерывным гулом, как мчащийся поезд, с тем же звуком, какой издает торнадо. У дома были длинные северная и южная стороны, а пожар сосредоточился в северо-западном углу, неподалеку от двери и дровяной плиты и вдоль террасы на западной стороне. Пламя облизывало газовый гриль и еще наполовину полный баллон на террасе. Ниже лежала куча старого хвороста, которая могла вспыхнуть в любой момент. Слышно было, как горит дощатая терраса: треск и хлопки пронзали даже рев пламени. Внутри стена огня продвигалась по длинному туннелю дома к его задней части и моему кабинету.

У предыдущего жильца загорелась сажа в трубе, вдруг вспомнила я, и мне стало тошно. Это не такая уж редкость в горах, где столь многие дома отапливаются дровами. Но всю зиму моим девизом были слова «я осторожна». Осенью мне прочистили дымоход, а мое главное топливо – дубовое – горело бездымно и жарко. Мне смутно припомнилось мое собственное самодовольство – часть коллективной лжи, которую вечно твердят себе люди, мол, «со мной такого не случится», – это тонкое стекло между безопасностью и опасностью, иллюзия контроля, которой мы защищаемся от хаотичного, непредсказуемого мира.

Я побежала к восточному концу дома, думая о компьютере, стоявшем на моем письменном столе, всего в четырех футах от задней двери. Огонь пока преодолел только около четверти пути и сейчас поджигал гостиную и угрожал кухне. Время еще было. Я могла спасти самое важное. Поэтому и распахнула заднюю дверь.

Второе правило при пожаре – не входить в горящее здание. Но я уже мысленно подсчитывала, какой объем работы может оказаться потерянным: две книги стихов, собрание рассказов и книга эссе, над которой я сейчас работала, бесчисленные заметки и фрагменты – все в моем компьютере. Разумеется, у меня не было ни резервных копий, ни несгораемого шкафчика, ни диска, хранящегося в машине или где-нибудь еще. Мы всегда

воображаем, что катастрофы происходят с кем-то другим. Хотя, как было известно всем знакомым, я каждую зиму шепотом, полным содрогания, рассказывала ужасную историю об утраченных рассказах Хемингуэя, мне почему-то казалось, что к катастрофам у меня иммунитет – пусть я и немало пережила их в своей жизни.

Дверь вырвалась из моей руки, и клуб черного дыма вышиб меня с заднего крыльца. Я оступилась, кашляя, и пришла в себя уже на земле в тридцати футах от дома, колотя по ней кулаком и вопя: «Нет! Нет! Нет! Нет!» – словно могла остановить происходящее, словно могла погасить пламя силой руки, колотящей по земле, и волей одной только этой мысли: ПРЕКРАТИ!

Не может быть, чтобы это было на самом деле, конвульсией пронеслось в мозгу. Теперь я уже плакала навзрыд, и огромные, душераздирающие рыдания поднимались из самых глубоких глубин моего тела. Но слез не было – только вырывавшиеся из меня стоны, точно гром – звук, рождающийся в атмосфере, когда сталкиваются на скорости заряженные частицы и стихии.

Теперь я нарушила и третье правило поведения при пожаре: оставила дверь открытой, и холодный горный воздух вливался в дом, подкармливая пламя. Наружу продолжал вырываться черный дым, расстилаясь по сухой зимней земле. Птичьи кормушки были пусты, небо над головой хмурилось тучами. Я побрела прочь, к машине, проехала к дому Чака и Барбары, оставила Элвиса в машине, а сама пошла смотреть на пожар с подъездной дорожки.

На горе воцарилась жуткая тишина. Этакое расчлененное безмолвие. Мир совершенно затих: если не считать непрерывного рева пламени, на все словно наложили печать полного отсутствия звуков. Ни птицы не пели, ни белки не трещали; ни криков, ни собирающейся толпы. Я стояла одна, дожидаясь пожарной машины. Посыпались первые снежинки.

Явился Чак на своем внедорожнике, тоже сигналив клаксоном. Он поволок было к дому пожарный шланг, но к тому времени вентиль на наружной стене уже перестал существовать. Потом он решил съездить на базу добровольной пожарной команды каньона Лефт Хэнд, располагавшуюся в пяти милях от нас.

– Им следовало бы уже быть здесь, – заметил он.

Донна, которая жила примерно в 450 ярдах^[6] к западу и была моей единственной соседкой, чей дом находился в пределах видимости от моего, появилась на минуту и снова исчезла, чтобы предупредить остальных соседей, которые могли оказаться дома; она поехала по Крокетт, а потом и по Бриджер – дороге, что была позади нашей. Из-за больших размеров горы и крутизны вершины

соседи могли ничего не знать; а в сухую погоду, свойственную концу зимы, искры от пожара обладали способностью быстро распространять огонь. После того как Донна постучала в дверь моего соседа на юге, мужчины, с которым я до последнего времени не была знакома, он раздвинул занавески в задней части своего дома и только тогда заметил пламя, видневшееся между разделявшими нас деревьями. *Ни хрена ж себе!* Потом он рассказал мне, что стоял и непонимающе смотрел на пожар, ошеломленный тем, что до него не доносилось ни звука.

Мне почему-то казалось, что к катастрофам у меня иммунитет – пусть я и немало пережила их в своей жизни.

А я тем временем ждала, и мною владело некое чувство, выходящее за рамки беспомощности. Пожар уже проломился в среднюю часть дома, его наступление виделось через окна, как замедленное прохождение огненного поезда через станцию. Каждое окно на длинной северной стороне дома обозначало отдельное помещение: теперь пламя наполняло эркер кухни. Я знала, что массивный фермерский стол, сработанный из цельного дуба, который я так долго берегла, уже горит. Я старалась не думать о вещах, но против воли в моем сознании выскакивали картинки – предметы, которые я собрала благодаря упорному труду и удаче: индонезийское деревянное трюмо – его мне подарили; профессиональный миксер *KitchenAid*, доставшийся за смешные деньги; три с лишним сотни кулинарных книг, которые я закупала, создавая крупнейшую «бумажную» коллекцию в стране; ортопедический матрас, что выиграла для меня в лотерею моя мать.

Но истинной трагедией была моя потерянная работа. Теперь между пожаром и моим кабинетом стояла только ванная комната. Еще восемь футов.

Я начала бормотать нечто вроде молитвы.

– Только не жесткий диск, не мой жесткий диск, – приговаривала я себе под нос, взывая к богам, ангелам, духу – ко всему, что только могла вообразить. Забавно, какими четкими стали мои приоритеты, каким простым виделось спасение! Я начала торговаться с мирозданием. *Возьми всё, думала я. Оставь мне мои слова.*

– Давай же, давай, – шептала я.

Огонь – обоюдоострое лезвие жизни в горах. Запах дыма отмечает зимние дни, когда он тонкими колоннами поднимается из печных труб в Джеймстауне и домах, разбросанных по горе. Это аромат уюта и тепла. В кельтской мифологии богиня Бригит

покровительствует тройному огню целительства, металлургии и поэзии. Ее огни преображают и создают.

Но огонь может и разрушать. Джеймстауну уже угрожал на моей памяти лесной пожар – всего полгода назад, в октябре, когда поздний осенний шквал носился взад-вперед по каньону, всю ночь поднимая на дороге «пыльных дьяволов». Деревья тряслись, как припадочные, и ветер завывал до самого утра, когда особенно сильный порыв расщепил дерево, упавшее на высоковольтную линию под напряжением в тринадцать тысяч вольт. Пожар, поначалу вроде бы локализованный, снова разгорелся с возвращением ветра, с хорошей скоростью двинувшись вниз по горе Порфири к городку. Моя подруга Карен Зи вместе с другими жителями Джеймстауна с удовольствием смаковала «мимозу»^[7] и приготовленные на завтрак буррито в «Мерке», а Джоуи, владелец «Мерка», разливал бесплатный кофе, когда взвыли сирены. У них была лишь пара минут на сборы и подготовку к бегству. Джеймстаунские пожарные прилагали героические усилия по спасению городка, роя траншеи на его окраинах и устраивая встречные палы, чтобы дать отпор стене пламени, что подошла к домам на северной оконечности городка на считанные футы. Дом Карен был в безопасности, как и все жилые дома в городке, но более двенадцати «официальных» зданий на вершине горы Порфири пожар не пощадил, оставив дома, не подключенные к общей системе, без электричества и воды. Пожарные самолеты не успели прибыть вовремя.

В день джеймстаунского пожара я ходила на смотровую площадку всего в пяти минутах ходьбы от своей хижины – смотрела, как ветер подталкивал пламя в сторону равнин к востоку от меня. Пожар двигался прочь, заволакивая восточный горизонт дымом. Мой дом был выше, но я все равно уложила вещи в грузовик – просто на всякий случай, взяла подстилку и корм для Элвиса, свою походную экипировку и зимние одежды, блокноты, некоторые фотографии, свой поварской нож и стационарный компьютер.

Я не хотела оказаться неподготовленной.

Я вспоминала тот день, глядя, как языки пламени появляются в окошке ванной комнаты, за которой была моя спальня. Оставалось два фута. Мои пальцы были сжаты в кулаки в рукавах слишком легкой флисовой куртки. Я скрестила руки на груди и сунула кисти под мышки. Дрожа, я раскачивалась взад-вперед на ступнях, стараясь не плакать. Из носу текло от холода. Я наблюдала за пожаром откуда-то извне собственного тела. И ждала.

Через добрый час после первого звонка прибыл грузовик со

всего-то двумя пожарными. Почти сразу же грузовик застрял в канаве, пытаясь въехать задом по моей подъездной дорожке на наклон грунтовки, покрытой трехдюймовым слоем скользкого мокрого снега. Второму пожарному грузовику пришлось вытаскивать первый, чтобы освободить путь. Наконец, прибыл третий грузовик. Был уже почти полдень.

Я бегала от одного пожарного к другому, умоляя каждого вызволить мой компьютер. Но компьютер – не младенец и даже не домашний любимец. *Пожалуйста, помогите*. От моей просьбы отмахивались. «Идите и попросите шефа», – сказал кто-то из пожарных. Да, я умоляла спасти вещь, неодушевленный предмет – но этот предмет был моей жизнью, моей идентичностью.

Через добрый час после первого звонка прибыл грузовик со всего-то двумя пожарными. Почти сразу же грузовик застрял в канаве.

Наконец, приехала Карен. Она, почти на двадцать лет меня старше, была моей приятельницей и напарницей по кемпингу и собаководству. В городке нас так и называли, «двумя Карен», – она была Карен Зи, а я Карен А. Нас связывали довольно колючие отношения – ее грубоватый стиль не уступал моему собственному; но нам хорошо путешествовалось вместе – *на двух внедорожниках*, – и мы ковали свою дружбу на любимых местах для походных лагерей и утренних прогулках с собаками.

– Мой компьютер! – завывала я, и она отправилась искать шефа пожарной бригады, мужчину по фамилии Денисон, а я смотрела, как приехавшая пожарная команда стояла и наблюдала за пламенем. Они перерезали электропровода, свалили пару ближайших деревьев и теперь дожидались прибытия цистерны с водой.

К этому времени весть о пожаре распространилась по горе, и несколько джеймстаунских бездельников – завсегдатаев, которые любили как следует надраться и потрепаться в «Мерке» и являлись, независимо от наличия приглашения, на любые городские именины, свадьбы и банкеты по случаю выхода на пенсию, – собрались поглазеть на развлечение у дома Чака и Барбары. Они хохотали и матерились, передавая от шезлонга к шезлонгу бутылку бурбона «Мейкерс Марк». Чак так и держал в руке шланг. Этот пожар – лишний повод для вечеринки, смутно подумалось мне. Я всех их терпеть не могла.

– Хочешь глотнуть? – спросил Джоджо, седобородый каджун^[8] и один из джеймстаунских старых похабников, протягивая в мою сторону бутылку. – Поможет от того, что тебя гнетет, – он кивнул в сторону дома. Джоджо лишился

собственного дома в Оверлендском пожаре предыдущей осенью и теперь жил вместе с женой на Мейн-стрит в самой середине Джеймстауна.

Я приложила к губам бутылку с бурбоном. Жгучий напиток не подарил ни тепла, ни утешения. Потом я побрела назад к дороге, чтобы посмотреть, что происходит, и поравнялась с еще одной парочкой из Джеймстауна – они шли, держась за руки, словно собираясь на пикник.

– Привет, Карен, – окликнул меня Ричард так, словно мы оба пришли сюда по одной и той же причине. Это был красивый мужчина под шестьдесят, музыкант, которого я знала как завсегдатая субботних вечеров в «Мерке». Я имею в виду, мы вполне могли узнать друг друга в лицо, стоя в очереди, и обменяться парой небылиц, но и только. Лишь спустя несколько недель он подошел бочком к моему рабочему месту в «Мерке» и робко выразил свои соболезнования.

Пожарная команда принялась сносить стены дома – это был их первый решительный поступок. Они перебрасывались словами вроде «сдерживание», «окружить и затопить» вместо «спаси» и «спасение». Ровная струя воды была из пожарного рукава в центр дома. Ее целью было не дать огню распространиться на близстоящие дома. Позднее кто-то рассказал мне хохму о местной пожарной команде. Мол, их девиз – «Мы спасаем фундаменты с 1975 года».

В моем всегда уединенном закутке на горе теперь былолюдно. По всему ландшафту двигались сквозь снегопад человеческие тела – пожарные с топорами и брандспойтами, соседи, подходившие поближе, чтобы лучше видеть. Я вспомнила выражение Сильвии Плат «хрустящая арахисом толпа» – да, вот она я, нечаянная исполнительница стриптиза.

Карен Зи повела меня к дому Карли, расположенному в семидесяти пяти ярдах вверх по горе на восток, где мне выдали кружку чая и стопку желтых официальных бланков. Там были и другие люди – пили кофе. Карен разговаривала по телефону с организацией «Помощь жертвам».

– Запиши все, – велела Карли, протягивая мне ручку.

Тем вечером в номере мотеля, оплаченном Красным Крестом, не в силах уснуть, я обсессивно занималась перечислением всего, чего лишилась. Финская конфирмационная Библия XIX века, принадлежавшая моей прапрабабке Аувинен, – мое единственное семейное сокровище. Лист ватмана, подаренный мне поэтессой Кейт Браверман, которая специально для меня сочинила стихотворение и записала на нем. Первые издания с автографами... Разум споткнулся. Ничто из этого я никогда не

смогу ничем заменить. Тогда я стала составлять списки вещей, чья ценность имела какое-то выражение, вещей, которые можно было снова приобрести, – все они были связаны с готовкой, все были старательно собраны: редкие, не переиздаваемые кулинарные книги Жака Пепена и Энн Уиллан; кастрюли и сковороды фирмы *All-Clad*; полный набор профессиональных немецких ножей; дубовый стол; вручную изготовленные, привезенные из Италии тарелки; стопки отслужившей свое посуды *Fiesta*... Я заполнила пять страниц, строку за строкой, чувствуя себя виноватой из-за своей любви к краскам и красоте: изысканно накрытый стол с контрастной столовой посудой, добротные скатерть и салфетки в апельсиновых и золотых тонах, сверкающее зеленое стекло; гладкая керамика, которая так элегантно оттеняла еду...

В детстве этих красивых вещей вокруг меня не было. *Наверное, я их на самом деле не заслужила*, думала я, вот потому-то их и не стало. Я не могла избавиться от ощущения, что каким-то образом провинилась, что сделала что-то такое, что навлекло на меня случившееся. В ту ночь я перечислила все до единого ценные предметы, какие могла припомнить, оценивая их долларовую стоимость, потому что попросту не была способна представить ценность вещей, чья цена измерялась памятью или сердцем.

В доме Карли вокруг меня кружили люди, попивая кофе и разговаривая, но я была вне всего этого, в шоке. Я не хотела ни разговаривать, ни слушать, ни быть рядом с кем бы то ни было. Наверное, я вполне могла внезапно уйти оттуда, внезапно исчезнуть. Была вторая половина дня. Снег продолжал кружиться пухлыми хлопьями; зима все еще не сдавалась. Пожарные двигались по склону вокруг хижины, точно безмолвные жрецы. У меня не хватило духу досмотреть всё до самого горького конца. Я развернулась спиной к пожарищу и проскользнула по сугробу к дому Чака и Барбары и своему внедорожнику; открыла дверцу и выпустила Элвиса поразмять лапы. Он оставался в кабине с середины утра и все время пожара, ни разу даже не заскулив. Пес выпрыгнул из машины, принялся и пулей метнулся к снежному сугробу. Упав, перекатился на спину, широко раскидывая лапы, и, рыча, принялся извиваться. На склоне над нами стена передней комнаты моего дома внезапно обрушилась, металлическая крыша накренилась и обвисла, как дверь.

Я, моргая, поглядела на дом, а потом на своего пса, радостно валявшегося в снегу.

Несколько месяцев мой дом представлял собой великанскую могилу. Пепелище не собирались расчищать до начала лета. Люди, жившие по соседству, рассказывали мне истории об обугленных листах бумаги, которые разносил ветер, – фрагменты моих дневников, мои рассказы усыпали, точно снегом, всю гору. Написанное мною стало привидением, живущим в округе.

– Прибережь их для вас? – спросила соседка, которую я едва знала.

– Нет, – отказалась я. Это было уж слишком.

Как-то раз вечером она загнала меня в угол в «Мерке», чтобы рассказать, как составляла стихи из пойманных фрагментов. Я понимала, ей казалось, что эта идея может мне понравиться, но на самом деле мне хотелось ее придушить. Это были *мои* слова.

Во мне всегда был силен этот инстинкт – засучить рукава и взяться за дело, какой бы мрачной ни была задача. На эту-то знакомую территорию я и отступила, оставляя мили пути между собой и случившимся. *Должно быть, так было суждено*, думала я. Это был единственный ответ на вопрос «почему». Единственный ответ, который мог извлечь надежду из трагедии, резон – из двух футов пепла.

Впоследствии, разглядывая фотографии, сделанные на пожаре, я видела дом, сиявший заключенным внутри него светом. Толстые стены и металлическая крыша удерживали огонь внутри. На почтительном расстоянии пламя, полыхавшее между деревьями, казалось лучистым – почти радостным, словно мой дом был гигантской дровяной печью. И действительно, мне говорили, что температура внутри достигала тысячи градусов.

Мой дом стал своего рода печью для обжига.

Лишь немногие вещи уцелели: чугунная сковорода, моя любимая керамическая кружка, украшенная солнцем, луной и звездами, и фигурка медведя из пемзы. Все – закаленные в пламени. Больше ничто в двухфутовом слое золы и металла внутри следа, оставленного на земле бывшим домом, спасению не подлежало – даже мой компьютер. Я с надеждой извлекла из пепла стальной корпус, но было слишком поздно: жесткий диск растекся лужицей поблескивавшего металла. День за днем я озадаченно разглядывала формы и предметы, которые выкапывала из золы; я была антропологом, рывшимся в прахе своей жизни.

То, что осталось, формы не имело: моя собственная кожа и кости, годы, которые я потратила на старания уйти прочь, ошибочное противостояние ради независимости. Все это привело меня сюда.

Мне, почти сорокалетней, пришлось проскребать и пробивать свой путь к нынешнему моменту; мне потребовались годы, чтобы сложить этот костер. То, что осталось, формы не имело: моя собственная кожа и кости, годы, которые я потратила на старания уйти прочь, ошибочное противостояние ради независимости. Все это привело меня сюда. Огонь был со мной с самого начала – он приложил руку к моему собственному творению. Память и скорбь были похожи на золу. Поначалу, в первые месяцы после того, как на моих глазах горел мой дом, я истово молилась о выживании. *Да буду я жива.* Лишь потом, после того как я ушла от всего еще дальше, сведя тесное знакомство со скалами и звездами, позволив ландшафту укрыть меня, я поняла, что это было и мое возвращение.

Часть первая

Мальборо-вумен

Глава 1

Хорошая девочка



Мой дедушка Пит, итальянский иммигрант во втором поколении с большими умелыми руками, нередко рассказывал о том, как я, двухлетняя, сидела у него на коленях и ела вафли. Когда он подносил к моим губам вилку с масляной, облитой сиропом сладостью, я раскрывала рот, как птенец.

– Вж-жик, вот и нет вафельки! – говорил он. – А вот я тебе другую дам, и... вж-жик! – поддразнивал дед. Когда он делал это недостаточно проворно, я хватала вафли руками.

– Вж-жик! Вж-жик!

Хотя он смеялся, снова и снова пересказывая эту историю, по его растерянному тону было ясно, что каким-то образом я нарушала правила.

Такой аппетит ставил меня за рамки поведения, считавшегося приличным для женской части нашей семьи. Мой вкус к жизни распространялся отнюдь не только на еду; у меня была склонность набрасываться на мир, вбирая его весь целиком. «Мой маленький бычок», – называла меня Барбара – миниатюрная, вся в жемчугах и бриллиантах бабушка. Коленки у меня были вечно ободраны, кожа на локтях – груба и суха, плечи и ступни – слишком велики, волосы все в колтунах. Мне хотелось контактов со всем и вся, но я жила под пятой семейных ожиданий: *Почему я не могу быть более утонченной? Более женственной?* Я облизывала тротуар, потому что мне нравился вкус грязи, и выкапывала дождевых червей после ливня, чтобы посмотреть, как они вытягиваются и извиваются в пластиковом тазу в гараже, где я их держала. Я была уверена, что мир полон тайн, и жаждала

собрать их все в один кулак. Когда мне было четыре, я прыгала на родительской кровати перед трюмо в нашем трейлере в Саннивейле, штат Калифорния, говоря матери, что когда-нибудь однажды запрыгну внутрь зеркала и уйду жить к маленькой девочке, которую видела там. Потом, став старше, я гоняла наперегонки на роликовых коньках с воображаемыми друзьями по внешнему выступу тупика в районе Залива в Сан-Франциско, где мы жили пару лет подряд: нас мотало по всему Западу, поскольку папа служил в ВВС США, – меня, моих братьев Криса и Стива, с которыми мы были близки по возрасту, моих родителей и нашу собаку Митци.

– Иди оденься! – гремел дедушка Пит, когда я голяком носилась по дому – в три, в пять, в семь лет. Такая безудержная жизнерадостность не могла не внушать тревоги.

Однажды, стеной из-за полного отсутствия у меня какого бы то ни было изящества, бабушка Барбара, которая никогда не оставляла попыток заставить мои волосы ниспадать локонами, а руки – лежать на коленях, растянула мои пальцы в аккорд на *игрушечном* рояле, что я получила в подарок на Рождество, и воскликнула:

– Эти ручонки, эти пухлые маленькие ручонки! – словно форма моих конечностей была неким изъяном характера, за который *меня* следовало призвать к ответственности.

Мое будущее явилось в обличье двух кукол, подаренных мне: одна была монахиней в черно-белом облачении, другая – невестой, одетой в белое кружево с вуалью. Я, не говоря ни слова, уложила обеих в коробки и убрала на полку в своей спальне, где они и оставались вплоть до того дня, когда я отрубила голову невесте для школьного проекта по ИЗО, а монахиню похоронила на заднем дворе.

Я ненавидела кукол.

Хоть в вечерних новостях не раз показывали сюжеты о женщинах, сжигавших свои лифчики, моя семья, управляемая старосветским чванством отца-итальянца, оставалась непроницаемой для социальной революции, чей эпицентр находился всего в каких-то пятидесяти милях по побережью Залива от нашего первого настоящего дома. Вместо хиппи и Хейт-Эшбери^[9] мне рассказывали о Вьетнаме и серийном убийце Зодиакe, безликом чудовище, – как мне казалось, оно рыскало в кустах на моем пути в школу.

Мы переехали в Милпитас, штат Калифорния, – городок, расположенный у шоссе Нимиц на «вонючем выезде», названном так из-за того, что тамошний воздух был густо налит торфяным запахом коровьего навоза и солончаков, – прямо перед тем, как я

пошла в школу. Местные горы были покатыми и зелеными, пусть и вечно затянутыми пеленой тумана и – уже в те времена – смога. Наш покрытый золотистой штукатуркой дом, ютившийся в последнем дворе на краю спального микрорайона, был вполне терпимым жильем по сравнению с трейлерами, в которых мы жили прежде – поначалу в Неваде, где я родилась, а потом в Саннивейле, где после Невады был расквартирован мой отец. У нас впервые появились собственные стиральная и посудомоечная машины, и отец невыносимо хвастал тем фактом, что ему было позволено выбрать не только цвет дома, но и бытовые приборы цвета авокадо и двухцветный жесткий ковер. Это же упрочение социального положения!

Мой вкус к жизни распространялся отнюдь не только на еду; у меня была склонность набрасываться на мир, вбирая его весь целиком.

Я научилась кататься на роликах и велосипеде на Мун-Корт, часами играя в одиночку со своими воображаемыми мультяшными друзьями: Морским Мальчиком и Малышкой Одри. Подружек у меня было раз и обчелся. Пожалуй, только Айрин, голубоглазая красотка из Техаса, которая жила по соседству, но она была на несколько лет старше. У нее были длинные ресницы и темные волосы, слегка кудрявившиеся вокруг ее веснушчатого личика, и она была по-техасски вежлива, обращаясь к моим родителям «да, мэ-эм» или «сэр». Она приглашала меня к себе играть в маскарад с куклами Дон – более миниатюрными, более гламурными версиями Барби; но меня не хватало дольше чем на одну перемену костюмов, хоть я и мечтала о ярко-розовом вечернем платье – таком же, как у одной из Дон, со сверкающим серебристым лифом.

Как бы я ни улещивала Айрин, она не интересовалась ни бегом, ни катанием на велосипедах, ни ловлей речных раков в канаве. Вместо этих игр она поучала меня, рассказывая о качествах истинной леди, однажды пригрозив, что если я буду слишком гордиться своими длинными волосами, ночью придут гремлины и отгрызут их.

Так что оставалось только общаться с другими детьми из нашего квартала – сплошь мальчишками, – которые хотели играть либо в догонялки, либо в доктора. Мои братья сколотили свою компанию, сдружившись за играми в «джи-ай» и армию и собиранием моделей самолетов, за изучением анатомии и именованием своих пенисов «Мортимер» и «Чарли». Они держали «пипи-банк» – мочу в бутылке из-под «Мистера Клина» – в куче мусора сбоку от дома. Как-то раз я попыталась внести в него

собственный вклад, присев на корточки среди мокрых деревяшек и грязи над узеньким бутылочным горлышком – с предсказуемым результатом.

В моей семье женщины были этакой «петрушкой на тарелке» – либо красивыми аксессуарками, либо помощницами: моя бабушка Барбара, стройная красавица с ножками, как у Бетти Грейбл, была элегантным аккомпанементом к внушительной внешности деда; мать плыла по жизни, скрываясь в облаке дыма от «Салема», вечно усталая и смертельно молчаливая. Выросшая в семье двух драчливых алкоголиков, она с молодых ногтей научилась держаться подальше от линии огня и, лишившись собственной профессии по воле родителей – те отказались оплачивать ей колледж, потому что она была девушкой, – в восемнадцать лет пошла служить в ВВС, где и познакомилась с моим отцом, которого прозвали «Уолли Кейкс». Полагаю, он был первым мужчиной, с которым она поцеловалась. К двадцати годам она была замужем, беременна и уволена с военной службы. В те времена можно было либо служить в армии, либо иметь детей. Мама молча следовала в кильватере карьеры моего отца в ВВС из Калифорнии в Неваду и обратно, потом в Колорадо и на Гавайи, все это время меняя одну тупиковую должность продавщицы магазина на другую, чтобы помочь семье сводить концы с концами.

У меня не осталось ни одного бесспорного воспоминания о ней из тех ранних лет. Вместо них все, что у меня есть, – это собрание фотографий: моя мать-блондинка вручает мне кружевную голубенькую ночнушку на Рождество, когда мне было шесть; мама в очках «кошачий глаз» стоит перед пасхальным окороком, украшенным ананасом и вишнями, когда мне было семь; опрятная мама с красивой дневной укладкой, позирующая в светло-голубом костюме со своими родителями перед зданием католической миссии в Монтерее. Но эти фото – из семейного альбома. На них моя мать – статичная фигура, пойманная снимком в полуулыбке, застывшая во времени. Вот такой же она была и дома – насекомое под стеклом. Я годами наблюдала, как она расплющивалась под тяжестью вспыльчивого характера моего отца.

– Ну-ка, голову опустила! – орал на нее отец. Сперва он разглагольствовал, потом угрожал. Потом, лет через десять после начала их семейного союза, стал бить.

Папа был красавчиком с капризными губами и копной черных волос, зачесанных ото лба к затылку. Неудивительно, что мама в него влюбилась. Он был энергичен и харизматичен, но непредсказуем – сейчас само очарование, а через миг уже

кипящий котел бешенства. Никто не мог предугадать, когда произойдет взрыв.

* * *

Истории о моей семье – это истории о мужчинах. Я выросла в тени, которую отбрасывали их колоссальные эго, привечавшие смачные удовольствия и чисто мужские радости. Каждый из них жил с того рода привилегиями и независимостью, которых была лишена я. Проще говоря, мужчины занимались делом, женщины смотрели. Их эскапады составляли мифологию моего детства: легенды о прадеде Бернардо, великане ростом больше двух метров; он был стражником итальянского короля Умберто, а потом добывал алмазы в Африке и, по слухам, убил двух мужчин, которые пытались его ограбить, сдавив обручем своих исполинских объятий. Он приехал в Америку с моей прабабкой, которая умерла родами, и после ее смерти перебрался на Запад, чтобы работать на угольной шахте в Юте, где впоследствии и умер от чахотки.

Или о Пите, сыне Бернардо, сорванце времен Великой депрессии. Пит избежал голодной смерти в сиротском приюте, поедая насекомых со стен, а в четырнадцать лет пас овец в Юте. Он проводил долгие дни и ночи в изрезанной каньонами местности неподалеку от Брайса верхом на лошади, наедине с собакой и огромными синими небесами Запада, его единственными спутниками. С ранних лет мой ум неотступно преследовала история об одиночке в дикой глуши, и я жаждала такого рода приключений.

Отец повествовал о своих злоключениях; его рассказы были преимущественно о каверзах, которые он устраивал на ранчо своего дяди в Вайоминге, или о том, как его лупили по рукам линейкой в католическом пансионе в сороковых годах. Во время урока о преисподней он поднял руку и спросил монахиню, можно ли будет ему, когда он умрет, отправиться жить к дьяволу. Там вроде бы поинтереснее.

Одним из его любимых развлечений было повезти нас с братьями в автозакусочную, где он делал заказ, подражая китайскому акценту, а у окошка выдачи переключался на другую роль, прикидываясь то смуглым французом, то бесшабашным голландцем, а мы с братьями от души хохотали.

Как-то раз я попыталась подражать браваде отца, рассказав ему в красках ходивший в школе анекдот о передвижном туалете («маленьком красном фургончике»). Я только добралась до самой

«соли», довольная своим выступлением, неудержимо хихикая, и тут отец схватил меня за плечи, сказал, что это грязный анекдот, и запретил мне играть и разговаривать с той *мерзкой девчонкой*, которая мне его рассказала.

С ранних лет мой ум неотступно преследовала история об одиночке в дикой глуши, и я жаждала такого рода приключений.

Во мне, оставленной за бортом семейных героических преданий, в отсутствие человека, с которого я могла бы брать пример, развилось инстинктивное стремление делать все в одиночку. Всего в пять лет, не умея ни различать время по часам, ни читать, я знала, что, когда поздним утром заканчивается «Улица Сезам», пора идти в школу. Мать уже успевала уйти на работу к тому времени, когда я брала свой ланчбокс с Джози и кошечками^[10] на крышке и шла будить отца, который отсыпался после смены на второй работе – он подрабатывал на кладбище. А потом я шла в школу, до которой была миля пути.

Ах, если бы я была хорошей... думала я, ибо «хорошая девочка» – это максимум того, на что я была способна. Проблема заключалась в том, что «быть хорошей девочкой» означало не только быть послушной и вежливой, но и – совершенно непосильная задача – красивой. Я была простушкой, к тому же довольно полной. Место встречи моих передних зубов напоминало наконечник стрелы, а моя улыбка – неуклюжее извинение. Когда папа, которому нравилось воображать, будто он способен провидеть будущее, изрекал предсказания насчет своих детей, он говорил, что Стив будет астронавтом, Крис – ученым, а я – объявлял он, словно вручая мне наилучший возможный подарок, – «мисс Америкой-1982». С тем же успехом он мог бы сказать, что я вырасту лошадью или лебедем. Его предсказания вовсе не были признанием моей существующей красоты; наоборот, он воображал самое лучшее, самое успешное из того, чем я могла бы, по его мнению, стать.

Разрываясь между противоречивыми желаниями «быть хорошей девочкой» и решительно действовать, между принятием и бунтом, я зигзагом носилась по своим ранним годам, точно олениха, пойманная в загон. Я так часто не оправдывала ожиданий, что думала: «Должно быть, я плохая». Как доказательство принимался тот случай, когда я однажды ударила бабушку по лицу: она ласково наклонилась, чтобы поцеловать меня на сон грядущий. Ее неожиданные объятия посреди ночи ошеломили и напугали меня.

– Ах, так! – фыркнула она, уходя прочь.

Сгорая со стыда, я изобразила полное неведение, когда на следующий день она приступила ко мне с расспросами: «Милая, ты же не хотела ударить свою бабушку, правда?»

Горя желанием исправить свою порочность, я решила, что то, чего мне не хватало в традиционной благообразии или терпении хорошей девочки, я наверстаю послушанием. Не могу быть хорошей девочкой в одном – буду в другом. Однажды, услышав отцовский посул выпороть меня, когда мы вернемся домой, я, переполненная чувством ответственности, сама принесла ремень и вручила его отцу.

Но соблюдение законов моей семьи приносило лишь мимолетное облегчение. Большую награду обещал институт покрупнее – католическая церковь. Церковь была местом совершенства столь сладкого, что ее святые сияли золотыми нимбами, и мой безупречный дед пускал слезу всякий раз, перебирая пальцами черные жемчужные четки. Я хотела быть такой же благочестивой, такой же добродетельной. Прочитав в катехизисе историю о девочке, которая увидела ребенка на дороге и оттолкнула его с пути мчащейся машины, а сама погибла – но при этом умерла доброй католичкой, – я стала высматривать на улицах людей и животных, чтобы спасти их ценой собственной гибели. Тот факт, что моя смерть, похоже, могла каким-то образом сделать акт спасения более духовным, делал его и более желанным. После того как мне в семь лет сказали, что добрые благочестивые католики осеняют себя крестным знаменем, проходя мимо церкви – *любой церкви*, – я стала креститься. Я интуитивно пришла к пониманию, что мой удел – *убеждать* других в моей добродетельности. И поэтому послушно полдесятка раз читала «Отче наш», как велел священник по итогам исповеди; а прежде он поучал меня в темной нише исповедальни «читать отца своего и мать», хотя я и не упоминала в исповеди ни маму, ни папу, да и в неповиновении не сознавалась. Я хорошо выучилась послушанию.

Когда папа изрекал предсказания насчет своих детей, он говорил, что Стив будет астронавтом, Крис – ученым, а я – объявлял он, словно вручая мне наилучший возможный подарок, – «мисс Америкой-1982».

Моими грехами были ложь и алчность.

Я воровала в магазине неаполитанские кокосовые конфеты для субботнего утренника, пока это не заметил отец и не прогнал меня, вопящую «нет, папочка, нет!», по всему торговому залу к менеджеру, у которого, клянусь, был на подхвате знакомый коп.

Тот продемонстрировал мне наручники и сказал, что мог бы забрать меня, и мне пришлось бы провести ночь в тюремной камере. В другой раз я убедила своего старшего брата Криса, который нес на себе тяжкий груз ожиданий, возлагаемых на первенца, и беспрестанно терзался чувством вины, что это он сломал крышку посудомоечной машины, встав на нее ногами.

И еще мне нравилось плести небылицы.

В игре «покажи и назови» я возбужденно демонстрировала фигурку из раковин, которую добыла на Рыбацкой пристани Сан-Франциско, или странную пасхальную корзинку, сделанную из опорожненного контейнера из-под отбеливателя, увенчанного резиновой головой Матери Гусыни; свои особенные предметы я готовила заранее, за несколько недель. Я с ликованием сообщала слушателям о том, что Митци, наша холощенная собака, наполовину бассет-хаунд, наполовину немецкая овчарка, якобы принесла щенков, которые копошились, скулили и засыпали, свернувшись рядом с белым маминым животом, как крохотные шарики черно-коричневого теста. На другой неделе героиней рассказов была наша несуществующая кошка Миднайт: она окотилась, и теперь котятки мяукали по всему нашему дому. Еще как-то раз моя мать была беременна двойняшками. Не знаю, почему я воспринимала рождение как средство решения моих проблем, – для меня оно ничем хорошим не обернулось.

* * *

По выходным мы с братьями занимались тем, чем хотел заниматься отец: рыбачили, ездили на базу ВВС наблюдать воздушные гонки истребителей, делали ставки на бегах и скачках, играли в боулинг, смотрели новые научно-фантастические фильмы, обыскивали розовые клумбы и парки Сакраменто во время ежегодно проводимой охоты за сокровищами, и мой отец был уверен, что «уж в этом-то году!» мы будем единственными, кто расшифрует еженедельные подсказки, и найдем предмет, который сделает нас «удачливыми победителями!» и обладателями огромного денежного приза. Папа был уверен, что от гигантского выигрыша его отделяет всего одна ставка, всего одна улыбка удачи.

Мой отец, похвалявшийся тем, что не способен заблудиться в лесу, был прирожденным походником и «дикарем», охотившимся на лосей и оленей. Больше всего я любила ходить с ним в походы и рыбачить. Наши вылазки были настоящими экспедициями, в начале которых папа загружал в фургон кулеры и спальные

мешки, алюминиевые стульчики, удочки, нашу палатку весом в пятьдесят фунтов и – всегда – огромную упаковку спагетти, которые он готовил целый день. Я научилась стрелять из 22-го калибра, потрошить форель и выслеживать оленей. Природа, как я ее понимала, была одновременно прекрасна и опасна. По ночам под толстой шкурой парусиновой палатки я лежала без сна, затаив дыхание, испытывая в равных долях страх и благоговение оттого, что не вижу собственной руки, если помахать ею в считанных дюймах от лица, и воображая, как мои пальцы уплывают в ночное небо, точно звезды, в то время как папа сидел у костра, не подпуская близко медведей, вместе с Митци и двустволкой, прихлебывая виски «Краун Ройал».

Когда наставало утро, на завтрак у нас была жареная форель, и картофель с розмарином, и яичница-глазунья, пожаренная на жире, вытопленном из бекона, и чуть обуглившиеся на костре тосты, и вкусный дым плыл между деревьями. Мы с братьями прочесывали место стоянки в поисках следов когтистых лап и камней, перевернутых медведем, которого отпугнул отец, или оленьих и кроличьих троп на земле.

В этих походах – единственных отпусках, которые бывали у моей семьи, – отец заполнял наше воображение историями о троллях, что бродят по ночам, но превращаются в камень с рассветом, или о громадном, как остров, окуне, живущем в озере, где мы рыбачили. Стоило нам завидеть островок, который мог оказаться заросшей камнями и кустарником спиной этого окуня, как я принималась божиться, что заметила, как некоторые его участки двигались. Повзрослев, я стала рассказывать собственные истории – вначале в отряде герл-скаутов, и потом тоже – когда работала вожатой во время учебы в колледже: страшилки об «альбиносах» или человеке с корзиной вместо головы, который жил среди деревьев. Хотя эти истории и были предназначены пугать слушателей, я понимала, что там, вне досягаемости уличных фонарей и тротуаров, идет иная жизнь.

На досуге отец больше всего любил «пойти посмотреть лошадок» на ипподроме Бэй-Медоуз в те дни, когда мать работала. Помню, как я разглядывала пальмы, качавшие кронами над дорожками ипподрома, и пила лимонад, а папа и его друг, дядя Стэн, потягивали бурбон с колой из замороженных стаканов и обсуждали на особом кодовом языке каждый забег. Ипподром пах сигарным дымом и был усыпан желтыми, голубыми и красными билетиками – свой цвет для каждого места и типа ставки, – и мы с братьями подбирали их в поисках нечаянно выброшенных выигрышных. Зрители, делавшие ставки, ревели: «Давай, седьмой! Вперед, тройка!» Распорядитель испускал

пронзительные вопли «Де-е-е-ейли да-а-а-абл!»^[11] попеременно со звоном трекового колокола. Между забегами я снова и снова прокручивала в голове особые слова ипподрома: *перфекта*^[12], *тройное пари*^[13], *трифекта*^[14] и (моя любимая) *квинелла*^[15] – прекрасное слово, которое звучало как сладкий и сочный десерт, приготовленный из ванильного мороженого и какого-то затейливого торта. Папа крепко сжимал в руке программку и делал заметки карандашом, одновременно изучая ипподромное табло, прежде чем сделать ставку – всегда в последнюю минуту. А я выбирала своих фаворитов по внешности – сочетанию одежды жокея и масти лошади; метод, который как минимум в одном случае принес мне огромный выигрыш и побудил дядю Стэна поставить на мой выбор в следующих трех забегах.

Я помню друзей отца, компанию парней из ВВС – все молодые, всем от двадцати до тридцати, – чуть ли не лучше, чем своих собственных приятелей. Это были «дяди». Стэн был картежником в черных очках с толстыми стеклами, явным мозговым центром компании; он называл меня и братьев «типчиками». У Дона была блондинистая прическа «афро» и забавная манера щелкать пальцами при разговоре; он со временем женился на сестре моей матери, Мэри Энн, и стал мне настоящим дядей. Последним был Тетушка Пол, милый мужчина, изначально нареченный именем Лестер, а прозвище Тетушка дала ему я, поскольку у нас уже было слишком много дядюшек. Ларри Хармони был здоровенным рыжеволосым парнем, который однажды блевал на можжевельник на нашем переднем дворе во время одной из папиных вечеринок с *банья кауда*^[16], отчего можжевельник стал золотистым и разросся вдвое пышнее. Ларри стрелял уток и фазанов, которых мы запекали к воскресенью Суперкубка; детям давали задание – ошипывать ошпаренные тушки. А центром компании был мой отец, человек, который играл в боулинг шаром цвета жженого сахара с надписью *polata*, что на пьемонтском сленге означало мужское яичко, и припасал для каждой вечеринки целый мешок пошлых анекдотов.

Я научилась стрелять из 22-го калибра, потрошить форель и отслеживать оленей. Природа, как я ее понимала, была одновременно прекрасна и опасна.

Поскольку папа был солнцем, вокруг которого описывали орбиты столь многие, мы с братьями часто оставались, точно луны, дожидаться его возвращения. Где только не приходилось ждать – на полях для игр с мячом и на собачьих бегах, у продуктовых магазинов, на «детских площадках» у казино, с горстью четвертаков, выданной на игру и закуски, в то время как

родители предавались азартным играм весь день напролет, или же у кого-нибудь дома, пока отец играл с хозяевами в бридж или смотрел футбол, запивая зрелище галлонами вина «Карло Росси» и красным бургундским, распевая с друзьями «Эй-ей-ей-ей, пососи мой *juan-pachee*»^[17].

Огромные куски моего детства заглотнула скука – не того общего для всех детей свойства, когда мы жалуемся, несмотря на игрушки и друзей, что нам «нечем заняться», а такая, которая появляется, когда убиваешь время. Мы с братьями придумали игру под названием «мост-ломайся-аллигатор-ешь» для тех дней, когда папа оставлял нас в машине, а сам шел за продуктами в магазин на территории базы. «Разрешено брать с собой только одного ребенка за один раз!» – говорил он, и это означало, что он просто оставлял в машине нас всех, вместо того чтобы выбрать одного, который пройдет внутрь. В этой игре тот игрок, который изображал мост, перекрывал собой пространство между передними и задними сиденьями нашего микроавтобуса, в то время как «ломатель» переползал через его спину. «Аллигатор» поджидал, затаившись в изножье заднего сиденья, и все мы приговаривали: «Мост, ломайся, аллигатор, ешь!»

Папа был мастером-церемониймейстером и дома, объявляя, что мы поедem в кафе-мороженое или автозакусочную.

– Надевайте-ка пижамки да подушки берите, – говорил он на манер конферансье.

В нашем доме он был главным поваром и врачом, рвал зубы с помощью плоскогубцев и носового платка, втирая в десны немного бурбона.

Он также был нашим сержантом по строевой подготовке.

Огромные куски моего детства заглотнула скука – не того общего для всех детей свойства, когда мы жалуемся, несмотря на игрушки и друзей, что нам «нечем заняться», а такая, которая появляется, когда убиваешь время.

По субботам мы с братьями просыпались рано, чтобы успеть посмотреть как можно больше мультиков, пока отец не начнет выкрикивать приказы. Вооруженные чистящими средствами и бумажными полотенцами, метлой и пылесосом, мы наводили чистоту в доме, гараже, своих комнатах, старательно выполняя назначенные нам задачи. Если мы работали недостаточно быстро и без должного энтузиазма, папа грозился и орал.

– Поторапливайтесь! – говорил он. И мы поторапливались.

Угрозы были папиной управленческой политикой. Ему достаточно было только щелкнуть ремнем или пригрозить дать

нам «повод для слез», а иногда и перекинуть кого-нибудь из нас через колено, постыдно спустив штаны. По мере того как мы росли, ремень все чаще заменяла его мощная лапища.

Хотя отец с гордостью рассказывал, как я самостоятельно приучилась к горшку, когда мне не было еще и года, я этого не помню – помню только, как он нависал над моим старшим братом и вопил «отправляйся в ванную», которая находилась в конце длинного коридора трейлера в Саннивейле. Когда Крис мешкал, отцовская рука взметалась атакующей змеей и шлепала двухлетнего сына. Я тогда едва начала выговаривать слова, но уже распознавала опасность и инстинктивно избегала необходимости «усваивать уроки».

Один такой урок касался спичек. Обвязав резинкой мои тесно сжатые пальцы и вставив в центр зажженную спичку, он требовательно спросил:

– Будешь еще играть со спичками?!

– Нет, папочка! – кричала я.

Он продолжал держать мою руку, пристально глядя на меня своими зелеными глазами с золотыми крапинками, точь-в-точь как у меня. Пламя ползло вниз по деревянной щепке. Жар постепенно начинал припекать подушечки моих пальцев.

– Нет, папочка, нет, папочка! – вопила я.

Любовь была наказанием.

* * *

К тому времени как я пошла в третий класс, задолго до того как абрикосы и вишни, посаженные родителями на заднем дворе, достаточно подросли, чтобы плодоносить, отца перевели на другую базу, и наша семья переехала из Мун-Корт в Милпитасе на Потиз-Драйв в Колорадо-Спрингс, где просторное колорадское небо и жизнь на краю прерий поглотили меня с головой. Я не могла вообразить более прекрасного зрелища, чем покрытые снежными шапками горы, вздымавшиеся навстречу небу из широкой чаши степей зимой, или вуали теней, которые они отбрасывали летом.

Родители купили разноуровневый дом в Симаррон-Хиллс (это был уже пятый адрес в моей жизни), окруженный пустыми, заросшими сорняками участками на скудно застроенной окраине жилого района, ограниченного бесконечными полями, тянувшимися в сторону Канзаса.

К пятому классу я стала этакой Гуди Два Ботинка^[18]: примерной ученицей, трудолюбивой, внимательной, заботливой –

любимицей учителей, и герлскаутом, заслужившей значки «домохозяйки», «наблюдателя», «любителя», наряду со значками за «домашнее здоровье и безопасность», «гостеприимство» и «водные забавы». Но все менялось по мере того, как я все чаще чувствовала себя викторианской героиней, запертой в гостиной и наблюдающей за жизнью своих братьев со странной смесью ярости и зависти.

Они зарабатывали деньги, деля на двоих один ежедневный маршрут доставки газет. Крис занимался футболом, а Стив играл в бейсбольной Маленькой лиге. Домашние обязанности мальчиков заключались в работах на воздухе – они стригли лужайку и пололи сорняки, выгуливали собаку. А я? Я подрабатывала бебиситтером – работа, которая состояла в основном в убивании времени. Мои домашние обязанности включали всё от мытья полов и полировки мебели до уборки ванной – «женские дела».

Отряд бойскаутов, где были мои братья, ходил в походы с ночевками, они спали в палатках, в то время как я в своем отряде герлскаутов училась народным танцам и изготовлению бумажных цветов для людей, которые жили в доме престарелых. Перед тем как наш отряд отправился на пикник в лес, мы несколько недель занимались изготовлением «сиденья» – подушки, которую привязывали шнурками к талии, чтобы не запачкаться, сидя на земле. Вдохновленная детскими походами в лес с отцом, я грезила о том, как буду спать одна в легкой палатке и выслеживать зверей. Я хотела научиться выстрегивать предметы из дерева, печь печенье на костре и разбираться в растениях.

Вот что я говорила сама себе: давным-давно я прибыла на землю со своими родителями-инопланетянами – моими настоящими родителями – и потерялась или разлучилась с ними.

Едва став герлскаутом, я начала упрашивать родителей послать меня в летний лагерь, где я неделю жила бы в лесу и стала настоящей лесовичкой; но на это никогда не хватало денег. *Когда тебе будет двенадцать*, обещали они.

А пока я, чтобы посидеть на земле и послушать, как затихает день, забиралась на гору на участке к западу от дома ранними летними вечерами, когда солнце бросало косые лучи поперек полей и нетопыри беззаботно попискивали в темнеющем голубом небе. Высокие одичалые подсолнухи и поташник – те растения, которые засыхают и отваливаются от корня, скапливаясь у проволочных изгородей ветреными осенними днями, – обступали мои широкие плечи.

Я была уверена, что попала не в ту семью.

Знойный день выдыхался, как вдруг сильный гул – словно воздух выдували через длинную трубу, или как внезапно включившееся радио, – наполнял мой слух. Не раз и не два я слышала этот звук. Я закрывала глаза и задерживала дыхание, с надеждой поднимая лицо к небу.

Вот что я говорила сама себе: давным-давно я прибыла на землю со своими родителями-инопланетянами – моими *настоящими* родителями – и потерялась или разлучилась с ними, но потом их время вышло, и им пришлось вернуться домой. Каким-то образом я оказалась в этой семье – у людей, которые слишком часто смотрели на меня с подозрением или с изумлением и потрясенно раскрытыми ртами. *Что это она такое делает?*

Я знала, что этот звук, раздающийся в моих ушах, был голосом моих родичей, людей точь-в-точь таких же, как я, пытающихся рассказать мне, как вернуться домой, – вот только я забыла их язык. Если я сосредоточусь, говорила я себе, то вспомню. Если я задержу дыхание, то слова ко мне придут. И я оставалась совершенно неподвижной, зарывшись пальцами ног и рук в прохладную землю, пока в небе проявлялись первые звезды, и пыталась вспомнить язык, данный мне от рождения.

* * *

Моя мать вернулась к учебе, чтобы заниматься изобразительным искусством – профессией, которую она надеялась получить, когда ей было восемнадцать. И внезапно дом ожил, заполненный ее работами – скульптурами, вырезанными из гипса, залитого в формы из молочных пакетов, и проволочными мобилями, свисавшими с потолка. Мама включала *Goodbye Yellow Brick Road* Элтона Джона или Джима Кроче и танцевала со мной в гостиной. Она купила мне первую пару брюк клеш и учила меня вязать макраме. Она покрасила металлическую лейку для сада в желтый цвет и разрисовала ее цветами, посадила на заднем дворе кукурузу и цуккини.

После слишком многих лет вечного непротivления,
вечного «да» я начала намеренно, вызываяще говорить
«нет».

Мои родители ссорились чаще.

Однажды, ни с того ни с сего, отец спросил меня, как я отнесусь к появлению маленькой сестрички.

– Я всегда хотела сестренку! – выпалила я.

Через пару дней родители сообщили новость: теперь нас в семье будет шестеро.

Но моя детская фантазия о том, что новое рождение сделает мою жизнь более приятно-волнующей, обернулась пшиком: так вот хватанешь залпом стакан холодного молока и обнаружишь, что оно прокисло. Я была в восторге от перспективы появления новой сестры – ведь наверняка это будет девочка – и с живейшим интересом наблюдала, как мамин живот растёт и превращается в большой шар.

Рождение сестры нелегко далось матери: у нее было высокое кровяное давление, и в свои тридцать пять лет она считалась входящей в группу высокого риска. Ее пришлось положить в госпиталь Академии BBC. Два с половиной месяца я махала маме сквозь окно ее палаты, потому что отец говорил, что детей в отделение не допускают. Наконец родилась Нэнси-крикунья – весом меньше двух с половиной килограммов, – и ее было никак не утихомирить: она словно чувствовала, где именно оказалась.

Перед ее рождением мне исполнилось двенадцать лет и три недели.

Не было никакого летнего лагеря. Вместо этого летом перед переходом в средние классы я была назначена нянькой для младшенькой, что просто добавило к списку моих домашних обязанностей *внутри* дома еще одну, и я кормила сестру, и меняла ей подгузники, и играла с ней, пока родители пытались восстановить свой брак путем консультаций и ряда свиданий вне дома.

Я была уверена, что попала не в ту семью.

Я с радостью приняла ответственность за сестру – это позволяло мне чувствовать себя важной, взрослой. Никто не подвергал сомнению мое – по умолчанию – положение няньки, даже я сама поначалу, но вскоре до меня дошло, что я попала в ловушку. Я отдала не один год стараниям быть хорошей девочкой, предвосхищать потребности других, делать то, что мне сказано. И куда же, думала я, это меня привело?

В то лето, когда я глядела на братьев, которые могли гонять на велосипедах или ходить в гости к друзьям, в то время как я сидела с Нэнси, что-то во мне сломалось.

Вот тогда-то я и решила: *не буду*.

Это решение было подобно бомбе, сдетонировавшей в моей голове. После слишком многих лет вечного непротивления, вечного «да» я начала намеренно, вызываясь говорить «нет».

Глава 2

Говорить «нет»



В средних классах я была полна решимости возделывать свой крохотный клочок земли на нашей маленькой школьной ферме к востоку от Колорадо-Спрингс. В конце первого года учебы, повинувшись внезапному импульсу, я вошла в команду болельщиц, став вначале запасной, а потом пробившись в основной состав. Мой коронный прием? Я умела вопить громче всех.

Внезапно проникнувшись горячим желанием оказаться подальше от дома и своих обязанностей няньки при сестре, я занялась легкой атлетикой. Без особого успеха бегала на длинные дистанции (не рассчитывая силы) и с препятствиями (недостаточно быстро), а потом вступила в гимнастический клуб. Хотя отъявленная дерзость и верткая способность прыгать сальто назад и крутить «колесо» обеспечивали приглашение в клуб большинству девочек, мое умение твердо стоять на ногах и упрямство сделали свое дело. Я была непоколебима на бревне и умела садиться на любой шпагат, хоть в моем репертуаре и не было никаких настоящих гимнастических трюков. И все же то, чего мне недоставало в мастерстве и стройности, я восполняла характером и решимостью. Моим коронным приемом на разновысоких брусьях была мертвая петля – соскок, при котором я бросала себя назад из позиции сидя на нижнем брус. Мое туловище совершало переворот вокруг бруса и шло вверх, так что когда грудь поднималась, я поворачивалась к брусу спиной и твердо приземлялась ступнями на пол с поднятыми руками. Во мне жила потребность толстой девчонки доказать, что она чего-то стоит, всем и каждому. Я старалась усерднее всех, я была

сильнее, я не отступала. Из этой решимости проклюнулся новый бутон уверенности, и на недолгое время я стала одной из популярных девочек в школе. Все это резко оборвалось, когда мы уехали из Колорадо – прямо перед тем, как мне исполнилось четырнадцать.

Новое назначение отца унесло нас за три тысячи миль от материка и друзей, в его вторую обязательную «заграничную» командировку. Мы могли бы поехать в Бельгию или Францию, но папа нацелился на Гавайи, поскольку там был расквартирован дядя Дон с моей тетей. Все мы, как попугаи, повторяли наигранный энтузиазм родителей: *это будет здорово! – жить в раю*. Но я втайне не желала прощаться со своими друзьями и тем местом, которое создала для себя в школе каторжным трудом.

И с нашей собакой.

Отец принес Митци домой, в наш трейлер в Саннивейле, когда мне было четыре года, после того как наткнулся у продуктового магазина на какого-то человека с полной коробкой щенков. Я помню, как она плакала по ночам в кухне, где папа стелил газеты, чтобы защитить пол от щенячьих неожиданностей. Но Митци выросла умной, веселой собакой, она с удовольствием несла караул на заднем дворе и гоняла белок всякий раз, как мы ходили в походы, она напоминала бигля-переростка и любила кусочки с нашего стола и поездки в машине. Отцу стоило только звякнуть ключами – и Митци принималась нарезать круги вокруг дома, жажда «поехать...» куда угодно.

Во мне жила потребность толстой девчонки доказать, что она чего-то стоит, всем и каждому. Я старалась усерднее всех, я была сильнее, я не отступала.

Почти не переводя дыхания после объявления о том, что мы переезжаем, отец сообщил, что лучше усыпить нашу десятилетнюю собаку, чем заставить ее переживать изоляцию в делящемся несколько месяцев карантине, которому обязательно подвергают домашних любимцев, – это, как он сказал, разбило бы ей сердце. Я соглашалась с этим решением, принимая его как разумное, – вплоть до того дня, когда папа должен был везти Митци к ветеринару на эвтаназию. Я увидела, как он сажает ее, еще живую, в деревянный походный ящик, который потом намеревался использовать для похорон, – «просто чтобы посмотреть, поместится ли она». Папа вывел собаку на улицу, и я пошла за ними. Я до сих пор явственно вспоминаю, как он опускал перепуганное животное в этот ящик, стоявший на откидном борте нашего большого синего «Шеви Субурбана».

Я вернулась в дом и впервые в жизни не сумела сдержать

звук, рвавшийся из груди, – утробный, животный вой скорби. Когда мать спросила, что случилось, я смогла лишь указать туда, где мой папа пытался заставить нашу собаку лечь в ящик.

* * *

Невозможно представить место более изолированное (или тоскливое), чем Гавайи. Моя семья ступала на незнакомую почву – во всех отношениях: тропический климат, пальмы, запах растущих ананасов и девятнадцать разновидностей тараканов – все это вкупе с раскаленным от ярости распадом брака родителей и взрывоопасной энергией честного подросткового бунта. К тому же впервые за всю карьеру моего отца в ВВС нам пришлось жить на базе. Мы не могли позволить себе дом из тех, что предлагались на рынке первоклассного жилья в Оаху. Поэтому обменяли свой скромный разноуровневый домик на небольшой, довоенной постройки четырехквартирный коттедж, втиснутый в ряды точно таких же коттеджей через дорогу от посадочной полосы на базе ВВС «Хикэм». Крохотные, похожие на хамелеонов гекконы бегали по сложенным из шлакобетонного кирпича стенам. На задах росло манговое дерево, чьи плодовые стебли сочились белой жидкостью, от которой, стоило ее коснуться, кожа взрывалась чесучей сыпью. Всякий раз как я выдвигала ящик или включала свет в темной комнате, во все стороны разбегались тараканы. Они падали с потолков, приземляясь мне на голову с мягким жутким стуком, пробегали по телу ночью. Гавайский воздух был густым и влажным, и впервые в моей жизни лето казалось нестерпимо жарким.

Я увидела, как он сажает ее, еще живую, в деревянный походный ящик, который потом намеревался использовать для похорон, – «просто чтобы посмотреть, поместится ли она».

Жили мы тесно – особенно поначалу. В течение почти четырех месяцев после прибытия наша семья ютилась в номере мотеля на две спальни в «Пеппертри Апартаментс», так называемом временном жилье, дожидаясь предоставления квартиры. Я спала на диване в маленькой гостиной, мои братья – в одной спальне, Нэнси с родителями – в другой. То была странная, нищенская жизнь. У нас там не было никаких знакомых. Нас с братьями часто выгоняли на улицу, когда Нэнси спала днем. Мы бродили между зданиями и исследовали округу, рвали плоды манго и пытались забираться на кокосовые пальмы,

пока кто-то не донес на нас за прогулы – мол, *почему это мы не в школе?* Переезд на Гавайи состоялся в апреле, так что нам разрешили уйти на каникулы до окончания учебного года. Ну разве вы не везунчики, говорили приятели и учителя, ведь у вас впереди целое долгое гавайское лето! Мы можем научиться серфингу! Мы можем играть на пляже! Когда рядом с нами остановилась полицейская машина и из нее вышел кряжистый коп, в груди у меня ёкнуло: *papa nas ubeyt*. Я посмотрела на Криса, чье уже загорелое тело поднялось примерно до середины ствола кокосовой пальмы, и у меня появилось тошнотворное ощущение, что я сделала что-то не так, в сочетании с белым страхом тревоги о том, что случится дальше.

– Эй, *колохе*^[19], чой-то ты творишь? – спросил полицейский моего брата.

– Мы тут живем, – ответила я вместо него.

Коп жестом велел Крису спуститься, переписал наши имена, адрес и отконвоировал домой. Когда сказанное было подтверждено, нас позвали внутрь.

– Да что это с вами такое?!

Голос отца был как пощечина. Он смотрел только на брата, самого старшего, но ощущали *это* мы все. Вспышку гнева, которая означала, что случиться может что угодно. После этого случая нас не отпускали дальше номера мотеля или металлических стульев, стоявших прямо за дверью.

Весенние и летние дни, зевая, перетекали один в другой. Мы пытались на самом поверхностном уровне знакомиться с островной культурой, учась *буги-бордингу*^[20] и называя друг друга *брах*^[21]. Родители пили *май-тай*^[22] и водили нас на пляж, где я ходила в футболке поверх бикини, потому что мой живот совершенно не напоминал кубкоподобные формы Фарры Фосетт на плакате, который мои братья повесили в своей комнате. Я скучала по друзьям.

Когда моя семья перебралась в постоянное жилье, остров – и так исчезающе малый – сделался еще меньше. Договор на нашу квартиру в коттедже песочного цвета сопровождался четырьмя страницами правил и установлений: часы, когда должно включаться и выключаться уличное освещение; часы, когда можно включать стиральные машины; какую мебель позволено выставлять на *ланаи*^[23]; комендантский час в зависимости от возраста и ранга. Глухие удары кулаков нашего крикливого соседа, бывшего свою жену, и ее приглушенные крики в сочетании с ревом самолетов над головой, заходивших на посадку, приводили меня в ужас. Мое сердце грохотало всякий раз, как самолет с гулким звуком садился на посадочную полосу, потому

что я была уверена, что он разобьется. В ответ на это я возродила привычку задерживать при испуге дыхание, хватаясь за столешницу или мягкую обивку дивана в предвкушении взрыва, омерзительного визга металла, когда самолет развалится за краткий миг до того, как наш дом взорвется и разлетится в щепки.

Я стала сильнее бояться темноты. По ночам выключала свет и прыгала с порога спальни в постель, подтыкая одеяло под ступни. Мое воображение рисовало змей и страшилищ с длинными, похожими на птичьи когти пальцами, живущих под кроватью. Однажды, разбуженная ощущением, что моя кровать раскачивается из стороны в сторону, я вообразила, что это не землетрясение, а что-то куда более зловещее и неестественное.

На Гавайях жестокость отца достигла своего пика.

– Почему ты солгал *мне*? – требовал он ответа от Криса, который наврал о том, что сделал домашнее задание.

Когда Крис поругался с учителем в школе, папа бушевал:

– Не думай, что можешь вываливать *на меня* это дерьмо!

Любые грехи были грехами против отца.

Но именно меня он бил с такой регулярностью, которая до сих пор остается в памяти, как серия взрывов. При каждом воспоминании я откатываюсь в какую-то странную осознанность с ощущением жжения на лице и ушах. Отчетливее всего помнится тот раз, когда папа хлестал меня по щекам обеими ладонями, туда-сюда, а я считала пощечины: четыре, пять, шесть, семь... восемь.

Мы спорили о том, как именно нужно что-то сделать, и я настаивала, что сделаю это по-своему. *Ты думаешь, что ты всегда прав*, презрительно усмехнулась я, и он бросился на меня.

После этого я смотрела на него в упор – это атомная бомба в арсенале подростков, – отказываясь отвести взгляд. Моя губа распухла. Кровь струйкой сбегала откуда-то между носом и подбородком.

– Теперь тебе лучше? – холодно осведомилась я. – Мне-то уж точно.

– Ты заставила меня это сделать, – проговорил он, отворачиваясь от меня.

Я была полна решимости отвечать на его зверства, становясь умнее – или, по крайней мере, хитрее. Презрение было моим оружием, и я использовала его при каждой возможности, даже если это означало, что меня снова будут бить. Я противоречила ему, потому что больше никто этого не делал. Моя дерзость была дерзостью приговоренной перед виселицей, паникой тела, которое вот-вот утопят.

Когда брак моих родителей, наконец, распался – поводом послужило сделанное матерью открытие о том, что у отца была «бум-бум-герл», пока он был в Бангкоке во время своей командировки во Вьетнам в шестидесятых, – отец сделался особенно страшен.

Сражения между родителями разворачивались, как матчи между двумя матерыми бойцами с совершенно разными стратегиями. Отец бушевал, а мать уходила в каменное молчание, и оба метода были нацелены на кровопролитие. Однажды я видела, как отец метнул в мать вазу, когда она сидела, держа на коленях мою трехлетнюю сестру. Ваза разбилась о стену рядом с головой матери.

Это одно из первых воспоминаний Нэнси.

Я даже не помню, в чем было дело, – помню только, что папа угрожал, а мать хранила стоическую бесстрастность. Когда он отправил ту вазу в полет, она смотрела на него светло-голубыми глазами без всякого выражения.

Атмосфера в доме менялась, когда в нем был папа. За двадцать минут до его возвращения с работы – мать всегда отсутствовала, она работала в «Сирсе»^[24] – мы с братьями начинали своего рода обратный отсчет.

– Папа скоро придет, убрал бы ты школьные принадлежности.

– А тебе неплохо бы разобраться со своими домашними делами, – предостерегали мы друг друга тоном, говорившим «ты пожалеешь».

Мы с Крисом и Стивом принимались метаться по дому, убирая вещи с глаз долой, захлопывая книжки, которые читали, подбирая разбросанные обувь и одежду, подчищая следы от еды, стараясь стереть любую улику нашей праздности. В нашем доме праздность была синонимом лени, так что мы разбегались, как тараканы, задраивая люки перед тем, как налетит ураган.

В три двадцать враскачку входил в дом отец. Не имело значения, сколько мы успели сделать. Всегда находился повод поорать, пристыдить.

– Какой хренотенью вы тут занимались? – ярился он. – А ну, привести дом в порядок, живо!

Я как могла быстрее ретировалась в кухню – наминавшее камбуз помещение с дверью-купе, – чтобы начать готовить ужин (моя недавно прибавившаяся домашняя обязанность). Я всегда помогала папе в кухне. Он любил готовить, в отличие от матери. И там, в застланном ковровым покрытием пространстве, прилежавшем к единственному в доме кондиционеру, я находила хоть какое-то облегчение от жары и отцовского гнева. Он рывкал из-за двери приказы: «Пошевеливайся сама, или я тебя заставлю»,

«Да что с тобой такое?» Расплата за промедление бывала страшной.

Когда родители не ругались, в воздухе висела холодная угроза безмолвной ярости. Страх, владевший нами, детьми, был буквально осязаем. Мы с братьями спасались, убегая в свои маленькие мирки. Крис и Стив клеили модели в своей комнате, играли в «Подземелья и драконы», а я зарывалась в книги. К тому времени я переросла любовные истории с «разрыванием корсетов», которыми увлекалась в средних классах, и перешла к романам в жанре фэнтези об иных мирах, населенных драконьими всадниками и кольценосцами.

Я была полна решимости отвечать на его зверства, становясь умнее – или, по крайней мере, хитрее. Презрение было моим оружием, и я использовала его при каждой возможности, даже если это означало, что меня снова будут бить.

Я писала письма друзьям, оставшимся дома, используя ручки с пастой разных цветов и маниакально-шутливый тон, полный фальшивой бравады в стиле «у меня все схвачено»; рассказывала им ужастики о нищенском житье-бытье, о папе и о шоке, который вызвало у меня то, что я теперь была хаоле, белая девушка, иностранка; и одновременно призывая их «не волноваться», потому что, понимаете ли, «всякое случается». Эти письма были подписаны псевдонимом «Волш» – сокращением от «волшебника». Кажется, я в то время читала трилогию о Земноморье Урсулы Ле Гуин. Я всем сердцем хотела верить в волшебство, в способность преображать мир историями и словесными заклинаниями.

Я проводила столько времени с книгами в своей комнате, что у меня развилась фобия: я боялась выходить на улицу одна. Я набрала вес, стала настолько стесняться себя, что однажды разразилась слезами, потому что на нашей улице припарковалась передвижная книжная лавка, но никто не захотел пойти со мной. Я не могла заставить себя в одиночку пройти один квартал, отделявший лавку от нашего дома. Мать в нехарактерный для нее сострадательный момент вытерла мне слезы и взяла за руку.

– Пойдем-ка, – сказала она, и мы вместе прошли эти две сотни шагов сквозь душный воздух, напоенный ароматом бугенвиллеи.

И все же к осени, времени начала занятий в школе, я стала настолько стеснительной и пугливой, что в обеденный перерыв предпочитала ходить в библиотеку, вместо того чтобы сидеть в одиночестве в столовой. Мне было тошно даже думать о том, что придется искать какое-нибудь место, где можно было поесть, не

ловя на себе взгляды в духе «это еще кто такая?». Тихая прохлада книжных полок с мягким гулом кондиционера и этой чудесной библиотечной обязательной тишиной стала моим святилищем. А по вечерам я упрашивала отца после ужина подбросить меня в библиотеку базы, чтобы избежать раскаленной «скороварки» домашнего вечера.

Я находила убежище в книгах, изучая Кольриджа, Готорна и Трумэна Капоте, упиваясь тьмой, которую видела в их произведениях. В моем любимом рассказе Капоте, «Ястреб без головы», фигурировала картина с изображением обезглавленного ястреба, летящего над безголовой женщиной, и начинался он эпиграфом из Книги Иова: «Они знакомы с ужасами смертной тени». Герой рассказа, Винсент, – «человек в море, в пятидесяти милях от берега», который «никогда особенно не ладил» с миром.

Когда родители не ругались, в воздухе висела холодная угроза безмолвной ярости. Страх, владевший нами, детьми, был буквально осязаем. Мы с братьями спасались, убегая в свои маленькие мирки.

Читая Готорна, я испытывала в равной мере и отвращение, и завороченность – так действовали на меня одержимость Алимера родимым пятном его жены Джорджианы, потребность мужа контролировать жену, покорность жены. Конечно, меня возмущало поведение Алимера, но в их отношениях была некая жуть, которая, честно говоря, привлекала меня. Я приближалась к бездне, не вполне понимая, зачем это делаю, ощущая ее гипнотическое притяжение. Я думала, что моя любовь к кольриджевской женщине, «рыдающей по демону-любовнику», прибавляет мне таинственности и, возможно, настоящей глубины. Я начала писать аллегорические рассказы с призрачными теневыми фигурами и бурной непогодой, облекшись в мантию тьмы, которая была намного большей – не поверхностной готической тьмой Элиса Купера, черного макияжа и показно-жутких стихов, но тьмой души запертого в клетке животного. Есть моя школьная фотография, сделанная в один из этих годов, где я смотрю свысока, выпятив подбородок, вздернув голову, в провокационной, как мне тогда казалось, «модельной» позе. Губы слегка приоткрыты, и я помню, как думала, что эта дымящаяся атмосфера поможет мне выглядеть сексуально. А на деле мое лицо застыло в глумливой усмешке; глаза глядят в объектив с полной ненависти пристальностью, которая проступает на фотокарточке огненными буквами: «Спорим, ты меня не трахнешь!» – говорит она. Мое преображение из Гуди Два Ботинка в злого колючего подростка – это были не просто гормоны:

я ковала темный доспех, чтобы защитить себя и держать на расстоянии других.

В свой второй год в старшей школе я нарядилась Квазимодо для номера школьной театральной студии «Знаменитые образы из кинофильмов», который готовили к параду в честь начала учебного года; тем самым я показала нос красоткам вроде Мэрилин Монро и Бланш Дюбуа. Я считала себя бунтаркой, но теперь, мысленно возвращаясь к своему шероховатому и неуклюжему пятнадцатилетнему «я», вспоминаю его с теплым чувством: я пыталась скрыть под маской нежное сердце.

* * *

Внешнему миру моя семья казалась счастливой и хорошо адаптированной. На людях и в гостях у друзей мы с братьями вели себя безукоризненно вежливо и послушно, поскольку последствия были выжжены в нас каленым железом отцовского бешенства. Мы делали то, что прикажут: приносили папе еще пива, собирали бумажные тарелки после пикника на пляже, присматривали за Нэнси. Незнакомые люди во время наших редких выходов в ресторан делали родителям комплименты, восхищаясь примерным поведением их детей. Семья казалась непроницаемым пузырем; мы кочевали с места на место, храня свои ужасные тайны: как папа грозил моему старшему брату Крису, говоря, «пойдем выйдем и решим этот вопрос по-мужски», как он швырнул о стену мать, которая держала на руках завывающую сестру, когда мама отказалась положить Нэнси в кровать. С нижнего этажа я слышала глухой стук тела, столкнувшегося с чем-то твердым, а потом мамин крик – и помчалась вверх по лестнице, ревя голосом на две октавы ниже моего собственного:

– Оставь ее в покое!

Адреналин зажег пожар в моей груди и конечностях. Меня трясло.

– Ты, мудила, не трогай ее! Не смей ее трогать!

Я увидела на лице отца внезапное выражение стыда. Не из-за того, что он сделал что-то плохое, а потому, что кто-то стал этому свидетелем.

– Иди в свою комнату, – проговорил он, не глядя на меня, когда мать проскользнула в их спальню и заперла за собой дверь.

Мое преображение из Гуди Два Ботинка в злого колючего подростка – это были не просто гормоны:

я ковала темный доспех, чтобы защитить себя и держать на расстоянии других.

Как-то раз отец велел мне перестать делать уроки перед телевизором, когда я работала над домашним заданием по математике, одновременно смотря чемпионат Всемирной федерации реслинга, матч между Андре Гигантом и Халком Хоганом. Мне нравилась эта театральность, это надувательство; нравилось, как хорошие парни сражаются с негодяями. Это зрелище делает задание по математике, моему самому нелюбимому предмету, более сносным, сказала я отцу.

– Я тебя не спрашиваю, я тебе велю.

– Да все в порядке, это мне не мешает, – запротестовала я.

– Если ты сейчас же не пошевелишься, я тебя пошевелю, – сказал он.

– Пап! – снова возразила я.

– *Быстро!*

– Ой, да ладно тебе!

– Черт возьми, я сказал, **БЫСТРО!**

Отец вскочил со стула, бросаясь ко мне, но у него подломилось колено, и он свалился на пол. Я тоже вскочила, отбегая прочь, но он не отставал, волоча себя по бежевому линолеуму, чтобы добраться до меня. Дыхание вырывалось из его груди рывками, точно в ней ходили поршни, голова тряслась. Я схватила учебники и побежала – *побежала!* – прыгая через две ступеньки, в свою комнату.

– Мне никто бы не поверил, – говорила моя мать годы спустя. – Все думали, что он такой очаровашка.

И – да, так оно и было. Анита, миниатюрная южанка, с чьими детьми я иногда сидела, как-то раз выпалила ни с того ни с сего:

– Ой, твой отец – он такой веселый! И, – добавила она со смешком, – такой сексуальный!

Я застонала с типично подростковым отвращением.

– Можешь мне поверить, – подтвердила она, кивая.

Все сводилось к одному конкретному виду мужественности.

– Док говорит, что у меня хозяйство, как у двадцатилетнего, – любил говорить мой отец. Любое его взаимодействие с женщинами было флиртом.

Даже со мной.

– Трахнуть бы тебя, дорогая доченька, – говорил он сладким тоном, потом, после паузы, добавлял: – Но это был бы инцест.

Папа советовал мне не расчесывать «комариные укусы на груди», а то они вырастут, – его вариант ответа на вопрос полового созревания. Как-то раз он объявил в походе, где было

полно мальчишек и мужчин, когда у меня начались месячные, что собакам не следует спать со мной, потому что у меня «течка». В другой раз, когда я взволнованно и невинно призналась, что мне нравится один мальчик в школе, он сказал, что «лучше подумать дважды, прежде чем лечь на кровать и раздвинуть перед кем-то ноги», а потом поведал мне об эрекции в таких агрессивных и красочных подробностях, что я была уверена, что никогда не подпущу к себе ни одного парня.

Мне и в голову не приходило обмолвиться об этом кому-нибудь хотя бы словом.

* * *

Моя мать выдернула пробку из их брака прямо перед тем, как мне исполнилось шестнадцать. Мы прожили на Гавайях всего два года. Я представляла, как мама воссоздаст себя заново и будет жить, счастливая и беззаботная. Я была ее болельщицей, ее наперсницей, ее советчицей, готовя планы на будущее.

– Ты могла бы снова пойти учиться! – с надеждой говорила я. – Получить диплом, а потом найти работу получше!

Я уговаривала ее бросить отца. Я знала, что смогу спасти ее, если она *сделает хоть что-нибудь*. Но она была убеждена, что в свои тридцать восемь лет слишком стара, чтобы начинать заново. Она, мол, никогда не будет никем иным, кроме служащей в магазине, надеется только, что сможет как-то справляться.

Нам с братьями был предоставлен выбор, где жить. Крис остался с отцом, пусть и нехотя, но он не хотел начинать свой выпускной год в новой школе. Стив, который ухитрялся в основном держаться вдали от линии огня, остался с папой из лояльности и сочувствия: после поступления Криса в колледж у отца на Гавайях не осталось бы ни одного близкого человека.

Я и сестра, которой к тому времени было почти четыре, вернулись в Колорадо вместе с мамой, которая вновь пошла на свою прежнюю работу в «Джей-Си-Пенни»^[25], где зарабатывала по четыре доллара в час – в лучшем случае. На эти деньги и скупые пятьсот долларов в месяц от отца мы и жили до тех пор, пока мне не исполнилось восемнадцать. Во время бракоразводного процесса в суде мама отказалась от больших денег, приобретения дома и своего законного права на часть папиной пенсии по увольнении из ВВС.

– Нет, – сказала она, когда судья еще раз спросил ее, хочет ли она получить то, что по праву принадлежит ей. Отец грозился забрать Нэнси, если она скажет «да».

Итак, мы вернулись в Колорадо-Спрингс, и я начала учиться в десятом классе новой школы и записалась на углубленные предметы и курсы подготовки к колледжу, на год отстав от своих бывших одноклассников. Впервые в моей жизни моими друзьями были ребята из крепкого среднего класса. У многих из них были собственные горные лыжи и машины, они ездили на каникулы в Мексику и Вейл. Они знали друг друга с тех пор, как вместе ходили в детский сад.

– Трахнуть бы тебя, дорогая доченька, – говорил он сладким тоном, потом, после паузы, добавлял: – Но это был бы инцест.

Я подрабатывала в обувном магазине, чтобы обеспечивать себя одеждой для школы и помогать матери покупать продукты. Мама часто ела меньше нас с сестрой, потому что еды не хватало. Первые полтора года мы прожили в съемной квартире. Мы были бедны. Но я уехала из дома раньше, чем мне довелось увидеть, как моя мать скатилась до мошенничества, чтобы обеспечивать свою семью. Она, которая теперь работала в сети магазинов «Монтгомери Уорд», носила заявки на кредиты на блошинный рынок, потому что получала по доллару за каждую оформленную заявку. Если добиться заявки не получалось, она заполняла бланки сама, используя информацию из телефонного справочника.

К восемнадцатилетию у меня сложилась привычка без размышлений отвергать большую часть того, что мне говорили. Я не любила, когда мне указывали, что делать. Не хотела быть похожей ни на одного человека из тех, кого знала.

Поначалу отъезд из отцовского дома казался событием чудесным. Я помню запах колорадского летнего ливня на цементной мостовой – запах грязи, который я так любила, – и голос Дэна Фогельберга из магнитофона, поющий песню с какого-то альбома, которую мама включала снова и снова: «Сегодня есть кольцо вокруг луны...» Я повидалась со старыми друзьями. Было так приятно быть дома! Пару месяцев у меня голова кружилась от радости, полной странного облегчения, от растущего чувства эйфории. Но потом мы с мамой, которая была моей лучшей подругой, пока я давала ей советы во время развода, начали ссориться.

– Ты точно такая же, как твой отец, – говорила она. Я была эгоистичной, упрямой.

Пока мать баловала Нэнси, опасаясь, что ее «травмирует» развод, я все чаще и дольше тусовалась с друзьями, покуривая травку и попивая «Джек Дэниелс». Я держала бутылку на полке шкафа в своей спальне; знала, в каком винном магазине мне точно продадут алкоголь.

К восемнадцатилетию у меня сложилась привычка без размышлений отвергать большую часть того, что мне говорили. Я не любила, когда мне указывали, что делать. Не хотела быть похожей ни на одного человека из тех, кого знала. На графике результатов школьного теста на профпригодность четко и сильно проявилось число моих антипатий. На левой стороне страницы поселились десятки крохотных меток напротив видов деятельности, которые я ненавидела (рутина, цифры, решение задач, продажи, переговоры, работа под руководством), а следовательно, и соответствующих профессий (инженерное дело, бизнес, политика, маркетинг), которые были бы для меня в лучшем случае неподходящими, в худшем – сущей пыткой. Правая сторона была сплошь возможности. Мой наивысший результат? Шестьдесят процентов «вероятности» на возможность стать учительницей испанского (я выбрала французский). Очевидно, я точно знала, что мне не нравится, но даже приблизительно не представляла, что мне по душе.

Я уехала из дома без малейшего представления о том, куда я направляюсь. «Нет» было звуком наглухо захлопывающейся двери – оно воспитало во мне привычку уходить прочь.

Глава 3

Мальборо-вумен



Уехав из дома, я при любой возможности испытывала на прочность свой кураж. Гордая прозваниями «бесстрашной» и «крутой», я соревновалась в армреслинге с парнями и опрокидывала стопки бурбона с хладнокровностью героя-ковбоя. Как-то раз выпила шестнадцать порций виски в День благодарения у кого-то из друзей – отпросилась выйти на двенадцатой, чтобы блевануть, а потом вернулась, чтобы выиграть. На чистой силе воли. Я просто была не готова проиграть. От своего отца, игрока в покер, я научилась искусству блефа, и мое хладнокровие, как и его, было легендарным.

Я, точно бульдозер, пропахала свой бакалавриат в Колорадском университете на собственные гроши, выбрав самую трудную специализацию, какую только смогла придумать. О да, я покажу этим ублюдкам, будьте благонадежны! Будучи студенткой подготовительных медицинских курсов, я выбрала двойную специализацию – биологию окружающей среды и английский язык. Я похвалялась, что это сделает меня лучшей кандидаткой в медицинскую школу, после чего я открою собственную клинику и буду принимать роды в самом современном родильном центре, одновременно бесплатно раздавая противозачаточные средства.

Мой план в стиле «дым и зеркала» развеялся в выпускном году, когда, поддавшись импульсу, я на один семестр поехала учиться за границу. Этот поступок был из тех, которыми, по мнению моего решительно «синеворотничного» отца, балуются только богатенькие детишки. Я воспитывалась в убеждении, что существует пропасть между моей жизнью и жизнью людей, у

которых есть деньги, из чего следовал вывод, что я должна сидеть на своей стороне экономического разделителя и не рыпаться. Определенные вещи – учеба за границей, колледжи в другом штате, медицинские школы – не только недостижимы, но и, как подразумевалось, мне не по уму. Я же упрямо паковала свои сумки.

В Лондоне известный мне мир развернулся, и мой кругозор расширился. Я стала наблюдателем, отмечавшим детали британских диалектов и сленга, дивилась зданиям, построенным за столетия до всего, что я видела на Западе, и сельской местности, окрашенной никогда не тускнеющей весенней зеленью. Я опьянела от этих мест, обнаружив, что не все мыслят так, как люди у меня на родине. Возможно, дело было в восторге бунта: я раскрывала объятия запретному, я попирала одно из отцовских табу. Но столь же неопровержимым был тот факт, что перемена мест способствовала перемене во мне. Медицинская школа, с тревогой осознала я, была блефом.

Чего я по-настоящему хотела – так это быть писателем. Еще один запретный плод.

– И как же ты будешь зарабатывать деньги? – спрашивал отец пятнадцатилетнюю меня, когда я объявила, что перееду на Юг, чтобы писать рассказы, как Трумэн Капоте. Уже тогда я понимала, что ландшафт имеет значение.

Вернувшись в Штаты, я рухнула с небес обратно на землю и шесть месяцев спустя получила диплом, не имея никаких планов. Мне потребовалось почти десять лет, чтобы собраться с мужеством и подать документы в магистратуру, потому что отцовский вопрос довлел: а *что потом?* В то время как мои братья, послушные долгу, выбирали профессии, женились и заводили детей, я жила одна в Боулдере и перебрала с десяток разных рабочих мест за то время, пока «самое дно» сражалось с моим лучшим «я». Я успела поработать водителем автобуса, директором летнего лагеря, координатором образовательных программ, поставщиком продуктов, поваром, ландшафтным дизайнером, продавщицей в пивном ларьке, ассистентом в женской клинике, делопроизводителем, рассказчицей, директором программы герлскаутов, а одно лето – «Келли-герл»^[26]. Не готовая пожертвовать ради практичности факелом, который несла с того дня, когда удвоила сумму своего студенческого кредита, чтобы поучиться за границей, я вечно продиралась сквозь трудности, меняя адреса и жилье так же часто, как места работы.

Я опьянела от этих мест, обнаружив, что не все

мыслят так, как люди у меня на родине. Возможно, дело было в восторге бунта: я раскрывала объятия запретному, я попирала одно из отцовских табу.

В эти годы единственной константой в моей жизни были леса. Я ходила в походы по всему Колорадо и части Юты – с подругами, а иногда и в одиночку. Однажды, став лагерем на широкой излучине Грин-ривер в каньоне Стиллиуотер, в штате Юта, я видела закат солнца за горизонт, образованный тремя отчетливыми геологическими формациями. Ход тысячелетий проявился в форме скал. Моя собственная линия жизни в сравнении с ним была неисчислимо мала. Эта мысль принесла мне утешение. Быть пятнышком на величественном ландшафте, быть частью нескончаемой красоты. В ту ночь, созерцая глубокий искрящийся свод над головой, я думала о католическом рае своего детства. О месте вечного покоя. Я давным-давно отказалась от церкви, но, будучи маленькой девочкой, часто плакала по ночам в постели, пытаюсь вообразить вечность в облачном «где-то там», населенном эфирными призраками. Больше не имело значения то, что там будут жемчужные врата, ангел или даже бог: этот род совершенства утратил свою прелесть. Мое предпочтение было отдано земле с ее суровой красотой, ее непостижимостью, ее смесью дряни и мерзости. «Я знаю, из чего состоит мир, и все равно люблю его весь, – говорит Рейна, одухотворенная работница ранчо, с которой знакомится Гретель Эрлих в «Утешении открытых пространств».

Пока легкий ветерок выдувал жар из уходящего дня, я зарывалась пальцами в красную почву под собой. *Я могла бы провести здесь вечность.* Над головой падучая звезда, одна из Персеид, воспламенила небо, и я легла на спину, вручая свое тело объятиям земли.

После того как меня приняли на факультет литературного творчества в Колорадском университете, я решила отметить это событие сменой фамилии. Я искала не творческий псевдоним, а идентичность, способ сказать: *вот кто я есть*. В колледже я от кого-то узнала о ритуале по самонаречению и решила совершить его в честь моих предков по матери: Карен, дочь Сюзан, дочери Элис, дочери Мэри, дочери Валборг. А фамилия Аувинен, фамилия моей матери, связала бы меня с женщинами, которые были до меня; она говорила о том, что и они приложили руку к моему формированию. Отцовская фамилия – итальянское слово, означавшее «большой, тяжелый, толстый», точь-в-точь как сам этот мужчина, – была бременем, которое я влачила слишком долго. Я знала, что самонаречение важно – что это акт силы, – но

знала также, что оно станет камнем, чей всплеск пустит волны по всем отношениям в моей семье.

Первым позвонил дедушка Пит.

– Что такое? Моя фамилия недостаточно хороша для тебя?

Если я сменю ее, сказал он, то очень об этом пожалею, и повесил трубку.

Он больше ни разу со мной не разговаривал.

Следующим был отец. Он поддержит мое решение, сказал он, но потом потребовал, чтобы я больше не называла его папой. Эта привилегия у меня отбирается.

На сей раз трубку повесила я.

В следующие пару дней отец звонил неоднократно, оставляя на автоответчике все более угрожающие сообщения. Он вернулся в Колорадо после увольнения из ВВС, и за двенадцать лет, прошедшие с тех пор, как я покинула его дом в свои шестнадцать, у нас случались периоды открытой войны, перемежаемые своего рода неуступчивыми перемириями, во время которых папа пытался стать мне лучшим другом. Я уворачивалась от его дурного нрава, но он по-прежнему мог мне угрожать. Он по-прежнему пугал меня. В его голосе слышалась отчетливая ярость после того, как я оставила его сообщения без ответа, и он настаивал еще один, последний раз – *не просил, а велел* перезвонить ему, вопя: «Ты все еще моя дочь!» Я была для него не личностью, а собственностью.

Наконец, он пригрозил, что придет и найдет меня: «Я знаю, где ты живешь, я знаю, где ты работаешь». Он «не потерпит “нет” в качестве ответа». *Мы еще поговорим.*

В ответ я уволилась с работы и поставила палатку в лесу. Мне нужно было жить экономно и копить деньги на учебу, так что мой отъезд из города в конечном счете служил двум целям: отец не сможет выяснить мое местонахождение, а в конце лета деньги, которые я сэкономила на аренде квартиры и оплате удобств, пойдут на оплату первого семестра учебы. Я решила провести месяцы с июня по август без телефона и адреса, рассказав лишь паре человек, где я буду, – в таком месте, где я проснулась однажды утром и увидела медвежий помет всего в пятидесяти футах от своей палатки. Прошло десять лет, прежде чем мы с отцом снова заговорили.

Как «Идущая женщина» Мэри Остин – женщина, которая уходит от своего имени в калифорнийской пустыне, – я сбежала, по крайней мере временно, в дикую глушь. Подобно ей, я заняла свое место, как камень-останец.

В конце лета я переехала из каньона Джеймс, что в трех милях ниже Джеймстауна, где я ставила свою палатку на земле, принадлежавшей одному из друзей, в долину неподалеку от горы Бау, в дом на расстоянии крика от границ Боулдера. Я делила нижний этаж дома, выстроенного на склоне холма, с Дэном, красивым мужчиной пятидесяти с чем-то лет; он брался за любую работу, будучи мастером на все руки, и у него, что поразительно, была целая вереница постоянно сменявших друг друга юных сексапильных любовниц.

Там я ходила на прогулки по узкой лощине, следовавшей руслу сезонной речушки, всего в четверти мили от дома, и видела зеленые глаза пумы – горного льва, который охотился в сумерках в долине. По ночам мне не было нужды задергивать шторы. Я спала с открытыми окнами под уханье сов и стрекот сверчков – единственные звуки.

Ко мне под дверь прибежал пес, наполовину чау-чау, наполовину золотистый ретривер по кличке Аспен, большой, смахивавший на кота добродушный дурень. Он жил где-то выше по горе, на скалистом хребте с видом на долину, но удочерил меня с той же уверенностью, с какой лето сменяет весну. Одним чудесным утром я открыла дверь и обнаружила его, свернувшегося колечком и крепко спящего, на затененной части моего каменного патио рядом с садовым ящиком, в котором изобильно росли котовник и бархатцы. Он вскочил, чтобы поздороваться со мной, как со старой подругой. Очарованная, я гладила его густой, абрикосового оттенка мех и чесала за ушами. Аспен имел хищную внешность льва, но характером и правда был чистый ленивый кот. Он устроился у моих ног и снова уснул.

И стал постоянным гостем.

Я уворачивалась от его дурного нрава, но он по-прежнему мог мне угрожать. Он по-прежнему пугал меня.

Обычно я заставляла его вытянувшимся на боку и храпящим, как лошадь, но иногда он забредал через открытую дверь в мою комнату, где я готовилась к занятиям. Бывало, он даже оставался на ночь. Тогда я играла – делала вид, будто пес принадлежит мне, целовала его на ночь и взъерошивала шерсть. Утром я давала ему кусок оставшегося с вечера гамбургера. Аспен съедал его, а затем неторопливо брел вверх по горе и скрывался из виду.

Он был как Шейн, ангел-ковбой из фильма Джорджа Стивенса, который спускается с высот, чтобы помочь маленькой общине, а потом уходит, возносясь к горам в конце фильма. Присутствие Аспена заронило в мое сердце представление о том,

что мне нужна собственная собака. Собака была бы спасением для моих уикендов, слишком часто одиноких, решением для вечного проклятия походов в одиночку. Я могла бы отправиться, куда только захочу, – и спутник гарантирован. Пес был бы моим приятелем, моим освободителем.

Так что, когда очаровашку Дэна сменил другой сосед – миниатюрный, обидчивый и загорелый до черноты сорокалетний мужчина, изучавший массажную терапию, чей характер явно конфликтовал с моим, – я решила обменять свой нынешний прекрасный вид на долину на съемное жилье еще выше по горе, такое, где разрешали бы держать собак.

– Ты просто обязана заполучить этот дом, милая, – с обычной для себя живостью завершила моя подруга Лючия.

Она раскинула мне карты, как гадают цыганки – полной колодой, – после того как я рассказала ей о глядящем на южную сторону голубом викторианце на окраине Голд-Хилла, горного городка в две сотни жителей, угнездившегося на высоте в почти девять тысяч футов. Это было единственное найденное мною жилье, где позволялось держать животных. Лючия Берлин была моей наставницей в Колорадском университете, где я готовилась получить диплом по поэзии.

Карты образовали на столе передо мной большой квадрат – бубновый король, туз треф, двойка червей...

– Тебе необходимо завести собаку, – продолжала она. – Тебе нужно кого-то любить.

Я совершенно уверена, что она попросту морочила мне голову, а на самом деле карты говорили нечто совершенно иное. С Лючией никогда нельзя было понять наверняка.

В комнате пахло корицей и яблоками, запах исходил от медленно кипевшей на плите кастрюли. Мы смеялись и курили. К тому времени Лючия уже пару лет жила на кислородной подушке, поскольку ее легкое схлопнулось от сколиоза. Всякий раз как я навещала ее, она просила, чтобы я принесла ей, как она говорила, «одну сигаретку, лапочка». Потом мы усаживались на кухне в ее доме, притиснутом к подножию Боулдера, и после того как Лючия выключала свой кислородный аппарат, закуривали. Я дымила гвоздичной сигареткой, чтобы составить ей компанию, – откат к привычке, которая была у меня недолгое время, как и у всех остальных в восьмидесятые. Лючия умела заставить собеседника почувствовать себя так, будто он – единственный, с кем у нее возможны такая близость и общие маленькие преступления: запретное курение, умопомрачительная история о профессоре Икс, который привел свою слишком молодую и слишком пьяную подружку на званый ужин к декану...

Погадав мне, Лючия достала картину, которую написала сама, – дом на горном склоне. На ней она написала «Дом Карен» и поставила ее на полку, тянувшуюся вдоль красной стены кухни. Потом зажгла лампадку.

– На удачу, – пояснила она.

Через два дня позвонил Дуг из голубого викторианца и сказал, что я могу заселяться.

Через три недели после того, как были распакованы мои вещи, я привела домой Элвиса.

Наверное, дело было в магии Лючии; а может быть, ее магия была лишь частью колоссальной руки судьбы, которая привела меня к переезду на новое место; но мне и этому псу, Элвису, было суждено быть вместе. Подчинившись внезапному порыву, я заглянула в приют Общества за гуманное обращение с животными, волоча за руку свою подругу Нину, у которой была собака. «Будешь моим экспертом», – заявила я ей. В вольере для знакомств Элвис покружил на месте, пописал, а потом пулей метнулся ко мне. Он прижимался к моим ногам и тянул шею, а я трепала его за уши. Они были как бархат. У Элвиса были золотистые миндалевидные глаза и черный язык. Он был худой, но высокий и широкогрудый. *Он кажется таким покладистым и милым*, подумала я.

– Похоже, это и есть мой пес, – сказала я Нине, женщине с короткой каштановой стрижкой и большими милыми глазами. Я никак не могла поверить, что это может быть настолько просто.

– Конечно, это он и есть, – кивнула она.

Элвис пробыл в приюте три недели, но тот день стал первым, когда его захотели забрать в семью. Я записала его за собой и отправилась покупать еду, игрушки и поводки.

Правду говорят, что не ты выбираешь собаку, а собака тебя. На самом деле я отправилась искать сорокафунтовую девочку, собаку, которая была бы послушной и управляемой, умной и преданной. Собаку вроде Тикки, бордер-колли моей подруги Джулии; Тикки спокойно и без поводка ждала хозяйку у дверей магазинов и ресторанов или же дремала на заднем сиденье ее пикапа. А вместо этого я получила недокормленного пятидесятидвухфунтового бегуна, циркового артиста себе на уме; он прислушивался ко мне только тогда, когда было настроение. С Элвисом мне пришлось присовокуплять ко многим предложениям фразу «для хаски»: например, «Элвис довольно хорошо себя ведет – для хаски». Он был преданным и управляемым. *Для хаски*.

Этого пса нашли, когда он бежал по тому отрезку шоссе за границей Боулдера, который сворачивал в сторону пасущихся коров и открытого космоса. На нем был шипованный кожаный

ошейник – предмет, явно противоречивший его характеру. Элвис не был агрессивным зверем.

Не догадываясь об осложнениях, которые ждали меня впереди, я взяла домой красивого, дружелюбно настроенного пса. Помню, как сидела на диване, наблюдая, как он обнюхивает дом, а потом усаживается на пол напротив меня. *Что я наделала?* – думала я. – *Что, если я ему не нравлюсь? Что, если я совершила ошибку?* Этому псу не нравилось глодать кости или гоняться за мячиком. Он ел, как птичка клюет. Прошли недели, прежде чем я смогла придумать ему имя. Было совершенно неочевидно, как его следует звать. Поначалу я думала – из-за ошейника, – что он должен быть Сидом, как басист *Sex Pistols*, но наклонности Элвиса скорее соответствовали современному приглаженному року, чем скрежещущему панку. Я попробовала имена Эзра и Леви, но оба они предполагали резкость, которой у этого пса не было. Локи, имя скандинавского бога коварства и хаоса, казалось, напрашивается на неприятности. Меня уже и так беспокоило то, что он оказался в большей степени собакой, чем мне это было по силам: импульсивный и нетерпеливый, мой новый друг стоял на месте не дольше, чем требовалось, чтобы ударить лапами о землю. Когда он не спал, его тело пребывало в постоянном движении.

Наконец, я наткнулась на имя Элвис. Я преклонялась перед «королем рок-н-ролла» в детстве и слушала «Привет с Гавайев: через спутник» так часто, что могла пропеть и *проговорить* весь альбом наизусть. К тому же мне вспомнилось, что в приюте на ярлычке с кличкой собаки было написано «АРОН» – среднее имя Пресли, и я подумала, что, наверное, называть его как-то иначе, чем Элвис, было бы все равно что грозить судьбе кулаком.

Собака была бы спасением для моих уикендов, слишком часто одиноких, решением для вечного проклятия походов в одиночку. Я могла бы отправиться, куда только захочу, – и спутник гарантирован.

Впервые влюбившись до самых печенок, я поняла, что совсем пропала, вскорости после того, как привезла его домой, – в тот день, когда увидела, как лапы Элвиса загребают туда-сюда, пока он спал, и из его груди рвется тоненький булькающий скулеж. Я протянула руку и нежно опустила ему на голову, думая о том, каково ему было одному в приютском вольере.

– Все в порядке, – проговорила я.

В отсутствие обнесенного оградой двора за Элвисом приходилось следить, когда он был на улице: он просто не желал оставаться подле дома – урок, который я усвоила, когда однажды

уехала на работу. Сосед выпустил его пописать, и Элвис убежал в метель. Девять часов спустя, когда я вернулась домой, температура упала ниже десяти мороза, и на земле лежал слой свежего снега глубиной в фут. Я безостановочно ездила по дороге, окружавшей Голд-Хилл, высунув голову в окно, плача и выкрикивая имя Элвиса. (Он пробыл у меня меньше трех месяцев.) На четвертом кругу я все-таки нашла его, примерно в полутора милях от дома, на противоположном конце шоссе петли, чуть ниже городка; он бегал с четырьмя другими собаками. Элвис издал характерный для хаски пронзительный лай и запрыгнул на сиденье моего пикапа «Тойота», словно говоря: «Где ты была?» С его груди и живота, точно подвески люстры, свисали сосульки. Он робко подступился ко мне и положил голову на мое плечо, прислонившись всем своим весом.

* * *

Год спустя мы с Элвисом переехали в дом на Джим-Крик в Джеймстауне. Мне было тридцать три, Элвису – два. В отличие от Голд-Хилла – достаточно глухого местечка, где зимой надо было держать в багажнике пикапа три сотни фунтов песка в мешках и надевать цепи на все четыре колеса в снежные бураны, чтобы преодолеть последние четыре мили до дома по грунтовке, – от дома на Уорд-стрит было всего тридцать ярдов до асфальтового покрытия.

Мы с Элвисом поселились вместе с моей подругой Джулией, ее собакой Тиккой и лектором Колорадского университета, которого звали Тимом. Джулия была ландшафтным дизайнером, и мы вместе сажали овощи и цветы в трех садах с видом на ручей – поток, который пенился и ревел весной и тихо шептал подо льдом зимой. Каждую неделю мы устраивали семейные ужины, готовя еду по очереди. Наш дом стоял на том конце Джеймстауна, что вверх по каньону, на редконаселенной проселочной дороге, которая петляла и тянулась многие мили мимо шахты и узкоколеек в лес.

Не догадываясь об осложнениях, которые ждали меня впереди, я взяла домой красивого, дружелюбно настроенного пса.

В «Мерке» я познакомилась с парой джеймстаунских персонажей: с мужчиной, которого мы называли *Эль Патрон*, завсегдатаем; его дом был собран с миру по нитке: там были типичные коновязь, ложный флигель с прорезью в форме полумесяца,

пара рогов над дверью, пара винтажных «Фордов» модели «А», белый флаг капитуляции и надгробие, отмечавшее дату массового убийства на Сэнд-Крик; с Джоджо, который носил на шляпной ленте косточку из пениса енота; и с Томом Рэббитом, человеком настолько беспечным, настолько увлеченным всякой несусветной чушью, что, когда ему поставили раковый диагноз, который, по словам доктора, должен был убить его, он выжил. Ему просто в голову не приходило, что он может умереть. Том жил в одном доме с Джоуи, своим лучшим другом, и женой Джоуи Сюзи, неряшливой женщиной с вороньим гнездом на голове и усталыми, но красивыми хрустально-голубыми глазами; Сюзи и принадлежал «Мерк». По воскресеньям очередь за ее фирменным бранчем выстраивалась аж на улице.

Карен Зи слыла в городе «чокнутой собачницей». Она знала имена и особенности характера всех городских четвероногих, но редко бывала дружна с их владельцами. Мы познакомились после того, как Тим сообщил, что «моя подруга» останавливалась у дома; он описал Карен с ее салонной стрижкой и очками в проволочной оправе; как оказалось, она стояла у ворот и принимала поцелуи от Элвиса. Я призналась Тиму, что понятия не имею, о ком он говорит.

– Ну, давай пригласим ее на семейный обед, – предложил он.

Карен редко готовила сама. Проблема заключалась в том, что кухня «на одну задницу» в ее крохотной хижине была похоронена под кипами газет, стопками тарелок и кучами позабытых мешков с продуктами. Зато она с радостью поставляла вино для наших ужинов, так что мы часто ее приглашали.

Нашим утренним ритуалом стали прогулки по Уорд-стрит вместе с нашими собаками. Я приезжала к хижине Карен, почти последней в ряду домов, там, где дорога уступала место лесу, с Элвисом и термкружкой кофе; собака Карен, София, гавкала и бежала к нам трусцой через однопутный мостик над ручьем – подъездную дорожку моей подруги. София, смесок черного ньюфаундленда, была настолько умная и добропорядочная, что я прозвала ее «Святой Софией», она была Шерифом для элвисова Сандэнса Кида^[27]. Казалось, само ее присутствие удерживало Элвиса на тропе и в лагере, не давая сбегать. Во время нашего первого похода с Элвисом он закопал сперва свою еду, а потом принялся за мою – я обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как он ухватил со стола багет и принялся носом зарывать его в землю. Но когда мы с Карен отправились с рюкзаками на пять дней в Гранд-Галч и Элвис снова принялся нагребать землю и палки поверх миски с едой, именно София, с энтузиазмом заглатывавшая собственный ужин, наконец убедила его съесть

свой. В этом же походе Элвис ввинчивался между мной и Карен третьим телом в палатке на троих и роскошно, по-человечески вытягивался на спине, в то время как София лежала, свернувшись в идеальный черный шар, снаружи.

* * *

С самого начала Элвис обладал явными качествами трикстера. Он умел казаться большим и внушительным, а мог свернуться в самый что ни на есть тугой клубок. Однажды, когда мы путешествовали одни и жили в палатке в одном из глухих уголков Колорадо, Элвис поднялся во весь рост, шерсть на его загривке встала дыбом, и в сторону одинокого мужчины с рюкзаком, который приблизился к нам, полетел глубокий грудной рык. Мой пес выглядел внушительно, как волк. До этого случая я всегда шутила, что он такой милый и так любит людей – готов расцеловать любого грабителя, который попытается вломиться к нам в дом.

Элвис никогда не был такой собакой, что стала бы послушно трусить рядом со мной или подбегать по первому зову. Как только его спускали с поводка, он исчезал. Я звала, умащивала, умоляла, требовала, настаивала и даже топала ногами, но земля под открытым небом была для него слишком большой и манящей игровой площадкой. В Гранд-Галч он так помногу и так активно носился по сглаженному столетиями красному камню, что к третьему дню похода стер подушечки лап в кровь.

Отвращение Элвиса к огороженным местам я обнаружила еще в Джеймстауне. Хотя у нас был большой двор на берегу ручья, удержать в нем пса было невозможно. Он перепрыгивал через каменную стену в соседский задний двор и бежал вверх по Уорд-стрит. Он протискивался сквозь десятидюймовую дыру в изгороди из сетки-рабицы, навешая поочередно все дома вдоль Мейн-стрит, пока немецкая овчарка с чьей-то свалки, собака, скандально прославившаяся своей злобностью, не прогоняла его, преследуя до самого нашего дома.

Элвису нужны были физические нагрузки – того рода, которые можно было получить только без поводка; но его любопытство и предельное дружелюбие слишком часто становились источником неприятностей. Я постоянно боялась, что он потеряется, поранится или просто запрыгнет в чью-нибудь чужую машину, как сделал однажды, когда мы были в гостях у моей матери в Колорадо-Спрингс: он выбрался из моего пикапа через окошко и стал бродить по парковке пиццерии «Фарго», ища

меня. Обнаружив, что он пропал, я стала кружить по соседним улочкам, выкрикивая его имя, а вернувшись на парковку, увидела Элвиса, который сидел в кабине «Форда» F-250, а водитель колесил по площадке, высматривая хозяина.

В один из наших первых походов с ночевками по Юте я позволила Элвису бежать впереди меня по тропе в только что открытом Национальном парке «Эскаланте», где было открытое пастбище. Я осматривала стены каньона в поисках развалин, которые никак не могла найти, и вдруг осознала, что уже долгое время не вижу своего пса. Я позвала его и в ответ услышала расстроенное мычание, доносившееся откуда-то снизу от тропы. *Черт!* Опасаясь худшего, я пустилась бежать и пробежала целую милю, пока не нашла Элвиса. Он стоял по колено в илистом пруду, объятый воодушевленным стремлением то ли пасти, то ли преследовать теленка, уже успев содрать кожу с его ноги. Теленок дрожал, окруженный коровами, которые мычали и смотрели, как собака тянет и дергает их детеныша, словно теребит игрушку. Трудно было понять, что он хочет. У него был обостренный хищнический инстинкт – я видела, как он то и дело просыпается в Элвисе, притягивая моего пса, как магнитом, к объектам, гоняться за которыми ему было не положено: к оленям и лосям, лосихам и бизонам. Пока я брала Элвиса на поводок и бегом возвращалась обратно к пикапу, в голове плясали видения пастуха с карабином.

Что-то надо было делать.

Занятия по послушанию были для него ударом: Элвис никак не мог поверить, что мы проводим по часу в неделю со всеми этими собаками – и *не играем* с ними. Мешок вкусняшек, который я брала с собой, нимало его не интересовал, и он вел себя как каторжанин на цепи, когда я, согласно инструкциям, надевала на него шлейку. Тридцатифутовый поводок, который мне полагалось прицеплять к его ошейнику и наступать на него, когда Элвис отходил слишком далеко на прогулках, волочился по дороге по пятам за моим псом, исчезавшим из виду за считанные секунды.

Элвис никогда не был такой собакой, что стала бы послушно трусить рядом со мной или подбегать по первому зову. Как только его спускали с поводка, он исчезал.

До меня, наконец, дошло, что на самом деле Элвису нужен якорь – я. Я и буду тем канатом, который станет удерживать его от постоянных уходов. Так что я пристегнула его к шестифутовому поводку, застегнутому вокруг моей талии: Элвис должен был научиться останавливаться, когда останавливалась я, и двигаться, когда начинала двигаться я. Вот таким образом мы

начинали утро в доме на Уорд-стрит: я варила кофе и читала газету, а Элвис для разнообразия ходил хвостом за мной. Впоследствии я стала брать его на короткие прогулки по Уорд-стрит, время от времени останавливаясь, чтобы он научился ждать, прежде чем позволить ему побегать на свободе. Самым большим испытанием был «Мерк», где Элвис лежал у моих ног, пока я пила пиво с Карен Зи. Сюзи допускала внутрь кафе собак. Поначалу Элвис желал здороваться со всеми, вставать с пола и смотреть, чем заняты другие люди и собаки, но я держала его привязанным к себе, поставив ногу на поводок, прижав его тело к полу.

Со временем мы пришли к компромиссу. Хотя Элвис никогда стопроцентно не отзывался на команду «ко мне», зато реагировал на слово «жди», замирая как вкопанный. На тропе он по-прежнему пропадал из глаз, но научился давать круг назад, чтобы убедиться, что я еще здесь.

* * *

Имея при себе Элвиса, я стала выбирать для походов все более и более отдаленные места, выискивая уголки подальше от проселков на землях Бюро природопользования, в парке Капитол-Риф в Юте и на краю природного заповедника Маунт-Мэссив в Колорадо. Кемпинги, где собак необходимо держать на поводке, были для нас головной болью. В нашу первую вылазку я с радостью поставила палатку подальше от шума и гама других туристов – и обнаружила, что Элвис всю ночь не сомкнул глаз. Он бодрствовал, положив голову на лапы и наблюдая за всеми ночными шастаньями туда-сюда. При малейшем шуме он садился столбом – спать рядом с ним было все равно что лежать бок о бок с изготовившейся к броску гремучей змеей. Часто он сворачивался калачиком – и внезапно просыпался с низким гортанным рыком, который говорил: *я знаю, что ты там, и мое рычание убедит тебя, что я самый большой и злобный*. Просыпаясь рывком в уже странно тихой ночи, я не слышала ничего из-за громкого бум, бум, бум собственного сердца, а мой слух заполнял звук моего же дыхания. Подав сигнал тревоги, Элвис тут же крепко засыпал. В отличие от меня. Я провела так не одну бессонную ночь в глуши, воображая себе худшее, в то время как Элвис дремал у меня под боком, дергая лапами в своих собачьих снах, удовлетворенный проделанной работой.

* * *

Через пару лет я снова вернулась к учебе, на сей раз, чтобы получить докторский диплом, надолго променяв горы на пологие холмы Висконсина, влажную духоту и обрезанный горизонт. Летом я возвращалась в Джеймстаун, – однажды жила в десятифутовом трейлере неподалеку от ущелья на Литтл-Джим-Крик, – потому что мучительно скучала по Колорадо.

В Висконсине одно отличие заключалось в правилах городского житья: Элвиса обязательно надо было водить на поводке всюду, куда бы мы ни пошли, другое – в равнинных землях. Я никак не могла отыскать романтику в лощинах и моренах или в широколиственных лесах, как умели другие. Мне было там тесно, клаустрофобно. Небо всегда было затянутым облаками, всегда блеклым. Я тосковала по запаху чистой земли и сосен гористого Запада, по глубокому колорадскому синему небу, даже по тому, как хвост Элвиса исчезал на длинной тропе передо мной.

Получив аспирантскую стипендию для написания диссертации, я вернулась в район Джеймстауна, поселившись на тот год, что работала над диссертацией, в бывшей конюшне, где не было водопровода.

То было бедняцкое, скудное жилье, с туалетом, который я сама выкопала на задах участка. Мылась я в летнем душе, подвешенном рядом с ручьем, а зимой – в кухне, в четырех дюймах подогретой воды, залитой в чан. Конюшня располагалась на теневой стороне каньона Лефт-Хэнд, через один каньон от Джеймстауна; в этом здании, стоявшем на участке в десять акров неподалеку от пруда, по слухам, некогда была историческая станция «Пони Экспресс». Рядом извивалось русло Лефт-Хэнд-Крик.

На обратном пути в Колорадо я выбрала маршрут через Национальный парк Бэдлендс, задержавшись там на пару дней. В первую ночь я проснулась под звуки «поршневого» дыхания, прерываемые отчетливым хрустом срываемой травы: *чавк-чавк-ву-у-у-у-иш*, – повторялась звучная мантра. Я поставила палатку на маленьком клочке земли, по которому разбежались с полдюжину столов для пикника с металлическими тентами. Там не было ни проточной воды, ни туалетной ямы, ни живой души. Я выглянула из палатки. В звездной ночи, в десяти бесконечно малых футах от меня, стоял, опустив голову и проедая дорожку в траве, подступающей к дверце моей палатки, самый большой бизон, какого я только видела за всю жизнь. Я пихнула Элвиса, тот поднялся, бросил взгляд на бизона, потом уставился на меня с недоуменным выражением – и *это все?* – снова улегся и начал похрапывать. Я боялась, что если спугну животное, оно растопчет

нас, поэтому начала шептать: «Эй, бизон, эй, ты», – жалобным, тихим голосом. Я распласталась по самой дальней стенке палатки, вжимаясь в ткань. Вполне возможно, я даже молилась. Мое сердце несло галопом. Спустя пять напряженных минут животное двинулось прочь, отбрасывая на голубой нейлон палатки тень размером с «Фольксваген».

Позднее я снова проснулась оттого, что вся моя палатка тряслась: бизон вернулся, чтобы почесаться о ближайший металлический тент.

Кажется, он просто играл со мной.

Я никак не могла отыскать романтику в лощинах и моренах или в широколиственных лесах, как умели другие. Мне было там тесно, клаустрофобно.

Утром я собрала в карман шерсть буйвола, которую он оставил на тенте, и повела Элвиса за полмили к ручью, чтобы искупать с мыльным мылом «Доктор Броннер», после того как он повалялся в куче свежего бизоньего навоза. Той осенью, переехав в дом «полоса К», я перевязала эту шерсть ниткой красного мулине и подвесила на обод бубна, обтянутый кроличьим мехом. На кожаной стороне бубна я нарисовала угольком молнии. Я слышала историю о том, что молния – энергетическое доказательство союза неба и земли, и что земля исцеляется, когда к ней прикасаются таким образом. Мне всегда нравилась идея драматических трансформаций – когда жизнь может измениться в один миг – но я даже не представляла, какие ощущения могут вызывать создаваемые ими шок и коллапс.

Есть сказка о Крольчихе, которая призывает к себе свой страх. Она видит койота, играющего в поле, и кричит: «Койот, я тебя не боюсь!» Видя, что койот игнорирует ее, она кричит все громче и громче, а потом начинает прыгать на скале, крича небесам: «Койот, Койот!» И после этого койот поднимает голову и прыгает на нее.

«Да не убоюсь я» – такой была моя молитва, а походы с ночевками и жизнь в одиночестве были моими выкриками, обращенными к койоту. В тот день, привязывая шерсть бизона к бубну, я думала, что этот бизон напомнил мне о том, что моя склонность воображать наихудшее может стать для меня препятствием. Я делала этот бубен как щит против всего незримого и безымянного, что меня страшило.

Он сгорел вместе со всеми остальными моими вещами.

Часть вторая

Убежище

Глава 4

Из лета в осень



В дни после того, как на моих глазах сгорел мой дом, с меня словно свалился огромный груз. Я ощущала странную эйфорию, больше не обремененная необходимостью считать каждый грош, чтобы хватило на аренду или оплату счетов, сбросив с плеч бремя дома, полного вещей, требовавших заботы, чистки или починки. Мною овладел экстаз необремененности. То был момент чистого птичьего полета, когда я воспарила над всем, а за ним пришла тяжесть гравитации, постепенное осознание того, что все свидетельства моего существования обратились в прах. Не осталось ничего, отмечавшего тот путь, что я прошла. Ни книг, ни документов; ни почерка, ни слов. Ни одного диплома. Я могла бы исчезнуть бесследно.

Вот какое оно, умирание, думала я. В конце будет так легко освободиться!

Я летела по воздуху.

Я еще не знала, что нахожусь в свободном падении.

* * *

Моя тщательно сконструированная фантазия о самодостаточности лопнула, как воздушный шарик. Я была ошарашена тем, что мне внезапно столько всего стало *нужно*. В мире, где мне пришлось начинать все заново, я больше не могла полагаться исключительно на свои упорство и решимость; мне также требовалась помощь. Краснея при этой мысли, я от нее уклонялась. Соппротивление убивает нас, и все же я

сопротивлялась, и это сделало ситуацию куда как труднее.

Что могло бы случиться, живи я в городке побольше, вроде Боулдера, в месте, где мое стремление быть анонимной позволило бы мне тихо просочиться сквозь трещины? В Джеймстауне помощь прямо-таки вихрилась вокруг меня. Общество прибыло на место, как вызванная кавалерия. Нэнси И, женщина, с которой я сошлась на почве страсти к кулинарии и посуде марки «Фиеста», дважды возила меня на большой шопинг в «Таргет», где только самое необходимое – белье, кое-что из одежды и туалетные принадлежности – потянуло в сумме более чем на половину месячной арендной платы за дом. Моя подруга и бывшая студентка Келли пустила шляпу по кругу среди своих коллег в салоне, где меня стригла, и вместе с Карен Зи обеспечила нас поводками и мисками, лекарствами и игрушками, а также новой собачьей подстилкой для Элвиса. Даже Джоуи, мой сварливый шеф из «Мерка», чья среднезападная щепетильность с вечно поджатыми губами слишком часто вступала в столкновение с моей прямой натурой, выставил на барную стойку банку для пожертвований с моим именем. У нас с ним сложился неустойчивый альянс с тех самых пор, как он перекупил это кафе у Сюзи, которая наняла меня, а потом отбыла в поисках более теплой жизни в Мексику. Весть распространилась, и получатели почты на моем загородном маршруте доставки оставляли для меня деньги в конвертах в своих ящиках. Другие пожертвования прибывали по почте. Анонимные чеки. Гуманитарные посылки с постельными принадлежностями и одеждой. Организованные отчасти моей доброй висконсинской подругой Уди, коллеги и университетские профессора постарались найти замену некоторым книгам из моего докторантского списка, загрузив их в посылки вместе с ручками и блокнотами. Наш городок устроил благотворительный аукцион.

Не осталось ничего, отмечавшего тот путь, что я прошла. Ни книг, ни документов; ни почерка, ни слов. Я могла бы исчезнуть бесследно.

Джеймстаун, как и многие горные городки, представлял собой странную смесь стареющих идеалистов-шестидесятников, молодых хиппи-подражателей, людей, которые хотели, чтобы их оставили в покое, или – как я – неловко чувствовали себя в присутствии слишком большого количества народу, а также энергичных либертарианцев. В этот же коктейль пошла и горстка конченных укурков, алкоголиков и психов, нуждавшихся в медикаментозном лечении, – группа, которая не вписывалась ни в какие рамки и демографические группы. У меня с этим

обществом сложились отношения этакой любви-ненависти, моя позиция колебалась между оторопью и неодобрением. Когда я не работала в «Мерке», я притормаживала у дверей и просто махала рукой толпе завсегдатаев, в число которых всегда входил Рэббит с его тонким, как крысиный хвост, седым «конским хвостом», змеившимся по спине; он сидел в компании горцев-холостяков, что круглый год неизменно попивали пиво или покуривали сигареты на улице перед кафе. Так что, когда эти же самые люди, к некоторым из которых у меня сформировалось стойкое отрицательное отношение, а то и откровенная неприязнь, заявили на аукцион, чтобы торговаться за лоты и покупать пиво, я почувствовала, что поджариваюсь на двух одинаковых вертелах – досады и стыда.

На аукционе городские пьяницы нарезали круги вокруг бочки с пивом у городской ратуши, одного из малой горстки местных зданий, датируемых аж началом XX века. Они раз за разом наполняли свои красные пластиковые чашки, наверное, даже не сознавая, что их доллары пойдут на оплату дивана, обеденного стола и кровати. Внутри ратуши музыкальная группа под названием «Неизвестные американцы» играла с воодушевлением и громко, толпа тусовалась снаружи, кучкуясь вокруг костра, разведенного в пятидесятигаллонной бочке. День был по-весеннему влажный и холодный.

Карен Зи, которая всегда носила только джинсы с фланелевыми рубашками и мужские безразмерные футболки, собирала толпу на улице, точно балаганный зазывала, продавая распечатки своей фотографии в двадцать лет в образе католической послушницы – по пять долларов за штуку. Другие торговались за пожертвованные предметы или просто совали деньги в кружку. Люди наполняли тарелки принесенной складчину едой и болтали друг с другом.

Я оставила Элвиса в машине и попыталась выпить врученное мне пиво. Хотелось бы мне сказать, что оно не встало мне поперек горла, но в действительности я слонялась по периферии мероприятия, испытывая бóльшую неловкость от соболезований и добрых пожеланий, чем если бы меня осыпали ругательствами и обвинениями. Доброта была прожектором, который показал, что я достойна жалости.

Когда мой отец, поставленный в известность о случившемся паническим сообщением моей сестры, позвонил на утро после пожара с предложением денег, я все еще была в шоке, и его «я люблю тебя» застигло меня врасплох. Я всхлипнула: «Я тоже тебя люблю». В последний раз мы виделись, когда пару лет назад умер дед. Это был наш единственный контакт за десять лет. Густая

грязь дискомфорта потекла по моим конечностям: я была не в настроении для спешного примирения – именно такова была цена принятия отцовской помощи. Но помощь была мне нужна. Папа сказал, что вышлет чек.

Через несколько дней я сбежала в Моаб, городок на востоке штата.

В грузовик предстояло загрузить не так уж много вещей: коврик *Therm-a-Rest*, спальный мешок, газовую плитку на одну конфорку и походную кружку-френчпресс. Все новое, все купленное в последний момент. Палатку и кухонные принадлежности дала Карен.

С Элвисом на переднем сиденье я направила свой внедорожник к туристическому лагерю вдоль реки Колорадо неподалеку от Касл-Вэлли, где уже десятки раз ставила палатку. Это было укромное местечко, приютившееся позади небольшого останца с видом на излучину реки, широкую ладонь долины и ее башни и столбы из песчаника.

Приезжая туда, я соблюдала ритуал собирания света. По утрам я смотрела, как утесы над рекой пламенеют красным, как линия рассвета скатывается вниз по скалам, и пыталась запечатлеть в памяти точные оттенки, а Элвис в это время гонялся за бурундуками между кустами шалфея и хризотамнуса. Под конец дня, после долгой прогулки с собакой, лениво понежившись на солнце рядом с ручьем, текущим по ущелью Кортхаус-Уош, я возвращалась в лагерь, разворачивала стульчик на полкруга и наблюдала весь процесс в обратном порядке: тень заката ползла вверх по шпильям Фишер Тауэрс, ландшафт темнел, обретая цвет крови. Отслеживание перемен ландшафта заставляло притормозить – хочешь не хочешь. Моя внутренняя болтовня приглушалась до шепота, пульс замедлялся. Я делала пару глубоких вдохов.

К тому времени как шоссе нырнуло к долине реки Колорадо, было почти пять вечера, и свет вспыхивал, отражаясь от скал. Облегчение затопило мою грудь, когда я предвкушала, как стану устраиваться на привычном месте. Но въезд оказался перекрыт табличкой со словами «лагерь закрыт». Там, где прежде был еле заметный проселок, который, казалось, истаивал в никуда, теперь образовалась отчетливая подъездная дорога, недвусмысленно перекрытая знаком с изображенной на нем палаткой, жирно перечеркнутой красным.

Я запаниковала. К этому времени я рассчитывала уже, дожидаясь заката, запивать пивом чили «Крейзи Эд», что Карен Зи сунула мне с собой; но я припозднилась с выездом. Сдав назад, я развернула машину на север и помчалась дальше, через ряд

альтернативных кемпингов, которые знала по прежним годам, когда исследовала эту долину. Все они стояли вдали от наезженных дорог, вдали от больших туристических лагерей и людей. И на каждом из них оказался тот же знак. Отчаявшись, я поехала через Касл-Вэлли в Фишер-Тауэрс, чтобы проверить тамошние кемпинги, – увы, слишком много народу. И Элвиса пришлось бы держать на поводке, что означало: мы оба будем несчастны.

Через два часа, когда солнце уже давно скользнуло за приречную скальную стену, долину словно присыпало синей пудрой. До темноты оставалось всего ничего. Я должна была принять решение: ехать в большой кемпинг, где банды мотоциклистов и шумных внедорожников будут стоять между мной и спокойной ночью, – или незаконно проникнуть на туристическую стоянку.

После почти трех недель ночевки в полудюжине разных постелей и ношения впопыхах купленной или пожертвованной обуви и одежды я тосковала по привычности, по месту, где моя история была бы написана узором шалфея, изгибом киноварного останца. Так что я кое-как протиснула свой внедорожник мимо знака, просматривая всю дорогу в зеркале заднего вида с гулко бьющимся сердцем. *Что, если кто-то меня видел?*

Оказавшись на стоянке, я старалась держать Элвиса при себе. Слишком нервничая, чтобы разводить костер или готовить горячий ужин, я писала в блокноте при свете головного фонарика, зажав его в руке, и ела сыр с крекерами. Река, полная красного ила, мрачно кружила рядом. Элвис сидел на краю лагеря, неся дозор.

Скорбеть по предметам казалось мне глупостью и ребячеством. У меня был Элвис. Я была жива. Я не позволю себе погрязнуть в разочаровании.

В отдалении прошел призрачный дождь. Я смотрела, как облака склонялись к горизонту, роняя капли, которые испарялись, не успев достигнуть земли. Я лишилась всего так внезапно и так неожиданно, что эти вещи существовали теперь лишь как смутные воспоминания – как дождь, который не касается земли, как присутствие, маячащее на горизонте. И все же я не могла скорбеть. Я знала, что я – это не мои вещи. Этот факт стал ясен мне в тот же миг, когда я увидела пламя. Скорбеть по предметам казалось мне глупостью и ребячеством. У меня был Элвис. Я была жива. Я не позволю себе погрязнуть в разочаровании. *Какой в этом был бы толк?*

Но неотступная пустота наполняла меня, это чувство

огромного пространства и отдаленности, словно я тоже была опустошена. Я задерживала дыхание в ожидании следующего ужасного события. В последовавшие месяцы я стала жить сомнамбулой, поскольку отказывалась от переживаний – отказывалась чувствовать что бы то ни было вообще – и упиралась плечом в скалу восстановления.

Я провела сторожкую, вполдремы ночь на заднем сиденье машины, не убирая ключ из замка зажигания, поскольку боялась ставить палатку и просыпаться при звуке каждого мотора, каждого появления горящих фар выше по реке.

Утром я погрузила немногочисленные вещи в машину и отправилась в Моаб, где все тротуары были запружены людьми с сумками для горных велосипедов и в перчатках. После яиц побенедиктински в кафе в юго-западном стиле, где я больше всего любила завтракать, мы с Элвисом поехали прочь из городка.

Прилегающая территория была точно так же переполнена. Люди ездили на мотоциклах и велосипедах, шли пешком и летали. Моэб был местом известным уже гораздо больше двух десятилетий, и ежегодные толпы туристов соответственно умножались, но мне казалось, что в этом году дела обстоят куда хуже, чем обычно. Я съехала было на одну заброшенную грунтовку – в надежде найти место для палатки, – и тут в ста футах передо мной приземлилась девушка на парашлане. Она робко помахала мне рукой, и мне пришлось дожидаться, пока она соберет свой парашют.

В тот день я нашла славное местечко в Поташе, между стеной каньона и узенькой струйкой речушки, но к полудню позднее мартовское солнце принялось печь так немилосердно, что Элвис, тяжело дыша и вывалив язык, спрятался под машину, и пришлось снова сняться с места. Я нашла еще одну кемпинг-стоянку к северу от Моэба, на плато, которое вело к парку Дед-Хорс-Пойнт. Солнце пускало косые лучи из-за массивного останца, и я разбила лагерь рядом с ним. На следующее утро я проснулась от рева джипа на колесах-переростках, который пытался вскарабкаться по песчаниковому склону меньше чем в пятнадцати футах от моей палатки. Было шесть утра.

– Я хочу подняться вон туда, – сказал мне мужчина в бейсболке, указывая на скалу за моей спиной. – Я всю ночь гнал машину, чтобы попасть сюда.

Я не хотела сдавать позиции, но после целого утра визгливого гула вездехода, штурмовавшего скалу неподалеку, снова пустилась в путь.

Хотя мне было почти сорок, ощущения оставались теми же, что и в юности. Я годами пыталась пустить корни, но продолжала

кружить, менять работу на учебу, одно съемное жилье на другое, воспроизводя свое скитальческое детство. Теперь я была дальше от оседлости, чем когда-либо прежде. Мне нужен был дом, да – но мне нужен был и ландшафт. Место, которое принадлежало бы мне. *Не потому ли я забиралась все дальше и дальше в горы?* Казалось, мы подходим друг другу. Теперь же я сомневалась во всем. Безместность была горем куда более глубоким, чем все, что со мной случилось.

Я провела последнюю ночь в Кейн-Крик. Там когда-то был построен живописный кемпинг-лагерь, отмеченный изукрашенной, вручную сложенной террасой из песчаника и речного камня, со скамьей, обводившей полукругом кострище, и креслами-качалками в небольшой бухточке. Год за годом туристы вносили в обустройство свой вклад, пока это место не превратилось в маленький оазис на равнине. Мы с Карен Зи как-то раз останавливались здесь, но теперь я не смогла его найти. Проехала туда-сюда по широкой долине и единственное, что обнаружила, – это другие рычавшие моторами внедорожники, колеса которых вздымали тучи пыли. Я была раздражена. Возбуждена. Казалось, все идет не так.

Хотя мне было почти сорок, ощущения оставались теми же, что и в юности. Я годами пыталась пустить корни, но продолжала кружить, менять работу на учебу, одно съемное жилье на другое, воспроизводя свое скитальческое детство.

Так что я направилась домой, в Колорадо, слишком хорошо сознавая, что у меня *нет никакого дома*, чтобы в него вернуться. Внезапно я подумала о том утре, когда проснулась на туристической пенке, втиснутой между двухместным диванчиком и входом в кухню в джеймстаунском домике Карен Зи. Дом моей бывшей соседки и подруги на берегах Джим-Крик мог вызвать клаустрофобию, все его пространство было забито коробками с туристической экипировкой и забытыми сумками бог знает с чем, газетами и журналами, кошачьими подстилками и стопками книг. Валил мокрый весенний снег, и я, покопавшись в мешке с торопливо собранной для меня с миру по нитке одеждой, вытащила единственную толстовку, которая была мне по размеру. *Она пахла кем-то другим.* Что-то вдруг хрупнуло во мне – так же, как надламываются в пустыне песчаниковые осколки. И я услышала собственный тоненький скулеж. *Ха-ах-ах-ах-хаа*, заплакала я.

На выезде из городка я остановилась у Ида-Галч, неподалеку от того места, которое было некогда моим любимым кемпингом,

и стала смотреть, как мимо стремительно проносятся ржавые оттенки вод Колорадо. Небо хмурилось; сегодня не было никакого солнца. Приезжая сюда, я всегда чувствовала свои корни. Но не в этот раз. Я вынула из кармана кусок розового кварца, который одна подруга подарила мне после пожара, – «для исцеления», сказала она.

И бросила его в реку.

* * *

Карен Зи не разделяла моей сдержанности, когда надо было просить о помощи, и к моему возвращению она невозмутимо добилась для меня разрешения пользоваться летним домиком в Писфул-Вэлли, в десятке миль к северо-западу от Джеймстауна, если ехать вдоль двухмильного отрезка реки Сент-Врейн; в этом домике я могла бесплатно жить, пока не найду другое съемное жилье, он принадлежал супружеской паре возраста моих родителей, у супругов был бизнес «мастеров на все руки», а жили они напротив через улицу.

Я прибыла туда с тремя мусорными мешками, заполненными всем, что теперь принадлежало мне в этом мире, и взятым в кредит ноутбуком. Уолди, низкорослый мужчина, вооруженный мощными ручищами, с кустистыми бровями и бородой, с энтузиазмом прокричал через улицу:

– Приходите к нам обедать!

Я отнекивалась. Но потом к нему побежал здороваться Элвис, перепрыгивая через островки снега, припадая на лапы, чтобы поиграть с его огромной собакой Джуно, наполовину датским догом, наполовину ньюфаундлендом, которая была похожа на большую черную бочку на длинных веретенообразных лапах.

Одно время, когда «Мерк» принадлежал Сюзи, Уолди был там за повара. Помню, только-только переехав в Джеймстаун, я видела его с сигаретой, свисавшей с губы, когда он утром переворачивал на блиннице хаш-брауны и оладьи. Дома же его специализацией была польская кухня. В тот вечер мы ели суп с грибами, сливками и укропом, а потом колбаски, обильно запивая их красным вином. У его жены Кары были острые ястребиные черты и длинные черные волосы. Она занималась целительством и работой с телом и предложила мне бесплатный массаж в любое время. Наш разговор лился без усилий и весело, и впервые за долгое время я смеялась и не могла остановиться. Сидя за их столом, с Элвисом, уснувшим у моих ног, я поняла, что мы станем добрыми друзьями. И все же я чувствовала себя

жучком на жаровне: слово «спасибо» казалось здесь абсурдно неадекватным.

* * *

Семестр окончился, и приближался мой день рождения. Несколько месяцев я предвкушала свой триумф при достижении этой вехи – и, как надеялась, новой главы в моей жизни; но теперь мою радость застило уныние. Я ступала в неизвестность, но была к ней не подготовлена. Более того, та тропинка, которую я проторила, была безжалостно отрезана: мне предстояло все начинать заново.

Слишком хорошо сознавая разницу между тем местом, куда я рассчитывала прийти, и тем, где оказалась, я сбежала в Таос^[28], чтобы отпраздновать этот день в одиночестве.

В день своего рождения я побывала на ранчо Д. Г. Лоуренса^[29] и в украшенной подсолнухами часовне, где прах Лоуренса захоронен в посеребренном цементном блоке, на котором выгравированы его инициалы; в стене был высечен феникс – личный символ Лоуренса. «Готов ли ты быть вычеркнутым, стертым, отмененным, превращенным в ничто?» – писал он в одном стихотворении об этой мифической птице. Я потеряла о его инициалы своим блокнотом и сделала фото Лоуренса в месте его последнего упокоения.

В тот вечер я поужинала в элегантном ресторане на площади, где попросила официанта Алессандро, красивого грека с кудрями до плеч и карими глазами, в которых плясали искорки, подавать мне с каждым блюдом по бокалу красного вина. В ресторане было пусто, и мы с ним разговорились о пожаре и бесприютности. Он приехал в Соединенные Штаты, имея при себе лишь рюкзак. Семьи у него не было.

Под конец вечера Алессандро сказал, что хотел бы принести какую-то особенную бутылку вина в мою *каситу* после работы. *Ладно*, сказала я. Но когда он отошел, запаниковала. *Это он флиртует – или просто ему жаль меня, оставшуюся в одиночестве в свой сороковой день рождения в незнакомом городе?*

У меня не было бойфренда со студенческих времен. Если не считать пьяного одноразового перепихона в Висконсине с одним поэтом, которого я по ошибке приняла за романтика и непонятого гения, никто не касался меня много лет. Я понятия не имела, чего хотел этот грек. Разговора? Родства душ? Именинного секса? Под конец я передумала приглашать незнакомого мужчину в одинокий дом на Месе, где остановилась. Никто не знал, где я

нахожусь.

Оплачивая счет, я сказала ему, что передумала насчет выпивки «на сон грядущий».

Он великодушно улыбнулся, а я безуспешно пыталась прочесть на его лице либо разочарование, либо облегчение.

* * *

В том году весна в горах выдалась мокрой, а начало лета – еще мокрее. В июле я подписала договор аренды на хижину среди осин и пондероз, где трава уже вымахала до бедер. Я видела этот домик на своем почтальонском маршруте, он стоял в центральной части грунтовки, которая описывала петлю, уходящую от главной дороги между Джеймстауном и шоссе Пик-ту-Пик. Дом был крохотным и приземистым, прятался позади скальных выступов, выстроенный на прилагавшемся акре земли и окруженный с двух сторон пустыми участками.

Поначалу я сказала «нет».

Стоявший на той же возвышенности, что и мой сгоревший дом, всего в паре миль от пепелища через вершину горы, он не мог похвастаться утеплением ни в каком современном смысле. Сложенный из толстого бруса 5×10 сантиметров, он некогда использовался как летняя рыбацкая хижина, то есть строился в расчете на июльское и августовское тепло, когда вполне достаточно фанерного пола и одинарного остекления. Нынешняя владелица купила его, когда цены на жилье в горах были еще низкими, и вместе со своим бойфрендом, плотником-любителем, превратила халупу на сваях размером 5,5 на 8,5 метра в халупу для круглогодичного проживания с водопроводом и спальней. Вокруг опор, несущих хижину над землей, шла каменная стена, а снизу к полу были приколочены листы жесткой пенопластовой изоляции. Был выкопан колодец. Некрашенная стенка из гипсокартона отделила кухню от ванной комнаты и спальню от ниши, которую вполне можно было использовать как кабинет. Внутрь была занесена угольная плита, спасенная из какой-то гостиницы на выезде из Лидвилля, установлена она была на выложенную вручную из песчаника топку. В гостиную, где одна стена наклонялась наружу, точно корпус судна, под массивной тяжестью стропил четверо больше ее размерами, была поставлена пара неэффективных электрообогревателей – запасных. К стене над плитой было приколочено плоское дно деревянного ящика от боеприпасов, а южная стена, где встречались кухня и зона столовой, казалось, только и держалась,

что на встроенном стволе ветвистой сосны. В некоторых шкафах не хватало полок. В хижине витал дух какого-то добрососедского клуба, с гордостью собранного из выброшенных деталей и вторичных материалов. Лучики света просачивались через щели между брусками в темное внутреннее пространство, а окна были *утоплены внутрь* – подоконники находились снаружи стен, на улице.

У меня не было бойфренда со студенческих времен. Если не считать пьяного одноразового переписхона в Висконсине с одним поэтом.

Я опасалась снимать очередной дом, отапливаемый дровами, и беспокоилась насчет состояния электропроводки, вполне возможно, не соответствовавшей нормативам, не говоря уже о состоянии плиты. Но под конец, движимая экономической необходимостью, – это было единственное место на горе, доступное мне по цене, – я его сняла.

Соседей здесь было раз-два и обчелся, а многие и вовсе сезонные, и это меня устраивало. Я просто хотела, чтобы меня оставили в покое. Летом домик был скрыт за собственным зеленым занавесом; я могла разгуливать голой, и никто бы об этом не узнал.

К востоку по горе Оверленд, через национальный лесной заповедник, мимо пруда, бежала короткая пешеходная тропа. С нее я видела и равнины Колорадо, и край Континентального водораздела. К западу от открытой террасы открывался кусочек Индейских пиков, названных так потому, что они якобы напоминают отдыхающего индейца и его коня.

Лишь раз у меня мелькнула мысль о том, чтобы со всем покончить, а потом я подумала об Элвисе – кто будет заботиться о собаке, которая доставляет столько хлопот?

Для Элвиса это место было сущим раем. Я лишь однажды попыталась оставить его в собачьем вольере площадью в половину акра, но после того, как он целый час лаем выражал свое неудовольствие, сдалась. Вместо этого я завела привычку просто выпускать его из дома обследовать двор, вынюхивая доказательства присутствия всяких тварей – кроликов и земляных белок, бурундуков и койотов. Со временем он завел привычку брести вниз по моей подъездной дорожке, не отрывая носа от земли, до подъездных дорожек двух соседей, чьи дома были скрыты из виду, – словно инспектировать их было его *работой*.

Затем он направлялся назад через сосновый лес и заросли диких цветов, поднимался по лестнице, прыгая через две ступени за раз, крутился на месте, укладывался на террасе у самой лестницы и наблюдал за двором. Хижина стояла вдали от главной дороги, так что мне не было нужды беспокоиться о машинах, а когда Элвис хотел домой, он просто гавкал разок под дверь.

После нескольких лет, на протяжении которых мне приходилось выслеживать его, когда он сбегал из огороженного двора, или брать на поводок всякий раз, как мы выходили наружу, я испытывала облегчение оттого, что больше не обязана постоянно оглядываться по сторонам, гадая, куда запропастился мой пес. И Элвис тоже радовался своей новой свободе. *Может быть, теперь для него наступил период зрелости*, думала я о своем восьмилетнем псе. Или, может быть, как и мне, ему просто необходимо было пространство, чтобы перестать убежать.

* * *

Всего через пару недель после переезда я проснулась от лязга пустых консервных банок по земле, торопливо набросила сарафан и устремилась наружу, оставив Элвиса спать на подстилке. Низкие тучи окутывали вершину горы, и от долгих многодневных дождей индейский рис вымахал необычно высоким. Лето не баловало теплом. На дворе не было никого – только туман и влажный запах земли. Я подобрала мусор, раскиданный по двору, и как раз складывала его обратно в бак, для которого бойфренд хозяйки обещал построить загородку, когда увидела широкую полосу примятой травы, уходившую в туман. Высмотрев открытый мусорный пакет позади сарая, на полпути между мной и дорогой, я пошла было забрать его, но услышала безошибочное *шури-шури-шури*: что-то двигалось вдоль бермы^[30].

– Привет, медведь, – тихонько проговорила я. Потом взяла мешок и стала подбирать мусор, не переставая разговаривать с мишкой. Когда я выпрямилась, невидимое в тумане млекопитающее дважды резко выдохнуло через пасть. Предостережение. Зверь был ближе, чем я думала. Трава снова зашуршала, и не успела я подумать, что медведь, возможно, идет ко мне, как услышала гулкий галоп по дороге, возвращавшийся в утренний туман.

* * *

Когда со мной связались из библиотеки колледжа, чтобы узнать, нужна ли мне по-прежнему книга Терри Темпест Уильямс «Убежище», я торжествовала: *одна из моих книг все-таки выжила!* Как и каждый любитель-книголюб, я могла бы взять любую книгу из своей библиотеки и рассказать историю не только о том, где я была, но и с кем была, когда впервые прочла ее. Книги хранят нашу историю. Когда я читала «Убежище» – мемуары, где изложена хроника ракового заболевания матери Уильямс параллельно с рассказом о разливе Большого Соленого озера и в которой прославляются узы между женщинами и природой, матерями и дочерьми, я была так растрогана, что позвонила своей матери. Мы отделились друг от друга с тех пор, как я уехала из дома, наши отношения были липким сочетанием нереалистичных ожиданий и удручающих разочарований. Мне нужна была мать целеустремленная и открыто гордая – моей матери нужна была дочь, которая не требовала бы от нее столь многого. Вдохновленная эмоциональной интуицией Уильямс, я взяла в руки телефон.

– Все остальное не имеет значения, – сказала я матери. – Ты – моя мать, и я люблю тебя.

Всего через пару месяцев после звонка из библиотеки Уильямс приехала в Боулдер, чтобы принять премию Уоллеса Стегнера в Колорадском университете. Было начало осени. Гора пахла древесным дымом, и летние травы полегли под первым морозцем. У кормушек – возвращение зимних птиц: вьюрков и синиц.

– Ты должна поехать, – сказала Карен Зи. – Ты должна рассказать ей, что с тобой случилось.

Это знак, сказала она – женщина, которая никогда подобных вещей не говорила.

– Да какое ей до этого дело, – отмахнулась я, напуская на себя безразличие.

Как и каждый любитель-книголюб, я могла бы взять любую книгу из своей библиотеки и рассказать историю не только о том, где я была, но и с кем была, когда впервые прочла ее. Книги хранят нашу историю.

Теперь я знаю, что стоицизм – это поза, чьим хребтом является страх; но в то время меня преследовало ощущение, что я каким-то образом заслужила именно то, что получила. Перед Карен я делала вид, что воскресение книги Уильямс и появление ее самой в наших краях – простое совпадение, одновременно надеясь, что происходит какое-то непонятное волшебство. Я всегда старалась верить в таинственный мистический мир,

несмотря на ослиное ляганье, которым он мне исправно отвечал. Я не знала, что может сказать мне Уильямс, но понимала, что рассказать ей мою историю – важно.

«Память, – писала она в своих мемуарах, – единственный путь домой».

Университетский актовый зал был забит под завязку. Это был один из тех самых чудесных осенних вечеров на Передовом хребте: голубые небеса, темнеющие в сумерках, которым пока не требуется зимняя шубка. Мне и прежде случалось видеть выступления Уильямс, но на сей раз она говорила несколько неуверенно: только что вернулась из Руанды.

– Я все еще одной ногой в той стране. У меня все еще нет слов для того, что я видела.

Переживания тьмы и ужаса вынудили ее принять новый взгляд, говорила она. Важно было «быть свидетелем, исследовать подбрюшье».

Мне вспомнилось стихотворение Лоуренса: «Готов ли ты кануть... в забвение?»

– Таким образом, – говорила Уильямс, – эта пробоина в наших сердцах становится отверстием...

После выступления я простояла почти час, пока Уильямс тепло разговаривала с каждым из людей в очереди. Когда настал мой черед, я поблагодарила ее и протянула книгу, а потом рассказала, как она оказалась одной из жалкой горстки моих вещей, переживших пожар. К моему стыду, голос у меня дрогнул.

Она кивнула.

– Вы мужественная, – сказала она, глядя мне в глаза.

Я помотала головой:

– Нет.

Это не имело отношения к крепости характера. *Просто продолжаешь жить*. У меня был выбор: переставлять ноги шаг за шагом – или умереть. Лишь раз у меня мелькнула мысль о том, чтобы со всем покончить, а потом я подумала об Элвисе – *кто будет заботиться о собаке, которая доставляет столько хлопот?*

Я не могла заставить себя раскрыть книгу, пока не вернулась домой. А сделав это, прочла: «Вам, Карен: да будут трансформация и возрождение. С любовью, ТТУ». В последующие месяцы, когда вокруг сгущалась тьма, эти слова были для меня лучиком света: обновление возможно.

Глава 5

Зима



Летом на горе дышалось легко: температура на 8500 футах редко поднималась выше тридцати, а мир был зелен и чудесен. Осины трепетали на ветру, колибри, носившиеся по лужайкам, с ума сходили по диким цветам. Утро занималось ясное в голубом просторе, но к полудню небо чернело, и грохотал гром, град рикошетил от высоких трав во дворе и отскакивал от неровной, вымощенной песчаниковым кирпичом дорожки. Но лето длилось всего около пятнадцати недель. Остальное время гора принадлежала зиме, наступающей на пятки осени, и весне с обещанием снега.

Мне не следовало удивляться тому, что в домик на Высоком озере зима пришла рано и гора преобразилась за одну ночь. Я весь сентябрь наблюдала, как бурели летние травы вдоль бермы, где скелеты солянки вымахали ростом с ребенка и купы осин, окружавших хижину, одна за другой вспыхивали золотым огнем, – и то, и другое скрывало дом от чужих глаз. Теперь же, в середине октября, когда оголенные ветви тянулись к набрякшему тучами небу, а травы лежали, придавленные двумя футами снега, моя хижина вдруг стала видима с дороги. Без камуфляжа, который дарило лето, я чувствовала себя голой.

Сугробы похоронили террасу и образовали высокие стены на изгороди; от лестницы во двор остались одни вмятины в снегу. Я даже не перенесла в дом дровяной ящик из сарайчика подле собачьего вольера, и мои дрова оказались засыпаны снегом. Один корд^[31] сосновых поленьев лежал, аккуратно сложенный рядами, в дровнике у сарая, но основная часть моего лучшего дровяного

запаса – два полных корда неровно нарубленных дубовых железнодорожных шпал – была свалена в кучу размерами 12×6 футов^[32] во дворе и теперь пряталась под брезентом. Перед снежной бурей ее высота в самой высокой точке составляла пять футов, но теперь она выросла – целая гора, и склоны сливались с бермой, у которой я встретила медведя.

Зима была другой страной.

От нижней части террасы я торопливо прокопала тропинки к обеим кучам дров, прорезав маршрут строго влево, к сосновым дровам, а потом – пройдя по своим следам назад, чтобы получилась вилка, вторая половина которой отклонялась к дровам дубовым. Прodelав эту работу, заполнила ящик, доставшийся мне на память о почтальонской должности (я развозила в нем почту). В основном сосновыми чурбачками и в меньшем объеме – дубовыми полешками, которые выкопала с одного края кучи. Только теперь я начинала понимать, сколько работы создала сама для себя, оставив дрова под открытым небом, но никакого иного места для них не было, да и в любом случае сейчас я уже ничего сделать не могла. Придется откапывать по частям всю зиму.

Я слишком скоро выяснила, что берма не давала никакой защиты – зря я так думала, – зато из нее получился превосходный трамплин для зимнего ветра. К январю груда дубовых дров сменила облик и стала частью ландшафта, исчезнув под сугробами и коркой наста, настолько толстой, что дважды в неделю мне приходилось повторять одно и то же упражнение, пробивая наст и отбрасывая в сторону лопатой снег, чтобы приподнять брезент и достать новую порцию дров. Это было все равно что убирать снег с подножия горы, бросая его кверху. Я неизбежно оказывалась на вершине кучи, выживая смерзшиеся чурбаки из ямы, прокопанной в снегу; это немного напоминало подледный лов. Мне потребовалась пара зим, чтобы сообразить, что я могу уменьшить количество труда, используя большие, накладывавшиеся друг на друга куски брезента и отмечая края дровяной кучи зелеными вешками.

Элвис перескакивал через прокопанные мною в снегу тропки, теперь уже по колено глубиной, и бурил ходы в их стенках, бешено виляя хвостом. Выражение его морды можно было описать только как широкую ухмылку; он пыхтел, подскакивал и зарывался в снег головой по самые уши, вынюхивая мышей. Его следы описывали по двору зигзаги и круги; он вел себя как энергичный лыжник на свежей пороше. Я хохотала в голос. На всем свете не найти счастливей существа, чем хаски в снегу.

Я бросала взгляд через двор, чьи края обрели сглаженные

очертания фигуристых женских тел. Дымок плыл из печной трубы. В воздухе висела зимняя тишина. Наконец-то мир и покой.

Поначалу мне казалось уместным начинать зиму в этом состоянии ума, принимать тихие дни и долгие ночи и восстанавливаться, паря в их объятиях. Как герой стихотворения Уоллеса Стивенса «Снежный человек», я воспитывала там, на горе, «сознание зимы». Я покорялась этому времени года, училась любить присутствие в пустоте, «ничто, которое есть». Изоляция была моим спасением: здесь были только я и ландшафт.

Но зима – клинок обоюдоострый. Жизнь в такой навязанной изоляции требовала тонкого баланса, такого, до которого мне было, как до луны. То, что я считала пустотой, было просто отсутствием. Я бежала *от*, а не *к*.

Моя повседневная жизнь была противоположностью этому «ничто». Я жонглировала работами – поварской, преподавательской и фрилансерской – и загружала свободное время бытовыми задачами: наполнить дровяной ящик, нарубить растопки, закопать золу, подкармливать пламя, кидать лопатой снег, выгуливать и кормить собаку, готовить.

Писать я избегала. Прошли целые месяцы после пожара, а в моем дневнике не появилось и строки. Я не могла справиться даже с простыми заметками о прошедшем дне; даже это было для меня слишком сильной гравитацией. Вместо сочинительства я старалась себя занять. Я просто хотела оставить как можно больше миль между собой и предыдущей весной.

Слишком многое уже случилось и еще только собиралось случиться – и всякий раз шок оказывался таким же, как лавина в солнечный день: одновременный грохот и столкновение; снег, маячащий на горизонте.

* * *

Я не виделась со своей учительницей Люцией Берлин три года, а потом мне сообщили, что она мирно отошла во сне в свой шестьдесят восьмой день рождения, в ноябре, с книгой в руках. Хотя я и знала, что она больна раком, это известие словно выбило воздух из моего тела. *Слишком рано*. Это был конец, который казался в некоторых отношениях слишком благодушным для Люции – женщины, чья жизнь была похожа на прекрасный шумный скандал. Однако в нем был привкус тихого достоинства, который доставил бы ей безмерное удовольствие.

Мы отделились друг от друга с тех пор, как она уехала из Боулдера в Калифорнию, когда я была занята написанием

докторской диссертации; я одна виновата в этом отдалении. Я хотела, чтобы Лючия обожала меня, осыпала меня безмерными похвалами, как других студентов. Но она была сурова ко мне и моей работе, и я никак не могла понять, почему. Так что я оставила между нами дистанцию, убеждая себя, что наша близость в Боулдере – все эти часы, когда мы упивались сигаретным дымом и сплетнями, зваными ужинами и обедами, – была чистой иллюзией, сплошь дым и зеркала, что ее великодушие было слишком прекрасно, чтобы быть настоящим. Узнав об обстоятельствах ее смерти, вплоть до которой она жила в перестроенном гараже у сына, прочтя, как она описывала свое радиологическое лечение – «словно кости перемалывают в пыль», – я завывала. *О, Лючия!*

На всем свете не найти счастливей существа, чем хаски в снегу.

Внезапно я подумала о прекрасной вазе Манзони, принадлежавшей Лючии. Я давно восхищалась такой же, когда работала в магазине кухонных принадлежностей в Боулдере, учась на бакалавра, но та ваза была абсурдно дорогой – мне не по карману. У Лючии была такая же, только поменьше; она, наполненная фруктами, стояла на кухонном столе. Ее крохотная съемная квартирка была полна красноречивыми творениями красоты – *пресиозо*^[33], – несмотря на то что хозяйка едва сводила конца с концами. Лючия рассказывала мне историю о том, как заказала эту вазу по каталогу, чтобы отпраздновать начало своей новой работы в университете. Только после того, как заказ прибыл, она осознала свою ошибку: ваза, за которую она заплатила столько денег, оказалась наименьшего из трех доступных размеров.

– Я полагала, что за эту цену получаю самую большую, – говорила Лючия со смехом, помахивая рукой в воздухе над вазой. – Ну, раз так, подумала я, буду пользоваться ею каждый день.

Проводя пальцами по гладким красным, золотым и голубым переливам, я поддразнивала:

– А можно, когда ты умрешь, я ее возьму себе?

Она вручила ее мне прямо перед тем, как я уехала из Боулдера на Средний Запад, в докторантуру, вместе с запиской: «Для твоих званных вечеров в Висконсине, милая. С любовью, Л.». В последний раз я видела эту вазу, наполненную лимонами, когда уезжала в марте из своего сгоревшего дома.

На вечере памяти Лючии моя подруга Элизабет, тоже ее бывшая ученица, которая специально прилетела из Рима, вручила

мне книгу из ее библиотеки. Чехов. Ее любимый писатель. Лючия часто называла его рассказы «совершенными, неприкрашенными, правдивыми». А я их ненавидела. Страсти в них кипели как бы под землей, а тонкость нюансов была не тем искусством, к которому я стремилась. Беря ее в руки, я так и слышала, как Лючия посмеивается.

Внутри Элизабет вложила фото – мы втроем за завтраком; у каждой рыжие волосы собственного, отличного от двух других оттенка. Другая жизнь.

Пресиозо.

* * *

Чем суровее становилась зима, тем гуще была моя скорбь. Но она была безмолвной и однообразной. Я ретировалась в свою хижину, опуская по ночам молитвенные покрывала, притороченные над окнами вместо занавесок. С друзьями виделась мало. Поддерживала огонь, смотрела фильмы, выгуливала Элвиса и готовила рагу и каччяторе^[34] в большой эмалированной чугунной гусятнице, съедая искусно приготовленные блюда в одиночестве при свечах. К праздникам я уже избегала всех, выдумывая отговорки. В декабре Келли, которая вместе со своей собакой Маасаи пару раз ходила со мной и Элвисом в походы, предложила жить вместе с ней в номере отеля, если я приеду в Денвер за неделю до Рождества, чтобы отпраздновать ее день рождения, но я от нее отделалась. Я хотела исчезнуть в хрустальном воздухе.

В канун Рождества падал снег, пухлые хлопья заполнили небо. Я повесила гирлянду из белых лампочек на осинах, стоявших подальше от террасы, а внутри дома еще одну – на древесный ствол у южной стены. На следующее утро небо было голубым до болезненности, и снежные сугробы сверкали на солнце. Я слушала «Реквием» Моцарта и готовила блинчики с лимонным суфле и колбаски с кленовым сиропом. Ритуал приготовления пищи был моим способом отмечать праздники.

Заезжала Карен Зи со своей собакой Сэнди, золотистым ретривером лет двенадцати или четырнадцати, которую она спасла через шесть месяцев после смерти Софии, поскольку ей сказали, что возраст и состояние собаки делают ее непригодной к передаче новым хозяевам. Это было почти четыре года назад. Сэнди последовала за мной в кухню, как всегда, горя желанием посмотреть, не упало ли чего вкусенького на пол. Вела она себя совсем не как старая собака. Карен привезла новую жевательную

игрушку для Элвиса – осьминога с семью пицалками. Элвис тряс его и скакал по комнате, вздернув голову, точно цирковая лошадь, красуясь. Мы с Карен погуляли по тихим дорогам, кружащим по горе, вместе с собаками, и свежий снег хрустел под нашими сапогами, и аромат сосен носился в воздухе. Вернувшись в хижину, согрелись маленькой порцией хорошего бурбона, влив его в кофе, потом Карен посадила Сэнди в машину и поехала на работу. Вечером мы с Элвисом пировали хорошенько прочесноченными запеченными ребрышками, картофельным пюре и соусом борделез, на который я потратила целый час и двадцатидолларовую бутылку каберне. Ветер нес свежий снег через лужайку, обнажая верхушки иссохшей летней травы.

Я слушала «Реквием» Моцарта и готовила блинчики с лимонным суфле и колбаски с кленовым сиропом. Ритуал приготовления пищи был моим способом отмечать праздники.

На следующий день я проснулась под новость о цунами в Индийском океане и отправила сообщение Келли, которая к тому времени уже ровно два дня была в Шри-Ланке, наслаждаясь своим неофициальным медовым месяцем в хижине на пляже. Я уверена, что с ней «все в порядке», писала я, мол, «просто проверяю». *Пусть все будет хорошо*, и подпись – с любовью.

Два дня спустя, когда я развернула газету в первом свете холодного утра, а Элвис обходил дозором округу, Келли оказалась на первой странице.

Тот же звук, который исторгало мое тело, когда я увидела пожар, когда я услышала о Лючии, поднялся из моего нутра и теперь. Воя, спотыкаясь, я вернулась в хижину.

Невозможно. Келли, у которой были буйные выющиеся волосы, которая говорила вещи типа «ага – я хорошенько напинала ему по заднице»... Она в одиночку путешествовала от Азии до Южной Америки и во время учебы в университете работала косметологом. В свои тридцать пять она была близка к тому, чтобы получить степень в Колорадском университете, где много лет назад начала учиться как моя студентка в общественном колледже. *Только цунами и могло это сделать*, думала я.

Разве не только что мы с ней виделись? Она стригла меня, и мы разговаривали о ее «официальной» свадьбе в Париже в будущем году. Она познакомилась с Нассиром в Гватемале, и через год встреч в таких местах, как Мадагаскар и Южная Америка, они тайно поженились прошлым летом в родной деревне Нассира в Афганистане. Об этом не знал никто, кроме

пары близких друзей.

– Ты едешь в Париж, – говорила она не терпящим возражений тоном. – С Элвисом все будет в порядке.

Она знала, что я неохотно оставляю своего пса с тех самых пор, как у него развилась чуть не ставшая фатальной аутоиммунная болезнь через две недели после моего возвращения из Висконсина, где я провела месяц; уход за ним стоил кучи денег и нервов: я винила стресс, вызванный моим отсутствием, в этом зеркальном переключении его иммунной системы.

Шок от гибели Келли завис, застыл, точно мертвое тело подо льдом. Неделями меня преследовали картины ее конца: как Нассир перетаскивал ее тело с места на место в хаосе, последовавшем за катастрофой, пытаюсь найти помощь и как-то сообщить ее семье. Как ее нашли – держащей за руку маленького ребенка.

Я мрачно встретила Новый год, вызывая буркнув «скатертью дорога» своему сороковому году и показав ему вслед средний палец, скармливая Элвису кусочки запеченной на гриле баранины с розмарином и залпом глотая кроваво-красный шираз. Я записала все, что поклялась оставить позади, – утраты, отчаяние, пугающую веру в тщетность всего, свой чертов трудоголизм – и бросила список в печь. Я начну с самого начала, *будь оно все проклято*. Я все оставляю позади.

Но когда я вступила в самую темную часть года, зима вгрызлась в мою кожу – в обветренную шершавость моих ладоней, губ и носа, настолько растрескавшегося, что я просыпалась по ночам из-за того, что больно было дышать. Меня постоянно мучила жажда. Казалось, я пью и не могу напиться вдоволь. Воздух в хижине трещал вместе с постоянно горевшим огнем; все, чего я касалась, било в ответ статическими разрядами. Форма для запекания, полная воды, которую я ставила на плиту, уже через час была совершенно сухой. Я включала горячий душ, широко открыв дверь ванной, и направляла работающий фен внутрь хижины, чтобы вернуть ей часть влаги, высосанной жаром печки.

Домик стонал от ветра. Тот бился в стены, как приливная волна, иногда широко распахивая переднюю дверь посреди ночи, выгоняя меня из сна и выбрасывая на горькие берега бессонницы. Эти ночи были рваными. Сосны снаружи едва ли не крутились вокруг оси, ломались сучья, а я внутри спала, накрыв голову подушкой, чтобы заглушить мощный гул, похожий на шум движущегося поезда. Не раз и не два я просыпалась от тонких иголочек снега на лице, надутого сквозь щели в стене над кроватью арктически холодным воздухом. По утрам мое дыхание висело в хижине белыми облачками, потому что я не могла

заставить себя спать с огнем, горящим в доме. Я жила на краю мира.

Я мрачно встретила Новый год, вызываяще буркнув «скатертью дорога» своему сороковому году и показав ему вслед средний палец.

Я стала просыпаться по ночам, потому что мое сердце заходило от потрясения какого-то тут же забытого сна, а потом лежала, повисая между ужасом и паникой, и глухое буханье в груди гремело все темные предрассветные часы напролет. Иногда этот бит отстукивал быстрые 2/2^[35], и я пыталась замедлить дыхание; в другие моменты это было земляное «бум», от которого сотрясалась грудь. Воображаемые призраки шествовали в моем сознании по ландшафтам катастроф, и я опасалась, что что-то не так с моим сердцем.

Потом мне вручили документы по судебному иску в связи со сгоревшим домом – на той же неделе в конце января, когда моя мать перенесла обширный инсульт, вызванный гигантской аневризмой в мозгу. Жизнь уложила меня на лопатки.

Лежа на своей больничной койке в палате интенсивной терапии, мать казалась застрявшей между двумя мирами. Все в ней было нерешительным. Тело, которое я знала, с его тонкими щиколотками и запястьями, с его безбедрой талией – это тело присутствовало, но другая, более глубоко спрятанная часть сопротивлялась. Та ее часть, которая не хотела иметь ничего общего с кислородными подушками и трубками, поставлявшими морфин и средства, разжижавшие кровь; та часть, которая никогда не хотела иметь ничего общего с этой жизнью. Это было привидение из моего детства.

Едва увидев ее, я поняла, что жить она не хочет. Не новость – этому нежеланию был уже не один год. Жизнь стала для нее огромным разочарованием, чем-то таким, что следовало скорее терпеть, чем принимать. Мама слишком часто боролась просто за выживание, и это истощило ее. Я взяла ее за руку, пытаюсь передать ей часть своей силы и решимости. Несмотря ни на что, у меня еще оставалась в запасе воля.

– Все будет хорошо, – проговорила я, но ее бледно-голубые глаза были где-то далеко. Аневризма размером с грецкий орех пульсировала в центре ее мозга. Она ударила по глазному нерву и направила один глаз вниз. Мама попыталась что-то сказать, но потом прикрыла глаза, плотно сжав губы.

– Что? – спросила я. Она слабо покачала головой из стороны в сторону.

В тот день я вместе с сестрой Нэнси проехала добрых две

сотни миль. Небо плевалось серым снегом, пока мы мчались к Колорадо-Спрингс, где жила наша мать, – и только там узнали, что ее доставили в неврологическое отделение в Денвере. Чтобы отыскать ее, ушло несколько часов. А потом нам сказали, что аневризма по-прежнему может прорваться, что у нее может быть еще один инсульт. Если мать выживет, придется оперировать аневризму, и ей понадобится обширная реабилитация с восстановлением навыков равновесия и подвижности, а также помощь в послеоперационном уходе. Это означало, что ей придется переехать поближе к Нэнси, Крису и мне – все мы жили в Боулдер-Сити. Матери было всего шестьдесят три года.

Мой младший брат Стив прилетел из Солт-Лейк-Сити и присоединился к нам в больнице, где мы совершенно внезапно оказались снова вброшенными в горнило семейных уз. Мы с братьями и сестрой не были близки. За эти годы мы не раз пытались создавать союзы, изгонять ядовитую тень нашего детства, но нахождение рядом выявляло в нас худшее. Особенно это было верно в наших с Крисом отношениях – непрекращающемся матче взаимных обид. Я взбеленилась из-за того, что ему потребовался целый месяц, чтобы позвонить мне и спросить, как дела, после того как сгорел дотла мой дом, а он давно составлял длинный реестр прегрешений, связанных с моей бычьей натурой. И все же я не могла найти причины ярости, которую Крис ко мне питал. Он говорил, что я нетерпима и воинственна. Конечно, я такой и была – этакое контрзаклинание против заклęcia, наложенного на меня в детстве, моя реакция на постулат о том, что я должна повиноваться, а не возглавлять. Когда мы вчетвером собрались в комнате ожидания при реанимации, братья склонились друг к другу головами, как два генеральных директора, и стали формулировать план, оставив нас с сестрой стоять под дверью комнаты совещаний. В то время как Нэнси неуверенно жалась на периферии, я бросилась в бой.

– А как же это? А что с тем? – раз за разом спрашивала я. В мгновение ока обсуждение плана действий разгорелось в настоящую войну. Честно говоря, чтобы решить, как наилучшим образом помочь нашей матери, легче было бы свести четырех незнакомцев.

Едва увидев ее, я поняла, что жить она не хочет. Жизнь стала для нее огромным разочарованием, чем-то таким, что следовало скорее терпеть, чем принимать.

Почти целый месяц той темной поздней зимы я по три-четыре раза в неделю, беря с собой Элвиса, ездила в Денвер – дорога занимала три часа, – чтобы сидеть с матерью. К тому времени как

ее выписали и перевели в реабилитационный центр в Боулдере, где ей предстояло заново учиться стоять и ходить, было ясно, что маме, которая больше не могла ни работать, ни водить машину, придется жить на пособие по инвалидности. Крис неохотно разделил со мной главные обязанности: я брала на себя медицинский уход за матерью, в то время как он решал финансовые вопросы.

В те месяцы все давалось через силу: я ссорилась с Крисом, с соцобеспечением, с врачами – по вопросам ухода и продолжительности пребывания в больницах, со страховой компанией – из-за сгоревшего дома.

Для людей из «Мерка» я была женщиной, на которую подали в суд. Одни качали головой и смотрели искоса, другие нехарактерно для себя держали рот на замке.

– Да, я что-то слышал об этом, – прежде чем перевести тему, кивал Джо-Джо, у которого всегда было свое мнение почти по всем остальным вопросам. Разговаривать о подобных вещах считалось невежливым, хотя я знала этот городок достаточно хорошо, чтобы понимать, что шепотки рикошетят во все стороны по маленькой долине над Джим-Крик.

Как ни абсурдно, страховая компания утверждала: я виновата в том, что оставила горящий огонь в защищенной дровяной печи в хижине, отапливаемой исключительно этой самой печью, в холодный день, когда без отопления могли замерзнуть водопроводные трубы. Сверх всего, что уже было на моей и без того полной тарелке, добавились поиски адвоката. Самый дешевый поверенный стоил вдесятеро больше того, что я могла себе позволить, и никто не хотел браться за мое дело за красивые глаза.

– Мой вам совет, – сказал один юрист, – заплатите им.

Не имеет значения, кто прав, добавил он, имеет значение, у кого есть деньги.

– Вас, несомненно, нагибают, – пояснил он, – но страховая компания просто делает свою работу. У них такой порядок – подавать иски на суброгацию, чтобы попытаться возместить свои выплаты.

– Но я же не сделала ничего *противозаконного*, – объясняла я.

– Не имеет значения, – отрубил он.

Я отключилась и швырнула телефон на диван – со всей силы. Элвис поднял с пола голову. *Я права, черт побери!* Этот иск никак не может быть удовлетворен, потому что – *Я. Была. Права.* Я не сдавалась, позвонив еще десятку юристов, прежде чем нашла одну женщину-адвоката, которая вначале сказала «нет», а потом перезвонила мне. Она хотела помочь, но не могла себе позволить

взять мое дело совсем без оплаты. Я сказала ей, что смогу наскрести около тысячи долларов. Мы заключили договор: я буду работать над собственным делом, искать информацию и помогать ей, чтобы сократить ее расходы.

Она посоветовала подать встречный иск: «Надавить на страховую компанию». Может быть, они от всего откажутся, а может быть, я смогу возместить часть своих потерь, сказала она, а потом упомянула сумму, которая закрыла бы мой текущий долг.

Какое-то – недолгое – время я была полна *хуцлы*^[36], этакая Эрин Брокovich – *никто меня не запугает*. Я пылала надеждой. Я практически слышала этот саундтрек, раздувающийся к спасительному финалу, несмотря на то что, когда все было сказано и сделано, моя наивность звезданула мне точно между глаз. Я понятия не имела о том, как работает юридическая система, и, к несчастью для меня, не знала этого и адвокат, которая пришла мне на помощь.

Но все это предстояло в будущем; дело решилось только через год. А пока в худшую часть зимы я стала все чаще и чаще просыпаться под грохот собственного сердца, теперь подкрепленный наступлением озноба. Мое тело казалось электрическим, звенящим, когда я натягивала стеганое одеяло до ушей и подтыкала вокруг ступней, сворачиваясь тугим калачиком, но не могла остановить волны, простреливавшие вверх-вниз мои конечности. *Дыши*, велела я себе. Я начинала скулить. Элвис поднимал голову, а потом подходил к краю постели, чтобы выяснить, что случилось. Я приподнимала одею, и он забирался под него. Необычный для него поступок – пусть даже это длилось всего десять минут, после чего он снова прыгивал вниз: ему было слишком жарко.

Борясь с приступом паники, я сдвигала подушку ближе к подножию постели и проползала сквозь одеяла к Элвису, перебросив руку через край матраса и просунув ладонь ему под грудь. Снова подтянув вокруг себя стеганое одеяло, начинала дышать в такт с ним. Он стал моим *якорем*, канатом, который удерживал меня на привязи к земле.

Я завела привычку спать на противоположном конце кровати, чтобы моя ладонь покоилась на сонном теле Элвиса. Лишь позднее мне пришло в голову, что мое тело было перенасыщено скорбью. Я все принимала внутрь, веря в миф о своей неуязвимости, и бульдозером пробивала дорогу сквозь случившееся. Я и представить себе не могла, что в конечном счете мне придется что-то *чувствовать*. Вместо чувствования я изложила все события в истории, которую рассказывала себе и другим, – в таком же бесчувственном духе, в каком именovala и

анализировала ряд событий, когда они случались с кем-то другим.

Я начала чаще выпивать, и после пары стаканов вина меня захлестывали эмоции. Первой это заметила сестра.

– Осторожнее, ты превращаешься в папу, – сказала она мне со смешком как-то за обедом. Наш отец славился неудержимой демонстративностью, когда напивался, что случалось достаточно часто.

– Вы не обязаны ничего делать, – сказала психотерапевт – одна из нескольких, с которыми я встречалась в том году, – после того как я произнесла очередной полукомический монолог, насыщенный притворным возмущением по поводу поворотов сюжета в моей жизни. – Просто сидите, – сказала она.

Ради разнообразия я прислушалась к чужому совету.

В феврале каждое утро – еще до кофе, до разведения огня в печи – я садилась в постели и безмолвно повторяла мантру, подаренную мне больше десяти лет назад. Элвис сворачивался у моих подогнутых под себя ног, словно защищая.

Я никогда не была мечтательным, отключающимся медитатором. Медитация для меня всегда оказывалась чем-то вроде поездки на американских горках – мое сознание взлетает и падает, бросается вперед и тормозит, в то время как я пытаюсь отстраниться и следовать мантре. По большей части эти медитативные утренние минуты напоминали момент снятия крышки с мусорного бака: наружу вываливался всевозможный гниющий мусор.

Но это действительно *приносило* облегчение. Я начала ощущать где-то на краю моих дней тонкий лучик покоя. После медитации я вслух читала стихотворение Стивенса. Я так отчаянно хотела обзавестись «сознанием зимы»! Пусть хоть на минутку – но у меня получалось.

Постепенно, в результате повторения времен года и смирения, поначалу вынужденного, я поняла, что означает быть человеком в руках зимы. Это пришло ко мне после того, как я перестала бороться, после того как я просто остановилась и заползла в шкуру молчания. Тогда голые деревья на фоне неба стали безмолвным коаном^[37], парадоксом и медитацией.

Я понятия не имела о том, как работает юридическая система, и, к несчастью для меня, не знала этого и адвокат, которая пришла мне на помощь.

В том отдаленном будущем, выйдя однажды утром до рассвета, в зыбких сумерках зимнего неба, чтобы забрать газету, я видела, как взорвался спутник, разбрасывая куски, словно

светящиеся драгоценные камни, по заполненному звездами горизонту. Снег лежал, сверкая под полной луной, и все небо и земля искрились серебром и белизной. Мне казалось, что я попала внутрь фильма о замерзшем волшебном королевстве – это зрелище было таким фантастическим, оно просто не могло быть реальным. И ценой, уплаченной за него, стали собранные мной в коллекцию зимы, их девять месяцев практики тишины, практики неподвижности на вершине горы Оверленд.

Пару недель спустя, в самом начале марта, я дожгла остатки дубовых дров. Ничего не осталось, кроме кучки щепок настолько мелких, что они не были способны ни на что, кроме как устроить гневный бунт в моей сквозистой печи. Эти щепки вспыхивали быстро и слишком жарко, посылая языки огня по дымоходу, который угрожающе краснел. Поэтому я стала экономно топить остатками сосны – ее не осталось и четверти корда: достаточно на пару по-настоящему холодных зимних дней, если топить только ею.

Кутаясь в толстовку, шерстяную куртку с начесом, шапку и сапоги из овчины даже внутри дома, я ждала оттепели.

Глава 6

Весна



Однажды утром в середине марта, ближе к концу моей второй зимы на горе, я проснулась под громкие мягкие шлепки о дровяной ящик на террасе под окном. За зиму я завела ленивую привычку оставлять мешок с мусором в ящике на ночь, вместо того чтобы сразу брести по снегу к закутку, где мусор хранился до следующей поездки в город. Обычно за ночь он смерзался. И за исключением пары упорных воронов и одной проказливой соседской собаки, которая порой разбрасывала брюссельскую капусту и замерзшие мясные обрезки по всей моей террасе и заснеженному двору, из-за чего создавалось впечатление случившейся здесь бойни, у меня ни разу не было проблем.

Элвис полузаинтересованно отвлекся от ленивого удовольствия собачьих снов, когда я вылетела из теплого уюта позимнему тяжелого пухового стеганого одеяла и бросилась – голышом – к окну, готовясь хорошенько выругать настырного ворона. Но, подняв над окном молитвенное покрывало, я увидела не четырехфунтовое птичье тельце, а трехсотфунтовую медвежью тушу. Мы стояли нос к носу, разделенные всего восьмью дюймами воздуха с каждой стороны стекла. Медведица казалась такой же ошарашенной, как и я; в холке она почти доставала до подоконника. Размеры крупных млекопитающих – этой медведицы, того бизона в Бэдлендсе – всегда поражали меня, когда они оказывались вблизи. Я с силой стукнула по стеклу раскрытой ладонью и завопила: «Эй!» Медведица, чье тело казалось черным и таинственным в тусклом свете раннего утра, отпрянула, потом развернулась и двинулась, переваливаясь, по

ступенькам к заваленной снегом тропинке, мимо моего внедорожника к Г-образному изгибу гравийной подъездной дорожки. Я схватила флисовую куртку, прямого покроя коричневый пуловер, который едва прикрывал ягодицы, и натянула его, одновременно рывком распахивая дверь. Медведица топала по подъездной, а я на цыпочках вышла из дома на террасу, чтобы посмотреть поверх скального выступа на нее, косолапящую вдоль тропинки к югу от основной дороги. Потом я переместилась еще дальше, босая, при температуре около нуля, и стала смотреть, как медвежья задница исчезает среди деревьев на другой стороне грунтовки рядом с домом Пола и Терезы. Небо было розовым и ясным, и свежий снег лежал на пике Лонгс.

Хотя до равноденствия оставалось больше недели – и наверняка еще будет снег, – официально наступила весна.

Весна означала, что скоро цветы ветреницы опояшут лягушачий пруд на востоке, даже если им придется упрямо проталкиваться своими бледно-фиолетовыми головками сквозь снег. Я буду гулять по тропинке с Элвисом каждый день, коллекционируя все первое: первую нежную зелень в буром поле; первые ветреницы, первую пурпурную вику; первую розовую стайку зябликов. Первое утро без огня в печи. Это время года несло с собой столько удовольствий! Я хотела впитать их все.

Как медведица, я была готова вылезти из берлоги.

Это были трудные два года после пожара. Первый – выздоровление матери после инсульта, трудный процесс, когда в реабилитационном центре она заново училась стоять, ходить и самостоятельно есть. Когда она достаточно окрепла для поездок, мы с Крисом поехали с ней в Аризону, чтобы проконсультироваться у специалиста по аневризмам. Традиционно ее болезнь лечили бы хирургической операцией с наложением зажима, предназначенного для запечатывания аневризмы, но эта процедура требовала удаления челюсти, чтобы обеспечить доступ к двадцатимиллиметровой полости в центре ее мозга. Вместо этого специалист собирался поместить микроспираль внутрь аневризмы через катетер, введенный через пах. Несомненно, эту поездку мы предприняли в расчете на чистое чудо: введение микроспиралей было сравнительно новой процедурой, а эта аневризма – одной из самых крупных в практике данного врача. К тому же медицинская страховка матери не покрывала привлечения специалиста со стороны – лучшего в стране; она обанкротилась бы после выставления счетов – *если бы выжила*.

Город Тусон был сплошным мучением – не из-за своей обжигающе знойной весны и не из-за агрессивной семейной

динамики между нами, братьями и сестрами; а потому что ни мать, ни брат не хотели, чтобы я ехала. В иерархии нашей семьи старший сын был альфа-самцом, и моя мать рассчитывала, что Крис «обо всем позаботится». Это была не только обязанность Криса, но и его прерогатива – быть главным. Проблема заключалась в том, что он порой бывал странно скрытным – слова не вытянешь – и не доверял другим, иногда до степени паранойи. Соглашаться с составленным им планом было все равно что плыть по темным водам в безлунную ночь. Он безмолвно греб к горизонту, везя на себе ответственность, точно заряженную пушку, притороченную к спине.

Ухватившись за мысль о том, что я могу помочь, и, наверное, отчаянно желая, как и всегда, доказать свою компетентность, я ввела в этот план себя и настояла, что тоже поеду.

– Если есть хоть какой-то шанс, что мама может умереть, – сказала я Крису, – то я буду рядом.

Медицинский уход за ней – моя *обязанность*, настаивала я.

Мною двигали не только долг и сочувствие, но и честные опасения, что моя минималистка-мать будет отказываться и уклоняться, а брат с его недостатком воображения не увидит этих признаков. К тому же сиделка из него была никакая. Мать шесть недель с тех пор, как ее выписали из реабилитационного центра, провела на больничной койке в его гостиной, и – как ни смешно – все это время мы с Нэнси по очереди ездили к нему из других городов, чтобы постирать мамину одежду и привезти продукты. Крис работал по шестьдесят часов в неделю, чтобы содержать жену и двух сыновей-подростков, – разумеется, занят он был по уши. Но примерно в это время мои отношения с братом превратились из скверных в отвратительные, подогреваемые дикими историями, в которых я рисовалась бесстыжей оппортунисткой, так и норовящей прикарманить все возможные преимущества. *Я, оказывается, хотела наложить лапу на мамыны денежки* (которых у нее не было). Находились и другие обвинения. Ни одно из них не имело ни малейшего смысла. Чем больше я старалась убедить Криса в том, что не делала ничего из того, в чем он меня подозревал, тем больше у него появлялось подозрений.

Мы стояли нос к носу, разделенные всего восьмью дюймами воздуха с каждой стороны стекла. Медведица казалась такой же ошарашенной, как и я.

Став взрослой, я научилась выходить без потерь из безумия этого рода – оттенками которого была окрашена большая часть моего детства. Я отчетливо помню тот день, когда до меня дошло,

что не все семьи похожи на мою, что то, что считалось нормальным для нас, на деле было заряженным и взятым на изготовку ружьем. Поначалу меня окатило стремительной волной облегчения – *все-таки дело было не во мне,* – но за этим осознанием последовало чувство скорби настолько темной и пустой, что мне казалось, она поглотит меня целиком. *Это* было моей семьей.

Врач в клинике, мужчина, разговаривал исключительно с Крисом, игнорируя меня, пока я делала заметки. Мы с братом не могли даже ждать в одной комнате, пока шла операция. Вместо этого я сидела в пустом коридоре под дверью комнаты ожидания хирургического отделения на неудобном пластиковом стуле и пыталась не представлять, как мне придется сообщать новость о маминой кончине Нэнси и Стиву, или какую неловкость придется испытывать, когда надо будет утешать друг друга – а ни сил, ни желания нет. Восемь часов спустя мать вывезли из операционной, и она рассказывала о том, как летала над своим телом и видела своих давно почивших родителей, стоявших на пороге.

К нашему удивлению, на следующий день ее выписали. В то время как Крис безуспешно пытался поменять авиабилеты домой, мы с матерью ждали его в странно влажно-душном номере мотеля неподалеку от больницы. Перед тем как уехать, Крис принес еду, а я помогала слишком ослабевшей, чтобы ходить самостоятельно, и страдавшей послеоперационным недержанием матери дойти до ванной и менять грязные простыни.

– Как же хорошо, что ты здесь, – сказала она мне без тени иронии.

Когда мы вернулись в Колорадо, мама сразу перебралась к Нэнси, чей бойфренд как раз съехал от нее. Все облегченно выдохнули. В течение следующего года она постепенно вернула себе силы почти в полном объеме. Перешла от ходунков к прогулочной трости и стала играть в компьютерные игры, чтобы развивать память и навыки решения задач – те области мозга, которые пострадали от инсульта. Эта ситуация как нельзя лучше подошла и матери, которой нужна была помощь с некоторыми делами по дому, и Нэнси, которая не могла себе позволить снимать квартиру в одиночку.

Я отчетливо помню тот день, когда до меня дошло, что не все семьи похожи на мою, что то, что считалось нормальным для нас, на деле было заряженным и взятым на изготовку ружьем.

Инсульт и операция на мозге изменили маму. Вынужденная отказаться от сорокалетней привычки к курению, откуда ни

возьмись выплыла прежняя Сюзан: ее загнанные внутри эмоциональные реакции прорывались, как пузыри, лопающиеся на поверхности. Она стала больше улыбаться. Даже хихикала – прежде я никогда этого не слышала. Сентиментальные телепередачи, а потом и инаугурация первого президента-афроамериканца вызывали у нее слезы. Мою мать словно выпустили в жизнь, которая была изначально предназначена для нее. Все долгие годы фирменного финского стоицизма осыпались, как штукатурка с каменного блока, явив бывшую внутри женщину. Она больше не была той Сюзан, которая в Аризоне обвинила меня ханжеским тоном в том, что я хочу «пойти и надраться в незнакомом городе», когда я объявила, после того как двое суток не отходила от матери в номере мотеля размером 4,5 на 6 метров, что собираюсь выйти в город и выпить совершенно необходимый мне бокал вина.

После операции я провела остаток года – с лета по середину февраля, – работая над материалами судебной тяжбы из-за сгоревшего дома. Последовав неудачным советам своего консультанта, я продолжала ломиться вперед, даже когда страховая компания за неделю до суда отозвала свой иск – что всю дорогу и было главной целью. Мне следовало тогда же положить конец своим тратам. Но я сочла, что зашла слишком далеко, и несправедливость случившегося настолько кипела во мне, что в конечном счете я оказалась в зале суда, рассказывая историю о пожаре перед жюри присяжных, а в него входили три боулдерских землевладельца, причем – вот это совпадение! – слушание состоялось в день второй годовщины пожара. Жюри, которому не сообщили, что *против меня был подан иск*, увидело во мне человека, пренебрегшего своей ответственностью в данном вопросе: у меня не было страховки арендатора. Когда я в свои девятнадцать лет начинала снимать жилье, никто этой страховкой не заморачивался. В итоге мне присудили тысячу двести долларов решением, принятым не единогласно, потому что *мне следовало быть умнее и не уезжать из дома, оставив в печи разведенный огонь*. Задним числом можно сказать, что мне ни в коем случае не следовало тягаться с крупной страховой компанией. Но я всегда была бойцом – именно это и помогло мне выжить.

* * *

Разумеется, та медведица была знаком. Чернила на решении суда по моему делу высохли всего десять дней назад. Я вернулась

в дом и сняла с бубна амулет из вулканической пемзы, который откопала на пепелище. Это была фигурка высокого, худого медведя, стоявшего на задних лапах, черная и напоминавшая клинок. Трещина, возникшая в огне пожара, расходилась из центра его груди наружу. Когда я принялась вертеть фигурку в руках, она распалась на две части, отделив голову от тела как раз в том месте, где полагалось быть сердцу.

Когда я только переехала в Джеймстаун и поселилась на Уорд-стрит вместе с Элвисом, я начала отмечать возвращение медведей каждую весну, переворачивая двусторонний бубен, висевший в моей спальне. На зимней стороне кожа была белой, с маленькой алебастровой фигуркой медведя, привязанной к центру. Весенняя сторона была окрашена в черный, с маленькими золотыми медвежьими следами. Поклонение медведям было моим способом следовать временам года и не терять восприимчивости: зѣмы, напоминал мне этот ритуал, – пора тихая и созерцательная, а лета, игривые и певчие, – время прокладывать тропы, время, когда мы с Элвисом ходили в походы и ночевали на природе, и я наблюдала, как все растет. Я не практиковала этот ритуал с тех пор, как двумя годами раньше мой прежний бубен сгорел в пожаре. Просто не хватало на это духу. Слишком долго, дошло до меня, мне не хотелось ни писать, ни праздновать времена года – вообще делать что-либо такое, что привязывало бы меня к мучительному настоящему.

Я вдруг задумалась: эта утренняя медведица – уж не та ли самая, с которой я столкнулась летом, когда перебралась в эту хижину? Если да, то мы с ней переживали одни и те же времена года. Мы делили общий ландшафт, одни и те же ночные небеса. Мне стало интересно, где она спала зимой, где сейчас, весной, будет искать пищу. Воспринимает ли эта медведица как личную обиду засуху, или лесной пожар, или голодное время? Уверена, ответ был бы отрицательным.

Пора было перестать задерживать дыхание, пора оставить пожар и всё, что было потом – утраты, болезнь матери, судебный иск, – позади. Я снова склеила медведя, как можно тщательнее, потом подожгла шалфей и окурила дымом примитивную фигурку на своей ладони. Древний ритуал. Даже католическая церковь использует благовония для очищения и благословения. На некоторых мессах читают молитвы о вознесении верных католиков на небеса.

Иногда мне требовались напоминания о том, что я всегда верила в возрождение.

Полная решимости ужиться со всем случившимся, я поставила фигурку медведя на алтарь под книжной полкой,

оставив шалфей гореть на установленном рядом камне, и произнесла коротенькую молитву за медведицу и наше общее наступающее время года.

Сможешь ты заставить себя надеяться на это или нет, но все меняется. Времена года напоминают об этом. Нам только кажется, что глубокие снега зимы будут существовать вечно, но вскоре уже появляется первая зарянка, как красно-коричневое пятнышко на белом поле, а за ней следует чудо голубых соек – цвета потрясающего колорадского неба. Медведи просыпаются, голодные, и рыщут по лугам в поисках прошлогодних ягод и клочков зелени. Они едят личинок и насекомых, даже живых цыплят – как выяснила одна моя соседка, когда хиленький курятник, который она построила зимой у себя во дворе, оказался раскаты по всей дороге и лугу, оставив одни куриные скелетики. Очень скоро снова появятся суслики, выползая из своих зимних жилищ. Я наблюдала, как один ленивый мечтатель, которого я окрестила Ромео, томно потягивался и каждый день задумчиво поглядывал на заросший лесом участок, греясь на послеполуденном солнышке на скале за моим кухонным окном. По утрам я просыпалась под пение одинокой зарянки, которая будила солнце своей настойчивой веселой песенкой. Вскоре должны были вернуться и другие летние птицы – колибри и сосновые чижи, ласточки, дубоносы и танагры. Начинался следующий сезон – короткий, отмеченный яростными бурями, которые могли накидать до четырех футов мокрого снега за раз, – и по этой самой причине, наверное, еще более драгоценный. Я воспринимала меняющийся ландшафт как знак. Перемены грядут.

* * *

В жесте отчаянной надежды я вывесила в первую неделю апреля свои кормушки для колибри, хотя оставалось еще, наверное, пара недель до того, как я услышала бы на горе красноречивую трель. Этот звук, от которого мое сердце всегда тихонько вздрагивало, был одной из самых светлых мелодий, какие я только знала, – словно сама радость возвещала о своем возвращении на побурелых лугах.

В тот день в середине апреля, когда я увидела, как крохотная зеленая самочка нерешительно пила из поильника с красным устьищем, я села в грузовик и поехала вниз, в Боулдер, чтобы купить анютины глазки – цветы, которые в горах цветут всю весну и лето. Мне нравились яркие цвета – фантастический фиолетовый в сочетании с абрикосовым, – но в безумии весенней лихорадки я

не устояла и купила странные на вид черные с кроваво-красным, дополнив их ангельски белыми, чуть тронутыми в серединке бледно-желтым.

Дома я выгрузила из машины поддон с анютиными глазками и добыла свои горшки – три керамических оконных ящика, две неглубокие миски на ножках и ящик из-под клубники – из сарая, который, к моему удивлению, за зиму аннексировала белка. Сосновые шишки были спрятаны в каждом открытом ящике, между досками и стенами, внутри моего походного рюкзака на раме и даже в технической аптечке моего велосипеда – их были сотни, достаточно, чтобы заполнить пятидесятигаллонный ^[38] мусорный бак, к тому времени, как я собрала их все и заткнула дыру между крышей и стропилами. Час спустя я заполнила глиняные горшки анютиными глазками, и ограждение вдоль террасы превратилось в буйство красок в сумрачно-сером ландшафте.

По вечерам приходилось затаскивать все шесть контейнеров внутрь дома, поскольку ночная температура продолжала опускаться ниже нуля, но хлопоты того стоили, поскольку днем свет водопадом низвергался по моей искусственной радуге, в то время как белка то и дело скакала через заснеженный участок от горки шишек, которые я свалила позади сарая.

Я воспринимала меняющийся ландшафт как знак.
Перемены грядут.

Более теплые дни явили свету полные надежды мелкие белые цветочки мышиноного ушка и возвестили возвращение квакш – малюсеньких лягушечек, что жили в пруду всего в четверти мили от хижины. Я слышала их голоса в сумерках позднего апреля, нежную песенку, похожую на звон бубенчиков, которая убаюкивала меня перед сном. Вечера полнились их пением до конца мая, пока длился сезон спаривания. Пруд раздавался вширь, промачивая края пешеходной тропки талым снегом, создавая лужи в небольших кармашках вокруг пары-тройки сосен. Супружеская пара крякв скользила по воде – озерцу, что поначалу занимало всю опушку, но съеживалось по мере того, как сходила талая внешняя вода и заливные земли зарастали камышами и пахнущей мятой озерной травой. Тогда я поняла, что настало время задуматься о садике.

Предыдущим летом я расчистила грядку в форме буквы S между едва заметной каменистой тропинкой, ведущей к моей террасе, на юге, и северной оконечностью скального выступа высотой в пять футов. Я выстелила ее черепицей в ладонь величиной, уложив решеткой, так что ее углы соприкасались. В

изгибе буквы S я выложила круг из черепков глиняной посуды *Fiesta* цвета хурмы и розы, добытых с пепелища. В это огненное розово-оранжевое солнце я посадила лаванду, которая, как правило, не переживала зиму – но вдруг?.. Я предпочла бы заполнить свой сад солнцелюбивыми растениями вроде эхинацеи, калифорнийского мака и кореопсиса, но мой высокогорный участок, притаившийся под тремя осинами, был в основном затененным, не приспособленным для них.

Пока я жаловалась своей новой джеймстаунской подруге Джудит – женщине с торчащими во все стороны седыми волосами и глазами, от которых разбегались веселые морщинки, когда она улыбалась, – что тенелюбивые растения скучны, она закатывала глаза. Ее собственный сад был джеймстаунской легендой.

– Дело в текстуре, а не в красках, милая. *Это-то* нам по плечу, – сказала она. Британка, которая росла в послевоенной Англии, заучивая и рассказывая на память стихи, Джудит выговаривала слова округло, словно смаковала каждое, когда оно выходило из ее рта. По сравнению с ее произношением моя собственная речь была кавардаком и рыком.

Мы познакомились предыдущим летом, когда она горделиво всплыла в «Мерк» в оранжевых шальварах, лаймово-зеленой маечке на бретельках и розовом шарфике, чтобы купить одну сигарету – «мой единственный порок», заявила она, – и у нас состоялась одна из самых увлекательных бесед за всю мою жизнь, в которой были затронуты темы ежей, грязного белья, булочек-сконс, радостей матерного слова (для меня) и слова поэтического, рифмованного (для нее). Под конец ее она пригласила меня на чай.

Через неделю я сидела у нее в саду, на живописном участке земли, который каскадом ниспадал с губы Меса-стрит в Джеймстауне на половину склона насыпи у Джим-Крик и был обильно заселен расписными камнями, маленькими диковинками и поделками ее детей. Две широкие стены с арками, сложенные ее мужем Дэвидом, скульптором и строителем, разделяли сад на ярусы. Каменная тропка вела к дому в одном направлении, а в другом – к мастерской Дэвида и маленькой лужайке, где она летом развешивала на просушку белье. Джудит была служительницей прекрасного: она показала мне выющую розу с названием Дон-Жуан – «этакая примадонна», – которая порой давала один-единственный цветок за весь сезон. В ее саду подобные редкости перемежались с лечебными травами вроде пиретрума и эхинацеи для настоек. Овощи росли в парнике на лучшем солнечном участке.

Она познакомилась с Дэвидом в семидесятых, когда он жил

на этой земле в палатке, и почти сразу же перебралась к нему, пока он возводил мастерскую, первое строение на участке. Дом стал вторым: в нем была башенка с винтовой лестницей и гостиная, Джудит называла ее «пещерой», потому что три ее стены были утоплены в стену каньона ради теплоизоляции, а на крыше росли фиалки. В ванной на втором этаже было окно от пола до потолка с видом на сад, другие три стены были окрашены светящейся краской цвета весенней зелени. На потолке сияли крохотные звездочки. На стенах висели картины авторства Джудит, ее детей и местных художников. Джудит создала такой дом, какой бы создала для себя я – если б была хоть наполовину такой же организованной и вдесятеро меньшей неряхой. И если бы осела где-нибудь на достаточно долгий срок.

Джудит оказалась моей близняшкой по темпераменту – порывистой, сквернословящей, режущей правду-матку дикаркой. Я полюбила ее мгновенно. Той весной она заявила, что намерена избавить меня от предубеждения против тенелюбивых растений, подарив мне на день рождения растения из собственного пышного сада.

Элвис взволнованно носился туда-сюда, устремившись вперед нас из машины Джудит во двор, пока мы выносили контейнеры, полные кружевной зелени манжетки и побегов дицентры, двух видов лаванды – ибо, как сказала Джудит, *«стоит попробовать»*. Еще там были пара белых колокольчиков, турецкая вероника с изумрудно-зелеными листьями, чемерица, которая зацветет зеленовато-розовыми цветочками в следующем марте, и орнаментальная душица: она, как объявила Джудит, будет расти где угодно – «даже на этом гиблом участке». Я добавила от себя катананхе и выбранные мною анютины глазки.

Это утро середины мая было синим и чистым, и осины над нами только-только расцвели тем оттенком зеленого, который так и светится. Джудит, одетая в винно-бурые шальвары с черной маечкой под белую блузку, пела матросские песни и вносила в землю компост, а я выкапывала янтарные осинового корешки, змеившиеся по всему моему участку. Всегда любила пачкаться! Было приятно зарываться руками в землю, пусть даже почерневшие полумесяцы под ногтями пришлось бы потом отмывать щеткой. В воздухе пахло свежееоттаявшей почвой, еще влажной и жирной. Сосновые чижи чирикали в хвое там, где была повешена кормушка. Элвис расположился на ступеньках, наблюдая за нами сверху.

Всегда любила пачкаться! Было приятно зарываться руками в землю, пусть даже почерневшие полумесяцы

под ногтями пришлось бы потом отмывать щеткой.

Когда мы завершили посадки, Джудит церемониальным шагом промаршировала назад к своей машине и вернулась, распевая: «С днем рожденья тебя, с днем рождения, Карен!» В руках она несла маленькую золотую тарелочку, на которой были уложены квадратики мха и гальки, пара незнакомых монеток и крохотные кусочки слюды. В центре стояла двухдюймовая фигурка Амата́расу, японской богини солнца, подательницы благодати. Посохом ей служила деревянная щепка. Это был один из «богининых садов» Джудит – она разместила их в своем доме и саду, и я восхищалась ими. Самый большой стоял рядом с входной дверью и был сделан из моховых кочек размером в ладонь, выкопанных на участке, и камней, которые надали ей дети. Центром его была пятидюймовая Веста, римская богиня дома и здоровья.

– Она напоминает мне Марию, – сказала Джудит, глядя на Амата́расу.

– Которая дева или которая шлюха? – уточнила я, скроив рожицу.

Джудит покачала головой:

– Нет, Марию скорбящую. Марию сострадательную.

– Это самое прекрасное из всего, что кто-либо когда-либо для меня делал, – призналась я.

Я поставила «богинин сад» на стеклянный столик на террасе, где Амата́расу предстояло жить на открытом воздухе все лето, прежде чем переселиться на зиму на мой письменный стол.

Потом я наполнила два фужера-флюте игристым вином и шамбором^[39], и мы с Джудит подняли тост за новый сад и сорок второй год моей жизни, закусывая креветочными котлетками, приготовленными мною, и салатом из зелени с зеленым яблоком и пеканом. Джудит прочла одно из своих любимых стихотворений, «Доброту» Наоми Шинаб Най («И прежде чем поймешь ты, что́ есть доброта, тебе не избежать потерь»), и мы обменялись историями о медведях.

– Просто задери юбку, когда увидишь медведя, – посоветовала она. – На женщин они не нападают.

– Точно! – рассмеялась я. – Ведь мы с тобой так часто пересекаем по лугам в платишках... Откуда ты только такое выкопала?

Джудит пожала плечами.

– Женщины и медведи, – сказала она, – это старая история, дорогуша.

Я вспомнила, как Джудит рассказывала мне о том, как

возилась в саду при свете свечи, набросив на плечи похожий на шкуру плед.

– Мне почти что хочется рычать, когда я так делаю, – с усмешкой сказала она.

Истории, в которых медведь постоянно сталкивается с людьми, всегда заканчиваются плохо для медведя.

Вечером, когда Джудит со мной распрощалась, начался дождь, холодный весенний дождь, который шлепал по только что перекопанной земле в саду. Я закрыла окна в хижине и смотрела, как воздух становится все гуще от капель. Вдоль дорожки стали собираться кучки града, а к сумеркам повалили пухлые мокрые хлопья, и я выбежала наружу, чтоб укрыть посадки брезентом, свернув его на манер палатки над катананхе. Когда я проснулась на следующее утро, сад был укрыт трехдюймовым слоем свежего снега, а длинный стебель катананхе сломался.

– Наверное, мы чуточку поторопились, – сказала на это Джудит.

* * *

В начале июня медведь влез в помойное ведро у «Мерка» – старый котел, в который сливали выжаренный жир и почерневшее содержимое поддона блинницы. Зверь перевернул котел, разлив жир по главной улице Джеймстауна. Масляные следы, удалявшиеся по дороге, а затем свернувшие к Андерсон-Хилл и северной оконечности города, были хорошо заметны. Джеймстаунская доска объявлений запестрела объявлениями о замеченных медведях и просьбами позаботиться о безопасности этих животных: убрать с их дороги мусор. Проблема была в том, что не все обращали внимание на предостережения, и по крайней мере в одном доме на краю городка медведей открыто подкармливали. Я беспокоилась об этом медведе (скорее всего, он был один), который уже сообразил, что набрел на неплохие уголья: столько птичьих кормушек, мусорных баков, машин с едой для собак и пакетов с остатками фастфуда – и все в одном сравнительно небольшом местечке. Истории, в которых медведь постоянно сталкивается с людьми, всегда заканчиваются плохо для медведя. И словно будущее было одной из тех книг, чью концовку все мы уже прочли, после неоднократных проникновений в машины и дома медведь был застрелен сотрудниками Дивизиона охраны диких животных, потому что его сочли «нарушителем порядка».

В тот вечер я ушла со своей смены в «Мерке», проводила глазами зеленый автомобиль Дивизиона с загруженным в него телом медведя, а дома печально подняла бокал вина к звездам, наблюдая, как Большой ковш сползает за горизонт.

Живя в хижине сезон за сезоном, я привыкла разговаривать с медведями, поднимала за них бокалы с террасы, видела, как они взбираются по горным склонам, когда бывала в походах, и набредала на свидетельства дневных лежек в узком ущелье неподалеку от ручья. Я слышала, как медведи проходят мимо, в считанных дюймах от меня, когда летними теплыми ночами спала головой к открытому окну, и радовалась, что живу в таком месте, где подобное возможно.

* * *

Той весной я недогнувшей поступью вошла в джеймстаунское сообщество. Я кружила на периферии городка пару лет, переворачивала оладьи на благотворительном завтраке в честь Четвертого июля, участвовала – и проигрывала – в ежегодном конкурсе на лучший пирог и даже устроила пару поэтических вечеров в «Мерке» для общества «Поэты против войны»; но мое участие всегда было умеренным, нерешительным. Я заявляла о себе. А потом ретировалась.

Но вот уже год как я подумывала о том, чтобы вступить в городскую художественную организацию – JAM («Джеймстаунские художники и музыканты»). Проблема была в том, что акцент в ней делался на музыкантах. Большая часть городских мероприятий была связана с музыкой – *Java JAM* (акустическая кофейня в парке) и «Бэнд в шляпе» (импровизированные группы, собранные по определенной схеме, играли вместе). Регулярные встречи JAM часто прорывались джем-сейшенами, что превращало их в вечеринки с травкой и бутылочным пивом. Я знаю, что не меня одну отвращал менталитет «давайте по пивасику и сыграем!»; и если уж ты не поешь, не щиплешь струны и не барабанишь, изволь *смотреть*, как это делают другие.

У JAM явно была проблема с пиаром.

На протяжении своей десятилетней истории эта организация единолично поддерживала усовершенствования в исторической городской ратуше – устройство сцены, покупка клетчатых оконных штор, осветительных приборов и микрофонов, то есть вещей, которые сделали сумрачное, продуваемое сквозняками каменное здание, датированное 1935 годом, вполне

функциональным и как место для городских собраний, и как место для развлечений. Так что *ЛАН* делал хорошие дела. Но где же «художники» в «Джеймстаунских художниках и музыкантах»? – думала я. В округе их было немало – буддисткамнерез, несколько живописцев, художник-инсталлятор, работа которого выставлялась в одной лос-анджелесской галерее, писатели, ювелиры, гончар и даже кинематографист. *ЛАН* был способен на большее.

Наконец, переговорив с Чедом, одним из поваров «Мерка» (он состоял в совете *ЛАН*), я собралась с мужеством и поприсутствовала на встрече в голубеньком, как яйцо зарюнки, домике Нэнси Фармер, стоявшем через улицу от заведения Джоуи и его лужайки, полной розовых фламинго. Я пришла туда вооруженная идеями о том, как *ЛАН* мог бы представлять всех людей искусства в городке. Я давно знала Нэнси как матриарха семейства певиц, ее колокольный голос был чистым, как горный воздух. Как и остальные жители городка, я смотрела, как ее дочери росли, превращаясь из хихикающих девчонок в молодых женщин, и они пели так же сладко, как и их мать.

На той встрече я знала всех присутствующих по именам и еще пару человек – по репутациям. Я видела Хортенс, президента *Лан*, на паре затянутых нудных перформансов в городской ратуше. Хотя энтузиазма ей было не занимать, ни играть, ни вести мелодию она не умела. Но, полагаю, в этом и заключается самый вкус условий маленького городка. Свою роль получают все.

Как только Хортенс объявила тему «новые предложения», Чед указал на меня. Я попыталась осторожно поднять вопрос о более активном привлечении художников. Моя идея, сказала я, заключается в том, чтобы увеличить видимость *ЛАН* для общества путем спонсирования и других мероприятий.

Первым из них и был «Вечер поэзии» в «Мерке».

– Все, что вам нужно сделать, – это разрешить мне разместить на флаерах ваш логотип, – убеждала я, – и одолжить мне микрофон и усилитель. Люди увидят, что вы расширяете свою деятельность в городе.

Бородатый Майкл, член совета с момента его создания и барабанщик из любимого местного бэнда под названием «Соседи», предложил свою аппаратуру. Это предложение прошло с легкостью.

А вот и следующее. Как насчет того, чтобы проспонсировать ряд мероприятий – я назвала бы их мастер-классами, – которые будут вести городские художники? Любой горожанин мог бы посетить эти мероприятия за десять долларов, а выручка

делилась бы между ЛАМ и художником. Я уже заручилась согласием местного живописца и балерины. Я все организую, уверяла я совет, но мне нужна поддержка ЛАМ, чтобы использовать городскую ратушу без необходимости вносить за нее арендную плату. Может быть, я была чуть слишком настырной. Но не в моем характере мямлить и вносить осторожные предложения. Я видела способы помочь, и когда решалась это сделать, ввязывалась в драку.

Дискуссия по мастер-классам затянулась на час. Члены совета бранились из-за названия (мол, слово «мастер» отпугивает), из-за вопроса о том, сколько денег отдавать художникам («они должны делать это бесплатно, мы же делаем!») и сколько занятий проводить («мы не хотим наскучить людям»).

Я явно оттоптала чьи-то больные мозоли.

Но мне это вдруг стало все равно. Наверное, оппозиция была нужна мне, чтобы переть против нее, чтобы перестать стоять на краю. Я укоренилась на горе Оверленд – и теперь требовала больше земли.

На этой встрече я решила: это и мой город тоже.

* * *

Я никогда не опасалась, что медведи вломятся в дом, несмотря на то что такая возможность определенно существовала. Было это показателем бесстрашия или глупости – не знаю. Конечно, у меня был Элвис, который рычал бог знает на кого, рыщущего вокруг дома по ночам; к тому времени как я открывала дверь, этот кто-то успевал давно уйти. Только однажды медведь действительно попробовал вломиться в сарай, где я хранила мусор. Он оторвал кусок обшивки с двери длиной в фут и оттянул засов, но не смог заставить дверь открыться.

Когда я была маленькой, я прорезывала зубы на сказках о Йоги, Смоуки и моем любимце Балу, чьи сила и размер впечатляли меня так же, как его тягучий южный акцент. Я обожала утренние рассказы отца о коричне-буром медвежонке, который кружил вокруг нашего лагеря, оставляя отметины зубов на пустой пенопластовой упаковке от бутылок, брошенной на столе для пикников. Взрослая я была влюблена в тайну медведя: он проводил половину года в спячке, живя в пограничном пространстве между временами года, и, может быть, как говорят нам мистики и поэты, видел сны в полудрежном свете зимы.

«Медведь – это темный континент /что ходит прямо /как человек», – пишет поэт народа *чикасо* Линда Хоган, указывая не

только на физическое обличье медведя, но и на родство между медведями и людьми. Хорошо известно, что скелеты медведей напоминают наши собственные; по словам Хоган, нас разделяют только *человеческий* страх и – главное – жестокость.

Когда я увидела своего первого медведя гризли в Йеллоустоуне, я плакала. Мне тогда было ближе к тридцати. Мы с моей подругой Джули спускались с горного перевала на восточной стороне парка. Дело было после грозы. Мы знали, что на пастбищах внизу пасется стадо бизонов. Небо на юге было черным от непогоды, и мы шли в сторону этой черноты, но над головой облака растянуло в стороны, как ватные шарики, и в долину выплескивались озерца света. Я повернула голову, следя за большой птицей, и тут увидела их – пару двухлеток, как нам потом сказали, которые переворачивали камни недалеко от дороги; их предплечья и передние лапы были вымазаны в меду. Стоял сентябрь. Моя семья собиралась дома, в Колорадо, чтобы отпраздновать восьмидесятилетие бабушки Пита – событие, на которое я не была приглашена в силу моего отчуждения от отца и неиссякаемой ярости деда из-за того, что я сменила фамилию.

Джули отвела свой пикап на обочину дороги, и я выкопала из рюкзака бинокль. Я не могла поверить своим глазам, видя размеры медвежьих когтей и камней, которые они выворачивали, ту легкость, с которой они демонстрировали такую силу. Мои собственные демонстрации физической мощи были именно такими – беспорядочными, разрушительными, бесцеремонными.

Мы с Джули долго наблюдали за медведями, пока ветер вихрился в высоких травах и садилось солнце. Когда находишься в присутствии большого хищника, в этом чувствуется нечто стихийное. Это чувство больше, чем благоговение. У меня возникло ощущение, будто меня подняли и вернули обратно на мое место среди звезд; я была не больше и не меньше, чем все остальное. Но, не стоит ошибаться, я была частью этого.

Когда я увидела своего первого медведя гризли в Йеллоустоуне, я плакала. Мне тогда было ближе к тридцати.

Может быть, именно поэтому мне так подходило горное житье-бытье. Моей жизни в хижине задавали ритм и порядок климат и дикая природа. Я могла позволить отвалиться за ненужностью тысяче отвлекающих факторов современного мира. Я не могла притворяться, что то, что происходит за моим окном, не воздействует на меня.

Таким образом, великая катастрофа пожара была одновременно и его величайшим даром: он отсек всё.

Несомненно, это были трудные пару лет, когда я старалась выкарабкаться без сравнительного удобства (или отвлекающего фактора) материальных благ, одна на горе. Но то, что я лишилась всего, позволило мне пробить собственную тропу в такое место, где природный мир и тот мир, в котором я жила, не были отделены друг от друга. Я не хотела рассматривать природу как нечто существующее «где-то там». Наоборот, как медведь, укладывающийся в берлогу на зиму, я хотела забраться внутрь.

Глава 7

Лето



Лето согрело внезапно, как часто и бывало. Вчера еще была весна с ее сиренью и распускающейся форзицией вдоль подножий гор, что вели к равнинам, а на следующий день температура резко рванула под тридцать. Наверху, на горе Оверленд, после нескольких недель завывавших ветров дневные температуры совершенно внезапно сместились к идеальным двадцати пяти градусам, и дикорастущие цветы буйно высыпали на лугу за хижинкой и вокруг лягушачьего пруда. Пока люди в Боулдере, в почти трех тысячах футов вниз по каньону, потели в своих почти тридцати двух градусах, я бродила по лугам с Элвисом в ласковом тепле, собирая цветы для своего блокнота: нежные пушистые головки кошачьей лапки, которая выглядела в точности как нежная кошачья лапка; лимонного цвета, похожие на стручки цветки «золотого знамени»; блеклый пурпур люпина. Под каждым образцом, расплюснутым и приклеенным к странице, я писала название и дату в честной попытке познать своих соседей.

Когда я только-только переехала в дом «полоса К», предъявлять свои права на ландшафт было все равно что упрямо воткнуть в землю флаг и объявить территорию своей. Это был акт завоевания: я захватывала дикую природу. И получила именно то, на что напрашивалась: необузданная жизнь, которую я искала, показала себя во всей красе в тот день, когда сгорел дотла мой дом. Тогда я не знала силы собственных желаний.

Я никогда не принадлежала к числу тех, кто выбирает легкую дорогу. Что-то в моем организме тяготеет к скалам и острым краям, к бурям и пасмурности. В то лето, которое я прожила в

палатке в каньоне Джеймс после смены фамилии, я решила: все, что мне нужно, – это провести пару ночей в одиночестве на вершине горы, размышляя о своей душе. Буду поститься и спать под открытым небом. И поэтому пустилась в путь с брезентом от дождя и запасом воды, полезла прямо из ущелья к вершине Касл-Пик, подтягиваясь, рука за ногой, по отвесному лику, стараясь не смотреть вниз и не думать о падении. Стояла августовская жара, и к тому времени как я достигла вершины, большая часть воды была выпита. В тот вечер налетела гроза. Видя, как вспыхивают и бьют молнии, все приближаясь и приближаясь, я осознала, что сижу на самой высокой, куда ни повернись, точке местности. Не желая сдаваться, я легла навзничь на землю и стала подпевать буре.

На следующий день вода у меня кончилась, и я вернулась спозаранок вниз по тропке, которую обнаружила на обратной стороне горы и которая, извиваясь, неторопливо вела в ущелье.

С годами я стала чуточку мягче; теперь мне хотелось родства, а не завоевания. В хижине на Высоком озере я хотела стать частью узора, хода времен года. Так что я описывала всё: от первого цветка ветреницы до последней фиолетовой астры, которая завершала сезон роста; ласку, которая жила под домом и становилась снежно-белой зимой; бурундучиху, которая вела своих детенышей пить дождевую воду из чаши, вырубленной из камня, чуть к востоку от сада; двух сосновых чижей, которых я отвезла в центр реабилитации диких животных после того, как нашла их, вялых и апатичных, под кормушкой. Со временем я заполняла блокноты тем, что видела, и в этих деталях росла история, которая была у меня общая с горой Оверленд.

Не старайтесь писать стихи о любви, часто говорю я своим ученикам. Пишите стихи о том, как приготовить блинчики для своего возлюбленного. Или о дедушкиных руках, когда он привязывает к удочке мормышку^[40]. Пусть любовь возникает из деталей. Так что я собирала всё – растения и погоду, диких животных и птиц – и из пробелов в моем блокноте поднималась любовь, как рыба к поверхности, как облака сосновой пыли в воздух.

* * *

Садик, что насадили мы с Джудит, начинал пускать корни. Манжетка распушилась вдоль самого толстого края клумбы, выпуская широкие, размером с ладонь, листья; зацвела душица, распуская усики насыщенного сине-зеленого цвета. Рядом с ней

пурпурного оттенка вероника начала свое долгое, медленное цветение, точно постепенно проявляющийся фокус поляроидной фотографии.

Я захватывала дикую природу. И получила именно то, на что напрашивалась: необузданная жизнь, которую я искала, показала себя во всей красе в тот день, когда сгорел дотла мой дом.

Джудит была права: то, чего не доставало саду в буйстве красок, он добирал очарованием и магией. Манжетка после хорошего дождя собирала капельки влаги, как мерцающие прозрачные камешки. Свет, расплескивавшийся по стеблям и листьям растения, вечно изменчивый, просачивался сквозь две большие сосны, росшие прямо рядом с террасой. Я поставила торчком сосновый чурбак, который причудливо загнулся внутрь себя и стал похож на сердце, возле скального выступа, отделявшего двор от подъездной дорожки, как раз возле самой тонкой части буквы S, где сошлось трио осин поменьше. На верхней части чурбачка лежала плоская, размером с ладонь, жеода^[41], чье «окошко» было затуманено, – еще одна из вещей, уцелевших в пожаре. Напоминание о том, как я сюда попала. Свидетельство неведомых и непознаваемых сил природы.

Рядом лежал в поросли шалфея и белого тысячелистника череп молодого бычка – эти природные добровольцы тянулись вверх вдоль изгиба его рогов. Я научилась позволять природе приносить свои дары. Так толокнянка и покрытый лишайником камень просочились в скудную, каменистую почву рядом с чурбаком, а золотисто-оранжевая желтофиоль тянула стебли по краям.

Не старайтесь писать стихи о любви, часто говорю я своим ученикам. Пишите стихи о том, как приготовить блинчики для своего возлюбленного. Или о дедушкиных руках, когда он привязывает к удочке мормышку. Пусть любовь возникает из деталей.

В день солнцестояния мы с Элвисом видели любопытного койота; он рассеянно-задумчиво ступал между двумя можжевельниками по направлению к нам, когда я сидела на послеполуденном солнышке самого длинного дня подле смотровой площадки чуть ниже лягушачьего пруда. Среди скопления скал я обнаружила выветренную каменную спираль и теперь собирала камни, чтобы заполнить пустоты – мой собственный личный семафор – и так приветствовать лето, чье

официальное наступление (это вдруг пришло мне в голову) знаменовало уже сокращающиеся дни. Спираль содержала тайну этого противоречия – начало, которое предвещало конец, вечно изменчивую смену сезонов – а заодно напоминала о моих твердых и мягких гранях, о постепенном выпрямлении, которое я начинала ощущать. Не о пожаре, не о том, что я была лишена всего, кроме скорби, а о разжимании кулаков, которые слишком долго были сжаты, о границах, становившихся проницаемыми, о моем теле, расслаблявшемся, открывавшемся для удовольствия. Я как раз смотрела на лучи спирали, расходившиеся вовне и излучавшие свет внутрь, когда в поле зрения появился койот.

Пестрый серо-золотисто-коричневый мех животного сползал неряшливыми клоками вдоль загривка; длинные лапы словно свисали с худого тела – это была самка. Глаза у нее были золотыми. Я мягко протянула руку, чтобы придержать своего пса за ошейник. Элвис насторожил уши, его хвост дружелюбно мотнулся по земле, но он даже не рыкнул.

– Все в порядке, – выдохнула я. Даже Элвис почуял сверхъестественную природу происходящего. В пятнадцати футах, совсем рядом, самка койота автоматически переставляла лапы, одну за другой, пока не увидела нас. Она явно уже ходила этим путем прежде. Так же текуче, как появилась, она исчезла, развернувшись без тревоги и шума и скрывшись за небольшим подъемом.

Просто еще одно живое существо в ландшафте.

* * *

По мнению друзей-не-на-горе, я смертельно рисковала. Я жила за пределами предположительно существующей страховочной сети – той, что плетется за счет физической близости к обществу и состоит из людей, больниц, правопорядка; подразумевалось, что эти вещи решительно необходимы мне как женщине.

– Не представляю, где ты этого понабралась, – вздыхала моя бабушка-горожанка, когда я рассказывала ей историю о медведице или о том, как отправлялась исследовать территорию с Элвисом. Словно у меня внезапно возникла склонность глотать скелеты животных или ходить в шкурах. И так говорила женщина, чей муж пас овец в Юте, когда ему было четырнадцать! *Это у меня в крови.*

Я каждый день совершала вылазки в природу. В горах царит политика открытых дверей, и, как многие местные, я оставляла

дверь незапертой, не важно, была я дома или нет. Джоуи держал ключ от «Мерка» над входной дверью – привычка, которая периодически приводила к тому, что народ сам брал себе кофе или сигареты. Карен Зи хранила ключи от своего пикапа в замке зажигания этого вечно незапертого автомобиля. Мне нравилось жить в местах, где нет необходимости запираяться, где я не чувствовала, что снаружи есть *кто-то* опасный, пытающийся попасть внутрь.

По наивности я взяла этот подход с собой, когда впервые поехала из Джеймстауна в Милуоки, большой город, где двери по необходимости снабжены замками и цепочками. На вторую неделю пребывания кто-то свистнул куртку из мембранной ткани через приоткрытое окно моего запертого пикапа. А в свой самый постыдный момент в стиле Ребекки с фермы Саннибрук я была свидетельницей ограбления и даже не поняла, что происходит. Какой-то мужчина вышел из дома моего соседа, неся голубую пластиковую корзину для хранения, и скрылся в переулке.

Он делает что-то такое, чего не должен делать, рассеянно подумала я, помешивая суп на плите. Прошло двадцать минут, прежде чем мне пришлось в голову позвонить в полицию, а потом пришлось с пунцовым от стыда лицом объяснять приехавшим офицерам, почему мне потребовалось так много времени, чтобы заявить о преступлении.

Я была счастливицей на природе, деревенщиной в городе.

Даже если бы я жила в какой-то отдаленной заповедной глуши – а это было не так, сколько ни напрягай воображение, – я оставалась бы в целости и сохранности. И выяснила, что моя целость – это одиночество и пространство. «Все в природе, – говорила писательница Гретель Эрлих, – постоянно побуждает нас быть тем, что мы есть». Не «кто», а «что»! На самом фундаментальном уровне я тоже была ландшафтом. Несмотря на то что мое намерение перебраться жить в горы, возможно, уходило корнями в эскапизм, природный мир выманил меня обратно в саму себя. В этом было определенное сходство с преобразованием, которое, как говорят индуистские мистики, со временем происходит с «я» в результате практики медитации. Учишься позволять всему постепенно отпадать. Эрлих выражает это так: «Мы часто подобны рекам: беспечные и неистовые, нерешительные и опасные, светлые и глинистые, водоворотистые, поблескивающие, спокойные». Мы – всё это и совершенно ничего из этого.

Через неделю после солнцестояния мы с Элвисом шли на восток мимо лягушачьего пруда по узенькой тропке, которая кончалась возле ручья. Прямо перед маленьким озерцом с илистыми берегами Элвис резко повернул направо, забираясь по склону под хилой сосенкой, – там была еще одна тропа. Мы, должно быть, проходили мимо нее десятки раз на пути к горе Оверленд; оттуда не было и десяти минут ходьбы до места, где я ныне стояла. Заинтересовавшись, я последовала за псом – и через узенькую расщелину вышла на маленькую полянку. Обочины узкой тропки испещрили сотни колорадских голубых аквилегий среди редких папоротников и дикой моркови. Свет расплескивался сквозь ветви деревьев, выхватывая цветы с белыми серединками, странные, как орхидеи. Было такое ощущение, будто я вошла в прохладную каменную церковь в жаркий полдень. В этом месте царила какая-то особенная тишина. Не безмолвие отсутствия, а покой присутствия, тишина магии. Звуки птичьих трелей оказались отрезаны, и тишь сошла сюда, словно большая хлопковая занавесь, упавшая с окна. Крахмально-белые головки, отороченные голубым, виднелись повсюду. Я нашла местечко ближе к центру полянки и села там, зачарованная этим местом, чья духовная жизнь была буквально осязаема. Уцелевший островок дикой земли.

Мне нравилось жить в местах, где нет необходимости запираяться, где я не чувствовала, что снаружи есть кто-то опасный, пытающийся попасть внутрь.

Легкий июньский ветерок заставлял трепетать осины и то и дело перестраивал кружевные головки болиголова в каком-то сложном волнообразном танце. Элвис устроился рядом со мной, усевшись между моими скрещенными ногами. Он прислонился ко мне спиной, даря мне свой вес, – так же как тогда, когда я впервые увидела его в приюте для животных.

С Элвисом, животным, которое сливалось со мной так, как, говорили мне, делают волки, я двигалась почти инстинктивно, обращая внимание на вещи, что притягивали его внимание. Как будто поводок, который я использовала, чтобы приучить Элвиса оставаться рядом со мной, стал длинной невидимой нитью, моим шестым чувством. Поначалу я осознавала все опасности, что могли бы прикончить моего пса, – скальные выступы, диких животных, охотников с оружием, – но это осознание, постепенно углубляясь, стало включать текстуры, звуки и запахи, нюансы местности. С Элвисом я больше присутствовала в настоящем. Вот и теперь, как это часто случалось, ощущение его тела рядом с

моим заякорило меня в физическом мире, наполняя покоем, ощущение которого было для меня редкостью. Мой разум слишком сильно желал кубарем скатиться с горы, распылиться на дневные дела и не видеть ничего дальше кончика носа, но мой по-прежнему дикий хаски снова собирал его в кучку. Элвис давно уже был моими глазами, моими ушами, но теперь, дошло до меня, он был еще и моим гуру, моим наставником: его присутствие напоминало мне – играть сейчас, спать сейчас, исследовать сейчас, *быть* сейчас.

Этот волшебный лес с его «пятнистым миром», его «ландшафтом в разметке и наделах»^[42] стал тайным садом. Местом, которое, как я чувствовала, принадлежало мне безраздельно. Всем нам для спокойствия нужен фундамент. Но мне была нужна еще и красота – чтобы подобрать ее юбки руками и тянуть за собой по ландшафту моих дней.

* * *

У красоты, я знала, есть свои острые грани. Дикая природа была пандориным ящиком с буйными острозубыми куницами, хищниками, которые дают своей добыче истекать кровью до смерти. Жизнь на горе означала, что приходилось мириться с живыми существами, которые порой пытались разделить со мной пространство моего дома. Летом я постоянно воевала с бурундуками; они протискивались под криво вывешенную противомоскитную дверь и устраивали азартные игры с погонями, и я пыталась выгнать их наружу раньше, чем Элвис – в пылу преследования он переворачивал стулья и мусорные корзины – их поймает. Несмотря на заложенные в щели полотенца, скатанные и придавленные сверху здоровенными банками с фасолью и цельнозерновым овсом, какой-нибудь из них исхитрится пробираться внутрь каждые пару недель. Я сносила их вторжения как одну из составляющих жизни в горах – так же, как тепела мышей.

До какого-то момента.

Я не имела ничего против мышей, бегавших вдоль стены под книжной полкой, хоть Элвис и разъярялся, превращаясь в Большого Белого Охотника и вынюхивая мелких созданий еще долго после того, как они пропадали с глаз долой. Я видела, как он в своей юности бросался на мышь с расстояния в двадцать футов в темный вечер в заснеженном поле. Я никак не могла понять, чем это он занимается, пока не сообразила, что он подбрасывает тельце высоко в воздух. В хижине он часто убеждал

меня, что за всеми этими книжками на самой нижней полке или внутри стопки газет кто-то есть. Я послушно раскапывала газеты и книги, а Элвис приклеивался носом то к задней стенке стеллажа, то к нижней части стопки, скребя лапой. Все это неизбежно заканчивалось беспорядком и полным отсутствием каких-либо грызунов. Но они были: по ночам я иногда слышала, как они гремят посудой на сушилке. И махала на это рукой.

Всем нам для спокойствия нужен фундамент. Но мне была нужна еще и красота – чтобы подобрать ее юбки руками и тянуть за собой по ландшафту моих дней.

Моя хижина была прохудившейся лодкой, настолько скверно сбитой, что невозможно было заделать все щели, через которые внутрь проникали мыши, так что я жила сама и давала жить им до тех пор, пока грохот в кухне не превращался в шумные вечеринки, не дававшие мне спать, или следы помета в темных углах шкафчика для продуктов не начинали вызывать опасения заразиться хантавирусом. Расставив мышеловки, я убивала по десятку мышей за пару недель, честно вынося мертвые тельца за каменную поилку, где кто-то – лис? енот? койот? – по ночам подбирал их. Так шло до тех пор, пока однажды утром я (это было неизбежно) не обнаружила в ловушке не мертвую мышь, а сильно раненную – она жалко висела на одной лапке в мышеловке, поставленной в узком пространстве между столешницей и холодильником. Придя в ужас при мысли о страшной ночи, что провела эта несчастная, я осторожно высвободила ее тряпкой для посуды и посадила в кучу дубовых дров, насыпав ей семечек и положив кусочек сливочного масла, а потом вернулась в дом и убрала с глаз долой остальные мышеловки. Весь этот цикл повторялся с периодичностью в шесть месяцев, когда очередная волна убийств резко прекращалась каким-нибудь покалеченным грызуном.

Я, безусловно, не была неразборчивой убийцей. Не в моей натуре было вредить живым существам. Я выгоняла из дома пауков и шершней, зато от души шлепала комаров. Мы с мышами исполняли свой танец сезон за сезоном. Я пыталась разговаривать с ними по примеру поэтессы Одры Лорд; я пыталась предостерегать их. Но в конце концов некоторые из них погибали.

Территориальная тяжба превратилась в войну за превосходство, когда земляные белки начали систематически разорять мой новый садик. Я игнорировала их, пока они бегали по террасе и между дицентрами возле высоких скал на задах моего участка. *Ну сколько от них может быть вреда?* Однако потом я заметила, что кто-то повадился изничтожать травы, что я

посадила в новом большом клубничном контейнере, поставленном на верхнюю ступеньку лестницы, – изничтожать, тербя и разбрасывая розмарин и поедая все ростки нежной кинзы. Сделав, как мне казалось, остроумный упреждающий ход, я накрыла контейнер оленьей сеткой. Затем поставила перевернутый ящик от помидоров на контейнер с высаженным салатом и завернула все сооружение в другой кусок сетки. Всего через какую-то неделю я обнаружила земляную белку – животное, напоминающее жирного бурундука-переростка, – висящей на сетке, едва не задушенной. Было видно, как колотилось сердечко в груди зверька, пока я осторожно вырезала его из черной сетки, одновременно стараясь избежать знакомства с острыми зубами. Когда белка была освобождена, я убрала и сетку, и ящик – и отказалась от идеи салатного огорода до тех пор, пока не сумею придумать план получше.

Мне следовало бы с самого начала понимать, чем окончится затея с оленьей сеткой: всякий раз использование ее приводило к плачевным результатам. Как-то раз мне пришлось проводить ту же спасательную операцию с малышом-скупсом, который залез в сарай в доме на горе Бау, первом из моих горных обиталищ. Зверек настолько сильно запутался, что накрутил вокруг себя целые сеточные облака, а на животике, точно пуповина, завязался узел размером с мой кулак. Я подцепила бедное маленькое создание, не больше двух кулаков размером, палкой, пропустив ее сквозь сетку, а другой рукой стала осторожно проводить пальцами по его коже, чтобы выявить все места узлов и переплетений, в то время как скупсик раз за разом пытался выпалить в меня из своих уже полностью опорожненных ароматических желез.

Увы, та земляная белка в салатном ящике была лишь первым залпом тотального вторжения. Однажды днем я вернулась после занятий на курсах и увидела, что мои красивые черные анютины глазки выкопаны и разгрызены. Моя мантра: *что ж, такова жизнь в горах*. Но потом они добрались до моего сада. За считанные недели фиалки были сжеваны подчистую наряду со всеми калифорнийскими маками, что я посадила на своем единственном солнечном клочке земли. Потом они аккуратно состригли единственный цветок шоколадной космеи – цветка, у которого изначально не было особенных шансов на моем затененном участке. Я так радовалась, когда увидела раскрывшееся соцветие! А потом долго ругалась, обнаружив его лежащим на земле.

Не прошло и недели, как все, что было нежным и зеленым или имело бутоны, пропало, как и не было. И вот тогда-то я

вышла на тропу войны.

Я перепробовала целый ассортимент отвратительно воняющих спреев. Один, успех которого гарантировал мой любимый садоводческий магазин, имел омерзительную основу из запаха тухлых яиц – вонь была настолько сильна, что я давилась рвотными позывами, распыляя его. Через пару часов после нанесения запах просочился в окно моего крохотного домика, и я была вынуждена ретироваться в спальню. В саду я пробовала использовать мочу койота, собственную мочу и даже «Жидкую изгородь», которая пахла точь-в-точь как тухлая рыба в смеси с чем-то еще более мерзким, – с таким «ароматом» я однажды столкнулась на реке Милуоки, когда Элвис вывалился в чем-то черном и слизком на ее берегу и мне пришлось обрызгать всё, включая тряпку для уборки и собственную обувь, спреем *Febreze* и перестирать все вещи по меньшей мере трижды, прежде чем запах начал слабеть.

Я честно обрызгала сад по периметру «Жидкой изгородью» во второй половине дня. Не прошло и двух часов, как в косых лучах солнца все еще светлого летнего вечера Элвис рванул, рыча, к москитной двери: моя пахучая «изгородь» привлекла во двор огромного медлительного медведя. Вылетев из двери без всякой задней мысли, я похватила лежавшие на ступенях деревянные щепки и стала кидаться ими в зверя, доходившего в холке мне до груди, с воплем: «Кыш!» Медведь неохотно развернулся и ушел в лес за бермой. Только вернувшись под сравнительно безопасный кров своей отгороженной москитной дверью хижины, я задумалась о том, что сделала.

– *Кыш?! –* сама себе не веря, повторила я Элвису и покачала головой. *Иисусе!*

Безрезультатно перепробовав все возможные вонючки, чтобы избавиться от докучливых земляных белок, я неохотно прибегла к ловушкам. Мой план состоял в том, чтобы ловить зверьков живьем и переселять в другое место. Но белки бежали мимо открытых ловушек неделя за неделей. Последней каплей стал тот день, когда на моих глазах белка прикончила последний колокольчик, потоптавшись прямо по усыпанному белыми цветами стеблю – от корня к цветам, – когда я криком пыталась выгнать ее из сада. Взъярившись, я пошла к Полу, чтобы взять займы крысоловку, которую он предлагал мне парой недель раньше, и установила ее, взведя пружину, сразу за дверью. Уже через час я поймала одну из белок за лапу. Я ее выпустила, и она ухромала прочь, пока я заново настораживала ловушку. На следующий день та же белка попалась снова, но уже за шею. Я приехала домой из «Мерка» и обнаружила, что она слабо

трепыхается в крысоловке. Белка посмотрела на меня затуманенным взглядом: страдание было написано на ее мордочке. Задняя лапа бесполезно болталась, согнутая под неестественным углом. Помочь ей было уже нельзя. Я отпустила пружину металлического зажима, и он душил несчастное создание, чья пасть открывалась все шире и шире: две самые длинные минуты в моей жизни. Охваченная отвращением, я вернула крысоловку Полу.

– Получилось? – спросил он. Я помотала головой: нет.

Капитулировав, я отдала сад на откуп белкам.

* * *

Настоящим началом лета в Джеймстауне было ежегодное празднование Четвертого июля, событие, в котором участвовал весь городок, чтобы собрать деньги для добровольной пожарной команды. Все начиналось с большого завтрака с оладьями в городской ратуше, который в итоге перетекал в маленький парк через улицу, и парада по Мейн-стрит с участием «фордов» *Model A*, принадлежавших Эль Патрону, казу-бэнда^[43], возглавляемого Джоуи, и детей, разбрасывавших конфеты с крыши пожарной машины. После этого праздник продолжали ларьки с закусками и музыка в большом парке, носившем название Елисейские Поля, – располагался он на восточном конце города, – а вечером наступал черед фейерверка.

Тем летом вдобавок к традиционному конкурсу на лучший пирог и лучший торт: победители награждались почетной лентой, устраивали соревнования по рубке дров: победителю был обещан приз – целый корд древесины. Хотя на нашей горе полным-полно женщин, рубивших дрова, в конкурсе пожелали участвовать только две. Зато записалось немало парней, жаждущих помахать топором. Состязания были назначены ближе к вечеру, к этому времени большинство народу должно было уже как следует напраздноваться. По этой причине я содрогнулась, услышав объявление о конкурсе, и с замиранием сердца наблюдала, как одна горстка участников махала топорами, одетая только в шорты, а другие тем временем тянули долгими глотками пиво из красных чашек или пригубливали «по глоточку» самогона из фляжки Джоджо, прежде чем вздеть топор к небесам.

Белка посмотрела на меня затуманенным взглядом: страдание было написано на ее мордочке. Задняя лапа бесполезно болталась, согнутая под неестественным

углом. Помочь ей было уже нельзя.

Разумеется, зрители поедали зрелище глазами, громко подбадривая пару особенно пьяных парней. Я держала пальцы скрещенными за Карен Кью, третью Карен в Джеймстауне, небольшого росточка женщину, которая одевалась в черную кожу, водила мотоциклы и жила одна в хижине «там, наверху» без электричества и водопровода. На нее одну пришлось семеро соперников-мужчин. Но громче всех я подбадривала Джоджо – он был на двадцать лет старше ближайшего по старшинству участника состязаний. В свои семьдесят два Джоджо был седобород и лыс, одет в красно-бело-голубую рубашу – такую же, как у его жены Джесс. Он раскалывал каждое тщательно подобранное полено одним мощным ударом топора. В четырех раундах он шел нос к носу с Босяком Кенни, со здоровенным мужиком по имени Шон – тот был в одних шортах и едва не отхватил себе ногу, с Рудигером, который улыбался и промахивался, улыбался и промахивался, и, наконец, с Родом – зубастым бородатым мужчиной, устроившим конкурс. Этот Род гордо расхаживал по площадке, уверенный в том, что будет победителем. И в итоге обставил всех.

Дрова я рубила неохотно и никогда не делала этого ради развлечения, зато с самого своего переезда в Джеймстаун пыталась выиграть пирожный конкурс. Мои изыски – лимонный пирог-шейкер, запеченные персики с имбирной корочкой в шампанском – занимали призовые места, но ни разу не были первыми. Подгоняемая лошадиной дозой разочарования и самолюбия, я упорно продолжала участвовать из года в год, убежденная в том, что тонкость моих рецептов должна принести мне почести, которых, по моему глубокому убеждению, я была достойна. В «Мерке» мои утренние булочки расходились еще до полудня, а фирменный «непристойный шоколадный торт» был легендой; я пекла свадебные торты и обеспечивала выпечкой разнообразные церемонии открытия и корпоративные вечеринки – я свое дело знала. Проблема заключалась в том, что мое творчество тяготело к тому, что многие джеймстаунцы назвали бы «шиком» – слово, которое я ненавидела за его способность угробить все, что не было печеньем, подливой или еще какой-нибудь откровенно безвкусной ерундой. Как-то раз я участвовала в ежегодном джеймстаунском конкурсе на лучшее чили – событие, к которому готовилась три полных дня: запекала в духовке зеленые чили и халапеньо, прежде чем замариновать в текиле, а потом запекала на гриле куриные грудки, чтобы представить блюдо, которое я назвала «Куриное чили с текилой и

лаймом “Белая молния”». Название говорит само за себя. Разумеется, я не выиграла. Первое место заняла Нэнси Фармер со своим красным чили, поданным с гамбургером и сдобренным готовой смесью специй от *King Soopers*. Я уверена, что не сдержала свой язык. В момент уязвленной гордости я наверняка сказала вслух то, что думала: что подобные конкурсы – это ситуация типа «жемчуг перед свиньями». И с еще большей уверенностью можно сказать, что этот подход не привлек ко мне новых поклонников.

Так что в этом году я записалась в судьи конкурса пирогов и тортов, вместо того чтобы участвовать в нем, и вместе с Карен Зи, которая просто любила поесть, и горсткой городских холостяков, которые любили поесть бесплатно, выбрала пирог-победитель: с начинкой из кислой вишни и корочкой «в самый раз», более нежный и хрустящий, чем любой из когда-либо приготовленных мной. Но не раньше, чем мне пришлось практически сойтись из-за него лоб в лоб с Биллом, сидящим джеймстаунцем с плохими зубами, потому что он упрямо заявлял, что «не любит вишневых пирогов и не будет за него голосовать».

Под конец пирог победил.

* * *

Я чувствовала, как скольжу по поверхности лета: жара, звенящие в воздухе ласточки, грозы на горе, эхо которых провожало меня ко сну по ночам. После того как меня избрали в совет *ЖАМ* на встрече, во время которой какой-то мужчина повернулся ко мне и сказал: «Я откажусь от своего места, если вы его займете», я убедила членов совета и свою самую яркую несторонницу Хортенс позволить мне устроить «Вечер кино» в парке Елисейские Поля в августе. «Это будет что-то вроде автокинотеатра, – сказала я, – только без машин». Загвоздка была в том, что стоимость аренды оборудования была изрядной, большей, чем любые обычные расходы *ЖАМ*, так что я составила план сбора средств с помощью лотереи, продажи билетов, пожертвований местных жителей и бизнесменов, а также *кекуока* – танца, во время которого участники двигались вокруг номеров, выложенных по кругу, пока не заканчивалась музыка; после этого называли номер одного удачливого победителя, а он забирал себе торт.

Разумеется, не обошлось без сопротивления. Фонды *ЖАМ*, сказали мне, как правило, прибегают для совершенствования звуковой и световой аппаратуры, для перформансов в городе. Было еще много всякой вони на тему «кем она, к черту, себя

возомнила?!», особенно со стороны апатичной Хортенс.

– Мы *собираем* деньги, – категорично сказала она мне, – мы не тратим их на развлечения.

Совет разделился на непримиримых консерваторов, людей, которые, как Хортенс, стояли у истоков организации пятнадцать лет назад и стремились сохранить принцип «как это делалось всегда», и других, которые не хотели устраивать одни и те же два ежегодных мероприятия все следующие десять лет. Я не стала обращать внимания на буквально осязаемую неприязнь Хортенс: она была из тех людей, которые терпеть не могут не ими придуманные идеи. И все же после того, как совет проголосовал за выделение на мой вечер трехсот долларов («Беспрецедентная сумма!» – воскликнула она), стало ясно: Хортенс надеялась, что я не смогу собрать дополнительную необходимую тысячу долларов.

Как раз то, что было мне нужно! Ничто так не помогает сфокусировать разум, как небольшое противодействие.

Ничто так не помогает сфокусировать разум, как небольшое противодействие.

В августе послеполуденные муссоны накатывали ежедневно и высасывали дневную жару грозовыми ливнями, которые несли пелены дождя или града, но небеса волшебным образом очистились ради «Вечера кино». На широкое поле, ограниченное ручьем и стеной каньона, туда, где располагалось более чем столетнее джеймстаунское кладбище, пришли с походными стульчиками и одеялами около семи с половиной десятков людей. Некоторые из особенно мерзких городских типов, готовых помериться ядовитостью с гремучниками, клялись, что не станут платить за то, чтобы посмотреть кино в собственном городском парке, что они переберутся через Джим-Крик и будут смотреть бесплатно, от линии деревьев на краю большого парка, – но это была не проблема.

Кекуок стал настоящей «бомбой», поскольку люди выстроились в очередь, готовые заплатить пять долларов за одну или десять баксов за три попытки, чтобы выиграть один из пятнадцати тортов, изготовленных городскими кондитерами. Дети, хихикая, ходили и бегали в сумеречном свете; играла музыка; но по-настоящему увлеклись этой затеей взрослые. Кэмерон, высокий худой мужчина, который работал техником, а по уикендам входил в пожарную команду, прыгал по кругу, стараясь каждый раз оказаться на одном и том же числе. Джоуи, одетый в свою фирменную гавайскую рубашку, свежестриженный руками Хизер, которая обихаживала почти все шевелюры в городке, заплатил за три круга десятидолларовых

попыток, потому что отчаянно хотел выиграть. Джоуи был веселым пранкстером, поседевшим парнем с плаката минувшей эпохи. У нас случались свои разногласия, но он был добрым, игривым человеком, и под конец, когда он проиграл, его неприкрытое разочарование вдохновило меня испечь ему не торт, а его любимый пирог – банановый с кремом. Я карамелизовала пропитанные кофе бананы в сахаре, взбила двойное количество сливок для верхушки и доставила пирог к нему домой, вверх по улице от «Мерка». Джоуи широко ухмыльнулся и поблагодарил меня медвежьим объятием с ласковым поколачиванием по спине, а потом беспечно отнес пирог в «Мерк», чтобы поделиться с «мальчиками», большинство из которых не стали бы платить ни за что, кроме пары кружек пива, а некоторые считали мою готовку слишком «шикарной».

Насколько мне известно, они слопали весь этот клятый пирог до крошки.

* * *

Неделю спустя, когда я то хохотала, то охала, слушая Уди, которая позвонила, чтобы рассказать мне историю об очередном онлайн-свидании: «О боже мой, он оказался на десять лет старше, чем писал в профиле, и говорил о своих четырех машинах так, будто они делали его сексуальным», – темное тельце размером с кулак спикировало из открытого чердачного пространства над спальней. Вначале я уловила только движение, а потом уже характерное трепетание. Это была летучая мышь.

– О Иисусе! – выдохнула я. Меня напугала внезапность появления мышки, а не само крылатое создание. – Мне надо идти, – сказала я в трубку. – У меня тут *ситуация*.

Летучая мышь беспорядочно билась о стропила крыши, а Элвис таскался за ней по всей гостиной, задрав морду и виляя хвостом. Я понятия не имела, как мышь проникла внутрь, и хотя мне вроде как импонировала мысль о летучих мышках, висящих над сонной мной вверх тормашками где-то там в пространстве над моей спальней, последнее, чего мне хотелось, – это столкнуться с одной из них во время похода в ванную посреди ночи. И к тому же – *гуано*... Распахнув основную дверь и подперев москитную, чтобы она не закрывалась, я выключила свет и уселась на диван, держа Элвиса при себе. Столкновения и трепетание продолжались. Для моего пса это была упоительная игра. Он принюхивался, взволнованно тыкался носом мне в шею и силился вырваться из моей хватки. Прошло полчаса, дом

наполнился ночным воздухом. На горе было тихо. Дыхание стало медитацией, а летучая мышь все чирикала над головой. Наконец, я ушла в спальню, уведя с собой Элвиса, и закрыла дверь.

В ту ночь я спала с настежь распахнутой входной дверью.

Часть третья

Дом неприрученных

Глава 8

Контролируемое сжигание



Я долго клялась избегать романов в городке, поскольку территориальная близость и одиночество создавали на ровном месте странные пары, оставляя неловкие последствия для всего населения горы. Сюзи, из-за чьего расставания с Джоуи в «Мерке» разгорелась борьба за сферы влияния, в день отъезда погрозила мне пальцем с наказом: «Мужиков привози с собой». Она была права: местный генофонд был невелик. Кем бы ты ни была, маленький флирт субботним вечером в «Мерке» приводил к заговорщицким кивкам по всему городку уже к воскресному бранчу. Все это навязчивое внимание душило зарождающуюся влюбленность. Но еще хуже становилось, когда отношения приказывали долго жить или кто-нибудь начинал сравнивать прошлое твоего партнера с твоим настоящим.

Даже браки не были исключением. Многие долгосрочные отношения портились внезапно, но самая скандальная история случилась, когда наш городок решил поставить собственный мюзикл. Дважды в своей истории Джеймстаун отваживался на оригинальные театральные постановки, которые приводили – под влиянием двойного зелья артистических страстей и пива, употребляемого на репетициях, – к странным постельным партнерствам, результатом которых была рокировка нескольких супружеских союзов в городке. Похоже, пение волновало отнюдь не только душу.

Когда супруги расставались, самой трудной задачей для них было разделить не свою недвижимость и домашний скарб, а сам городок. Разрывы тяжело сказывались на всех, когда из давно

установившихся дружеских кругов выпиливались новые группировки. Иногда половине бывшей пары легче было просто уехать из города.

И все же в Джеймстауне были свои серийные ловеласы – те, кто примеривал новые любовные интересы и отбрасывал их прочь, как одежды в распродажной куче. Их репутация и завоевания давали пищу сплетням в баре и на вечеринках. Среди них чаще всего меня заставлял подбирать челюсть с пола Ланс, которому едва исполнилось тридцать, когда я с ним познакомилась. Это был длинный худой симпатяга с песочного цвета волосами и высокомерным шармом Дэвида Боуи. Не красивый, даже если напрячь воображение, не особенно интересный – просто очередной парень с пивом в одной руке и сигаретой в другой, стоящий на веранде «Мерка». И все же он ухитрялся подцеплять женщин городка одну за другой, и всякий раз – была ли то неловкая голенастая девчонка-подросток, выросшая в красотку с волосами воронова крыла и ужасным вкусом в отношении мужчин, или разведенка с седой головой, на двадцать лет его старше, – я оказывалась в шоке. *Как ему это удалось?!*

А вот когда речь шла о Сэмми, наоборот, можно было точно сказать – *как*. Это была атлетического сложения женщина со змеисто вьющимися каштановыми волосами; она так и лучилась обаянием и лакомилась одинаково и мужчинами, и женщинами, точно они были блюдецками с вкуснейшими сливками. Женщина настолько влюбленная в любовь, что побывала замужем девять раз, причем дважды – за одним мужчиной. Как-то раз она скользнула ко мне субботним вечером на танцполе в «Мерке», пронзая своими неотразимыми кошачьими глазами и мурлыча что-то о том, как я хорошо танцую; одновременно она провокационно проводила ладонью от моего плеча до бедра.

Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что следует избегать романтической неразберихи в Джеймстауне. Я для этого слишком умна, твердила я себе. И поэтому никогда не думала, что влюблюсь в Джея. Но он был первым мужчиной за десять с лишком лет, который поцеловал меня. Может быть, дело было во всем том времени, что я провела одна, в бесконечных месяцах, оседавших на моей коже, как пыль. Может быть, дело было в близости к Джеймстауну, сообществу, которое я старалась полюбить, – все эти вечера в «Мерке», наблюдение за тем, как люди пробуют друг друга... Может быть, проблема была в том, что у меня было слишком мало практики.

Джей, маловероятная партия для меня, любил джем-бэнды и вечеринки. Я слушала Национальное общественное радио и

медитировала. Мягкий мужчина с большим сердцем, широкими плечами, темными волосами и голубыми глазами, Джей был отчасти рохлей, отчасти Гризли Адамсом и неизменной милашкой.

Я знала Джея по «Мерку», откуда часто выпихивала его за дверь после того, как он перебирал пива в мой регулярный понедельничный вечер. Эта смена была идеальна для меня по двум причинам: поскольку она была короткой и поскольку я была главной. Я открывала кафе в четыре (после того как оно было закрыто с вечера воскресенья) и подавала не только барное меню – все жаренное на сковороде и гриле, что обожал Джоуи, – но и быстрые домашние фирменные блюда, продукты для которых покупала сама: митлоф и картофельное пюре, курицу, жаренную в пахте, куриные тако. Работая одновременно поварихой и официанткой, я зарабатывала хорошие деньги даже тогда, когда поужинать или выпить после работы пива ко мне заходила лишь горстка людей. А лучше всего было то, что «Мерк» по понедельникам закрывался в восемь, и я уходила с работы уже к девяти.

Джей был очаровательным выпивохой, чуточку мягкотелым. Безвредным, как я подумала, когда он однажды весенним вечером обратил на меня взор своих больших голубых глаз и сказал, что я прекрасно выгляжу. Я рассмеялась, глянула на свой испачканный мукой фартук и ответила: «Льстецам открыты все пути, друг мой», – подавая ему фирменное пиво, за которое он оставил чаевые, равные стоимости напитка.

Я отвечала флиртом по причине чистой невероятности чего-то большего. О том, чтобы зайти дальше, и речи быть не могло. Просто разнообразия ради нежилась во внимании, направленном на меня. По мере того как тепло той весны перетекало в летнюю жару, а в «Мерке» стиль понедельничных вечеров превращался из «парни в баре» в «народ на патио», Джей начал являться каждую неделю, занимая место у стойки, чтобы поболтать со мной, пока я разносила тарелки и напитки посетителям на улице, и оставить большие чаевые.

Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что следует избегать романтической неразберихи в Джеймстауне. Я для этого слишком умна, твердила я себе.

Оказалось, он жил всего в полумиле от моей хижины, в съемной квартире на первом этаже дома, в который хозяин приезжал только летом. Как и я, Джей выгуливал своего пса вокруг лягушачьего пруда. Я стала чаще видеть его из окна кухни,

когда он проходил по границам моего участка со Скунсом – черным бордер-колли с белой полосой по спине. Все это время я относилась к увлечению Джея мной с умеренным интересом человека, просматривающего новости в газете, даже после того как он заявился с лопатой и почистил мою подъездную дорожку и подход к дому от невероятно глубокого апрельского снега. Потом как-то раз в июле, проверяя ученические работы за своим письменным столом, я увидела в окно Джея, который шагал по дороге, размахивая мощными руками. Он нес свое тело с грацией лесоруба, обутый в кожаные сапоги и шерстяные носки, набросив фланелевую рубашу поверх футболки. Я помахала ему рукой, он помахал в ответ, потом остановился. Помедлил. И свернул на мою подъездную дорожку.

Элвис прыгнул с террасы и помчался к Джею, стал обнюхиваться со Скунсом. Эти двое принялись прыгать и кланяться, потом затеяли играть в догонялки.

Джей протопал по тропинке под осинами.

– Погуляем? – предложил он, широко разведя перед собой большими руками. Мимо прогарцевали Скунс с Элвисом, Элвис явно вел нового друга на луг.

– Полагаю, выбора у меня нет, – сказала я, смеясь над собачьими играми.

Потом были еще прогулки.

К началу августа мы с Джем все дальше и дальше забредали в леса, гуляя по часу подряд, до ранчо Кушманов, а иногда и до Сент-Врейна, городка неподалеку от наших домов. Мы много беседовали о кулинарии – Джей обожал готовить, – но наши стили, как и наши личности, сильно разнились. Джей предпочитал исполинские порции чили или пасты даже летом и жарил на гриле здоровенные шматки мяса. Я отдавала предпочтение сальсе и чатни с куриными или свиными отбивными, пекла галеты с ежевикой и пиццу.

Однажды, когда мы огибали по тропе Высокое озеро, идя по его болотистым бережкам, я споткнулась о бревно, и Джей подал мне руку. Внезапная нежность этого жеста застигла меня врасплох. Эта рука предлагала некую возможность, приглашение. Я замешкалась... *Ой, да какого черта!* Я позволила себе опереться на него, сделав шаг ближе. *Скажу-ка ради разнообразия «да».*

Джей спросил, позволю ли я следующим вечером угостить меня ужином – еще один жест, который очаровал меня. Я произвожу устрашающее впечатление в кухне. Слишком часто мои меню «только-не-мясо-с-картошкой» приводили к тому, что друзья говорили, мол, боятся для меня готовить. А я, как и все остальные, люблю, когда меня кормят.

Весь следующий день я то уговаривала себя поддаться тому, что, как мне казалось, могло случиться, то, наоборот, отговаривала. Под конец надела сарафан, выпила бокал вина и села слушать, как в воздухе раннего вечера шелестят осины на милосердно прохладном ветерке. *Какой может быть вред от пары поцелуев?*

Джей пришел с двумя продуктовыми сумками, полными еды, и сковородками, упаковкой баночного пива и двумя бутылками вина. Выставил на плиту две разного размера отельные сковороды, которые позаимствовал у Джоуи в «Мерке». На одной лежала полоса готовых ребрышек с фирменной «особой смесью» Джея, завернутый в фольгу.

– Когда это с ними случилось? – поинтересовалась я, указывая на ребрышки.

– Не прошло и четырех часов, – ответил он, улыбаясь.

Джей достал сковороду поменьше и бумажный сверток с клэмами^[44]. Он водрузил сковороду прямо на мой гриль и, посолив моллюсков, накрыл ее фольгой, оставив щелки для воздуха. Мы пили риоху и закусывали клэмами, маслянистыми и отдающими дымком, пока на гриле грелись ребрышки. Потом, пока бледнел свет дня, ели ребрышки – мясо само слезало с кости – с приготовленным мной салатом и облизывали пальцы.

Как выяснилось, Джей тоже долгое время был один.

– Я самый счастливый одинокий мужчина, какого ты только встречала... – заявил он, а потом умолк, поглядывая на меня поверх края своего бокала.

– Что? – спросила я.

– Я как раз думал, как это будет – поцеловать тебя, – проговорил он.

Сколько всего я разрешила себе представить в этот миг! Как это легко – расслабиться, идти туда, куда ведет тропа. Моей последней мыслью перед тем, как я позволила любопытству увлечь меня за край, была: «Ну конечно же, моя любовь будет иной».

Я сама поразилась тому, насколько быстро сбросила доспехи, когда легкий интерес уступил место головокружительному удовольствию. Прошло уже несколько лет с тех пор, как у меня было последнее увлечение, и двадцать – после настоящего бойфренда. На самом-то деле я давным-давно решила, что влюбляться – это легкомыслие. Когда мои друзья обоих полов изнывали по истинной любви, я считала, что у меня есть более основательные дела. К тому времени как я поняла, что партнерство – это не так уж и плохо, я уже давно миновала возраст, годный для начального образования в области

романтики, которую люди получают в школе и колледже. Грубо говоря, когда доходило до ухаживания, я была как пятилетний ребенок за рулем мотоцикла.

Пару недель, пока лето перетекало в осень, дни проходили в лихорадочной дымке. «Давай будем счастливы», – говорил Джей, пожимая мне руку и называя ангелом. Я принимала каждое произнесенное шепотом ласковое словечко, каждую декларацию любви, каждый жест, как нечто редкое и драгоценное. Столь же неожиданное, как внезапная перемена погоды.

Джей хотел «делать все то, что делают супруги», и поэтому мы до отказа набивали начинавшееся новое время года всем «первым»: ходили в походы, запускали воздушных змеев, бывали в ресторане, на концертах, знакомились с друзьями друг друга. Однажды ночью, засыпая, всего через пару недель после начала нашего романа, он назвал меня любовью своей жизни.

– Когда уже вы двое съедетесь? – спросил Джоуи в «Мерке» однажды утром. Я покачала головой и скроила рожицу, но какая-то часть меня была не прочь уступить. *Конечно*, подумала я, *вперед*. Я устала быть осторожной. В отношениях с людьми я слишком долго держала себя на поводке, уверенная, что не создана для близости.

Моя подруга Рэйнбоу, повариха тридцати с чем-то лет из «Мерка», которая только что окончила колледж и была моей союзницей в нашем общем стремлении заставить Джоуи усовершенствовать меню, с самого начала приветствовала мой роман.

– Перестань думать, – приговаривала она, – просто делай.

Когда через пару месяцев после окончания колледжа Рэйнбоу обнаружила, что беременна, она посмотрела на меня наполовину со смирением, наполовину с надеждой и потрясла своими волнистыми локонами.

– Вот бы тебе тоже завести ребеночка, – сказала она.

Поначалу я только посмеялась. Ее предложение было абсурдным. Конечно же, у нас с Джеем не будет ребенка. С самого начала были признаки того, что этот роман долго не продлится, но я их игнорировала, опьяненная близостью и контактом, в горячем восторге от того, что у меня есть человек, держащий меня за руку.

Слишком скоро между нами вклинились наши различия.

В конце сентября мы с Джеем вместе присутствовали на свадьбе – первом подобном событии для меня с тех пор, как Элвис был моим спутником на свадьбе сестры – наполовину хиппническом, наполовину дэд-металлистском мероприятии, где я щеголяла в черных мотосапогах, а Элвис был украшен

галстуком с изображением форели. Давний приятель Джея женился на своей давней подружке в горной осиновой рощице в день, который был отмечен первым снегопадом сезона. Когда пастор спросил жениха и невесту, обещают ли они быть «друзьями, возлюбленными и партнерами» на всю жизнь, Джей нежно прошептал эту фразу мне на ухо и сжал мои пальцы. Никто из нас не мог знать, что этот брак развалится меньше чем через год.

С самого начала были признаки того, что этот роман долго не продлится, но я их игнорировала, опьяненная близостью и контактом, в горячем восторге от того, что у меня есть человек, держащий меня за руку.

На улице было холодно, и золотые листья липли к обуви всех приглашенных. После церемонии Джей хвастался мною, познакомив с большим числом людей, чем я сумела запомнить, а между знакомствами бросал меня одну на тридцатиминутные перерывы, во время которых занюхивал дорожки кокаина с друзьями жениха. К тому времени как мы уехали, у меня зуб на зуб не попадал от холода; лицо и руки покраснели и замерзли. На долгом пути домой, глядя на заметавший шоссе снег, я говорила что-то о том, как это неудобно – устраивать свадьбу под открытым небом в горах без запасного варианта, чтобы в последнюю минуту можно было поторопиться, взять в аренду и поставить шатер для вечеринок; я пыталась не думать и не говорить о том, как вел себя Джей: словно играл со мной в «ку-ку». Я была обижена.

В ответ Джей покачал головой.

– Это все из-за нее, – сказал он, имея в виду Шону, невесту. – Она настояла на том, чтобы выйти замуж под этими осинами. Я сказал Дереку: «Это ее день, пусть делает, как хочет. Если хочет ехать верхом на зебре или нацепить корону – пускай. Она мечтала об этом дне каждый Божий день с тех пор, как была маленькой девочкой».

– Что ты имеешь в виду? – я выдавила смешок. – Мечтала о чем?

– О дне своей свадьбы, – Джей серьезно посмотрел на меня.

– Ты шутишь, что ли? – фыркнула я. – Да разве еще кто-то так думает?

– Это самый важный день в жизни женщины.

– О боже мой! – простонала я и умолкла.

Когда мы свернули на мою подъездную, я не выдержала и вывалила на него всё.

Я в ярости, сказала я, оттого что меня привезли на

мероприятие, где я никого не знала, и оставили вести бессмысленные разговоры с незнакомыми людьми. Джей заверил, что я могу «расслабиться», потому что от меня «все в восторге» и сочли меня «милой» – прилагательное, которого попросту не было на моей орбите.

– Можешь ехать, – сказала я, вылезая из машины.

На следующий день мы кое-как наложили пластырь на рану. Я решила игнорировать представления Джея о браке, а он извинился за то, что бросал меня одну. В последовавшие недели Джей стал чаще оставаться в Боулдере после работы, чтобы потусить с друзьями в баре, а потом и вовсе объявил, что хочет видиться со мной только по выходным. «У меня много дел», – так он сказал. К тому же он предпочитал спать в собственной постели.

Я некоторое время откладывала неизбежное, честно не желая отказываться от роскоши прижиматься по ночам к живому телу, а не к подушечному кому. Мне также понравилась смягчившаяся реакция на меня в городке. Когда там увидели, что мы с Джем держимся за руки, я внезапно перестала быть невидимкой. Стали поступать приглашения в гости от пар, с которыми я была в дружественно-поверхностных отношениях уровня «как-дела-нормально»: «Непременно ждем к нам на ужин *вас обоих*». Боб Британец, один из мерковских пьяниц, как-то вечером угостил меня пивом в знак «извинения», потому что, как он стыдливо признался, раньше думал, что мне «нравятся девушки». Даже Джоуи стал намного приятнее, многословно распространяясь о том, как он за меня рад, – словно, наконец, разобрался во мне и испытал облегчение оттого, что не настолько я грозна или резка, как он думал. Теперь при каждой встрече он заключал меня в медвежьи объятия.

Через пару недель у меня застрял палец в гидравлическом дровоколе, когда я пыталась справиться с целым кордом дров – в одиночку, за один-единственный день. Я попросила было Джея о помощи, но он ответил, что у него уже есть планы. Я работала быстро, автоматически, подавая чурбаки на металлический расцепитель левой рукой, одновременно дергая за рычаг дровокола правой. Вдруг я ощутила давление на среднем пальце левой руки, который по рассеянности не убрала вовремя, и теперь его зажало между металлом и сосновым поленом. Долгую бездыханную секунду я предавалась панике, пытаясь выдернуть палец, а давление тем временем неуклонно нарастало. Потом до меня дошло, что моя правая рука контролирует нажим дровокола на чурбак, и я дернула рычаг в противоположном направлении. Палец удалось вынуть, сплюснутый, как сдувшийся воздушный

шарик; небольшая трещинка бежала на всю длину между ногтевым ложем и костяшкой. Я вбежала в дом и торопливо обернула палец полотенцем, приложила лед. *Черт*, думала я. Было воскресенье. Стоимость визита «Скорой» опустошила бы мои денежные запасы – сумму, отложенную на зимнюю резину для этого сезона. Мозг лихорадочно перебирал варианты, палец пульсировал.

Никто из нас никогда не проводил Рождество с другим человеком.

Джею я звонить не стала. Вместо этого позвонила сперва Джудит, которой не оказалось дома, а потом Карен Зи.

– Не смотри на него, – велела она и повесила трубку. Десять минут спустя она была у моей двери, вооруженная пинтой бурбона, новехонькой, еще с ярлычками, аптечкой первой помощи и пакетом замороженного горошка.

– Когда ты его купила? – поинтересовалась я, когда она срезала зип-полоску.

Карен пожала плечами:

– Кто ж знает!

Она добыла из аптечки бинт, пластырь и дезинфицирующее средство, а я глотнула из бутылки и развернула полотенце с пальца. На воздухе кожу засадило, но он отчасти восстановил прежнюю форму. Я могла им двигать. Я осторожно сдвинула съехавшую кожу на место, Карен капнула на порез меркурохромом. Мы заклеили палец пластырем-бабочкой, потом замотали бинтом, а сверху водрузили пакет с горошком.

Потом мы чокнулись бурбоном.

– Хороша штука, – заметила я.

– Угу, – отозвалась Карен и рассказала мне историю о Бонни, своей подруге, которая отрубила себе кончик пальца, когда колола дрова. К тому времени как Бонни завернула «потерю» в полотенце и сама доехала до отделения больницы, «было слишком поздно».

Джей заглянул спустя несколько часов с аптечкой первой помощи и шоколадом, милый и извиняющийся. И, убедившись, что я в порядке, все же уехал.

Этот палец оказался по-настоящему сломан спустя две недели, когда у меня соскользнула рука при открывании дверцы пикапа, – боль резанула сустав, точно лезвие ножа. Рентген подтвердил перелом. Он еще не успел срастись к ноябрю, когда мы с Джеем присутствовали на очередной свадьбе. Мы то и дело пререкались, но строили полные надежд планы отметить День благодарения ужином у меня дома. «Давай переживем праздники,

а потом снова будем вместе», – сказал Джей после очередной ссоры. В то время это казалось шагом разумным, а не отчаянным. Никто из нас никогда не проводил Рождество с другим человеком.

Свадьба Дивьи и Дамадара, моей инструкторши по йоге и ее давнего бойфренда, состоялась в кришнаитском храме в Денвере. Мы опоздали, приехав через полчаса после начала церемонии, потому что я неправильно забила адрес в навигатор, и мы все время сворачивали не туда. Джей настаивал, что сможет найти дорогу, объезжая улицы в поисках нужных номеров, а я хотела вернуться обратно и начать оттуда, где мы сбились с пути. Вспыхнула ссора.

Внутри здания с позолоченным сводом мы сняли обувь и встали в дверях церемониального зала, поскольку дальше пройти не могли. Джею явно было неуютно. Он по дороге отпустил пару шуток на тему кришнаитов, и я на него рывкнула:

– Перестань быть таким консерватором! Это не секта.

Присутствующие, наряженные в пашмины и сари, собрались на голубых подушках на полу, перед алтарем. Невеста и жених сидели в центре вместе с пандитом в белом дхоти, окружив квадратную яму с огнем. На серебряных блюдах лежали подношения – фрукты, семена кунжута и масло ги. Дымок розовых благовоний наполнял воздух. Мы пропустили только церемонию завязывания узла, во время которой супруги связывают свои наряды как символ союза и преданности – и так остаются целых трое суток, чтобы напоминать себе о своих узах.

После того как пандит пропел благословения новому союзу, Дивья и Дамадар стали бросать в церемониальный костер фрукты и кунжут, а пандит рассказывал собравшимся о том, что «любовь означает жертвенность». В воздухе стало еще больше дыма. Джей все это время стоял за моей спиной в тесной черной рубашке, которую купил ради такого случая, положив руки мне на плечи, словно придавливая меня к земле.

После этого я наблюдала, как новобрачные ходили между группками поздравлявших их гостей. Дивья таскала Дамадара за руку с места на место; шаль, соединявшая их, завязалась огромным тяжелым узлом. Он был милым мужчиной, ходившим по воскресеньям к Дивье на класс йоги, где занимались одни женщины. Что бы она ни говорила Дамадару в том грубоватом стиле, который приберегала исключительно для него – «Не так! Угробишь себе щиколотки!», – он только безмятежно улыбался. Его спокойная, почти религиозная любовь производила на меня сильное впечатление. Теперь он шел за женой по пятам.

– Такие уж у них отношения, – сказала я Джею, кивая в

сторону супругов, – но он, похоже, не имеет ничего против.

После этого Джей не остался на ночь. Мы заехали в бар, потому что свадьба была безалкогольной, а Джею нужно было выпить. Я потягивала вино, в то время как он опрокинул три порции бурбона с колой и стал болтать с бармендером, не обращая на меня внимания.

Я ничего не сказала.

На следующий день, когда мы обходили вместе с собаками лягушачий пруд, Джей сказал:

– Мы должны положить этому конец.

Даже не знаю, почему я была поражена. Я шла рядом с ним, молча, глядя, как сгибается и шевелится высохшая летняя трава. Это был один из тех пасмурных осенних дней, которые уже пахнут зимой. Дул холодный ветер.

– Почему? – наконец спросила я, когда мы вернулись в мою хижину.

– Я просто не готов, – ответил он.

После бракосочетания Дивьи и Дамадара был момент, когда явил себя Господь Кришна, и жених с невестой вместе с членами храма в пламенном порыве простерлись перед синекожим божеством. Наблюдая их поклонение, я невольно подумала, что всем нам следовало бы вознести жертву тому, что больше нас, освобождая пространство для божественного и чудесного. Мне казалось, что именно это я делаю с Джеем, в то время как на самом деле я повелась на ловушки – на ритуал, а не на бога. Наше взаимное влечение было недостаточно стойким клеем, чтобы мы прилипли друг к другу; наш роман никогда не смог бы вынести вес возможного будущего.

* * *

Когда осень стала по-настоящему глубокой и снег принялся бомбардировать гору, Лесная служба США запалила костры на вырубках в глубокой долине между Джеймстауном и горой Оверленд. Я ехала домой после понедельничного вечера в «Мерке», глядя на потусторонние тени пламени, горевшего между деревьями, – костры были разбросаны по всей долине. В отсутствие искусственного сияния больших городов ночи в здешних местах обычно бывают чернильные, и освещают улицы не фонари, а звезды. Теперь же больше десятка костров горели в темной долине, испуская перемежаемый тенями сюрреалистический свет. Оголенные ветром конечности деревьев тряслись и трепетали, их движения меняли формы, и казалось,

что это пляшут чудовища.

Хотя прошло больше трех лет с тех пор, как сгорел мой прежний дом, мне часто снилось, как я убегая от пожара.

Любой источник света в потемневшем ветреном ландшафте – будь то костер, или свечение, отбрасываемое по-зимнему освещенным домом, или даже поднимающаяся луна – казался призрачным, любая иллюминация – ярким клинком пламени. Слишком часто я принимала сияние громадного прожектора моих соседей, живших на заросшем лесом склоне горы к западу от меня, за пожар; стоя у окна возле кухонного стола в сотне ярдов, я беспокоилась, что зыбкий свет среди деревьев означает огненный шквал, вызванный закоротившими электрическими проводами, – причина оверлендского пожара в округе Джеймстауна, случившегося четыре года назад. Пару раз я даже одевалась посреди ночи и ехала туда, чтобы проверить все собственными глазами, потому что мысль о пламени лишала меня сна.

Тем вечером, проезжая мимо костров, я затаила дыхание, уверенная, что затуманенное искристое мерцание вкупе с резкими порывами ветра означает: пламя уже вышло – или скоро выйдет – из-под контроля. Дома я сразу позвонила в окружную диспетчерскую, но оператор сообщил мне, что эти костры «контролируемые».

Лесная служба уже пару сезонов прореживала деревья. Спеленные стволы они собирали в большие штабеля и оставляли их на склоне между Джеймстауном и моим домом. Прошлым летом они прорубили огромные, шириной в шоссе, просеки, некоторые из них – поперек тропинок, где гуляли мы с Джем; это была попытка создать некоторое пространство между деревьями и тем самым предотвратить верховые пожары, когда быстро движущееся пламя перепрыгивает с верхушки на верхушку. Сваленные стволы испещряли ландшафт; кучи веток составляли около пятнадцати футов в диаметре, и теперь все это поджигали. «Безопасными» костры делало то, что температура воздуха была ниже нуля, и земля замерзла. Но долину трепал безумный ветер, и костры вихрились и метались, грозя перекинуть пламя дальше.

Конечно же, уснуть я не смогла. При каждом порыве ветра мое сердце с грохотом врзало в грудную клетку. Что, если они ошибаются? Я воображала, как пожар спешит вверх по каньону, переваливает через вершину горы, надвигается на мою хижину приливной волной жаркого пламени. В паузах между вдохами я планировала, что успею прихватить – собаку, компьютер,

фотографии, – выбегая из двери к машине, спеша на юг по извилистой грунтовке к шоссе Пик-ту-Пик, единственному доступному маршруту спасения. Хотя прошло больше трех лет с тех пор, как сгорел мой прежний дом, мне часто снилось, как я убегая от пожара. В этих снах адское пламя маршировало через гору, точно армия, растянувшаяся, сколько хватало глаз, одной зажигательной линией, или дым застилал воздух, заволакивая хижину, точно густой туман, в то время как я искала путь наружу или пыталась добраться до Элвиса, который остался дома один.

Наутро, когда я в бледном раннем свете спускалась с горы, чтобы проводить занятия в общественном колледже, дым поднимался от земли, заполняя долину. Потемневшая дымка сливалась со щупальцами туч, ползших вверх по каньону. Ландшафт был уже по-зимнему мрачным – только снег и побурелые островки травы между соснами. Пепел летел из все еще тлевших пастей более чем двадцати куч древесных останков вдоль крутых склонов; это выглядело как последствия войны, как Армагеддон. Я припарковала машину и стала смотреть в долину, наблюдая за первыми утренними воронами, а дым и тучи застили солнце.

К вечеру Лесная служба развесила знаки с предупреждением: КОНТРОЛИРУЕМОЕ СЖИГАНИЕ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СООБЩАЙТЕ. Костры безопасны, настаивали они. Накануне вечером люди, живущие в горах, донимали диспетчерскую звонками. Все мы видели это слишком часто: «контролируемое» сжигание, которое выхлестывало за отведенные границы, пламя, отказывавшееся примерно себя вести. Следующие две недели, пока поджигали новые кучи, а прежние продолжали коптить, я с дрожью в сердце ездила по долине. Дым висел в воздухе, как память, укрывая долину дымкой.

* * *

В рождественское утро, через пять недель после того, как мы с Джем расстались, я приготовила себе кофе во френч-прессе и стала смотреть, как на улице падает снег, составляя письмо Уди, – она планировала приехать в гости летом. Элвис сидел рядом со мной на диване.

Уди написала стихотворение «Целуя Элвиса», после того как однажды дождливым милуокским вечером села в мой пикап со словами «привет, красавчик», а Элвис посреди этого приветствия от души лизнул ее прямо в приоткрытый рот.

– Если бы я догадалась закрыть глаза, – пошутила она

тогда, – это был бы лучший поцелуй за всю мою жизнь.

Помнишь это? – написала я.

Когда она в последний раз заглядывала ко мне в гости, я жила в конюшне в каньоне Лефт-Хэнд, дописывала диссертацию, а она, следуя в Таос, проезжала мимо со своим бойфрендом, мужчиной, у которого были плавная речь и волнистые темно-русые волосы. Они остановились в гостиничке-пансионе в каньоне, и мы поехали в «Мерк» на фирменный бранч Сюзи, где немного переборщили с «мимозами». Того бойфренда давно и след простыл, но Уди всегда была на диво хорошо укомплектована любовниками. Вплоть до недавнего времени ее личная жизнь была моим единственным развлечением – как зрителя. Прошлым летом я отплатила ей такой же любезностью. После недели с Джем я написала Уди: *«И как только я прожила все эти годы без поцелуев?»*

Теперь одиночество ощущалось иначе. Я скучала не по Джею, а по человеческому прикосновению.

Я планировала очередное одинокое Рождество, отклоняя приглашения отметить его вместе со счастливыми супружескими парами – ради старого доброго зализывания ран.

Я планировала очередное одинокое Рождество, отклоняя приглашения отметить его вместе со счастливыми супружескими парами – ради старого доброго зализывания ран. Я рассчитывала провести день, закусывая тем, что мой дед называл «деликатесным обедом», – тарелкой мясной и сырой нарезки, прошутто и салями с сырами мэйтег, брийя-саварен и зрелой гаудой. У меня был хороший хлеб, оливки и паштет из куриной печени, инжир, виноград и «жевательный» миниатюрный изюм. После прогулки с Элвисом время можно было провести за просмотром «Гордости и предубеждения» с Колином Ферттом, этот фильм должны были показывать по *BBC*.

Небо едва успело сменить оттенок с розового на голубой, когда на подъездной показалась машина, и из нее вылезли Джудит и Дэвид.

– Счастливого Рождества! – пропели они еще с дорожки, когда я открыла дверь, и Элвис взволнованными прыжками понесся вниз по ступеням встречать гостей. Я не рассчитывала их увидеть – они обычно отмечали солнцестояние вечеринкой для друзей.

– В Рождество, – говорила мне Джудит, – мы покупаем детям по одному большому подарку каждому – такому, о котором они просили заранее, за несколько месяцев, а потом играем в игры

или идем на прогулку, – она ухмыльнулась. – Я не готовлю, и в этот день, слава богу, никто ни на что не рассчитывает.

Дэвид, поднимаясь по лестнице, притащил здоровенный кусок дерева и вручил его мне.

– Ваше Йольское полено^[45], госпожа моя.

Это был чурбак, отпиленный от ствола яблони, что сломалась во время бури.

– Мы привезли шампанское и завтрак, – объявила Джудит.

Я сунула полено в печь и оставила заслонку открытой, чтобы мы могли вдыхать сладкий аромат, потом достала тарелки зеленого стекла и фужеры для шампанского. Мы выпили друг за друга над блюдом булочек, которые пекла дочь Джудит, Райан, домашним лимонным курдом авторства самой Джудит и нежным и дорогим европейским сливочным маслом. Их семья жила экономно, но Джудит исхитрялась выкраивать деньги на роскошные штрихи.

Я подала разогретые галеты с яблоком и корицей, испеченные накануне, и мы разместились за столом рядом с той стеной, из которой выступал ствол сосны, украшенный мной белой рождественской гирляндой. Элвис расположился у моих ног.

Джудит подарила мне набор открыток со словами:

– Они напоминают мне о тебе.

Открытки она сделала сама, вырезая картинки и склеивая их вместе. На одной открытке был подсолнух с пчелой, на другой – луна и тысячи звезд. А на третьей я увидела женщину, стоящую на горе с воздетыми к небу руками. Под ней, внутри горы, спал в берлоге медведь.

– И еще вот это, – сказала Джудит, протягивая мне комок оберточной бумаги. Под бумагой скрывалась игрушечная серебряная корона с розовыми пластиковыми «камнями». Мой любимый цвет. Я рассмеялась.

– Всегда такую хотела! – ответила я, надевая корону. – Как хорошо быть королевой!

Были еще банки с итальянским сливовым джемом и манговым чатни, которые варила Джудит.

Дети прислали свечи ручной работы, а Дэвид подарил мне розовый лотос с маленькой лампадкой.

Перед тем как уехать, Дэвид разгреб снег с дорожки, а мы с Джудит пополнили дровяной ящик.

– Веселого Рождества, милая, – сказала она, целуя меня на прощанье.

Когда снова повалил снег, день уже был неизмеримо светлее.

Глава 9

Дом неприрученных



Столько снега на моей памяти не было никогда. Ни одна зима еще не казалась мне настолько полной, настолько именно такой, какой должна быть настоящая зима. Сразу после Рождества еженедельные бури сшибались с горой, разгружая на нее по футу снега за раз. В то время как всего восьмью дюймов было достаточно, чтобы в Боулдер-Сити закрылись школы, снега на Оверленде всякий раз втрое превосходили это количество. Я каждый раз по часу откапывалась, а потом ехала на машине вниз по каньону, наблюдая, как уровень снега падает на всем протяжении спуска на четырнадцать миль и три тысячи футов. В Боулдере – уже всего ничего. В те дни, когда надо было вести занятия в колледже, я выходила из дома, экипировавшись в угги на «протекторной» подошве, шапку и шерстяную куртку, закинув кожаную куртку и слишком фасонистые для снега мотосапоги или еще более легкомысленную пару ботильонов на шпильках под сиденье пикапа вместе с книгами.

К третьей неделе января моя терраса превратилась в плот на снежной зыби. Тропка до машины была глубиной до бедра. Элвис, которому уже исполнилось двенадцать и который прожил со мной одиннадцать лет, еще ухитрялся играть, зарываясь мордой в снег, но теперь его след огибал края самых больших снежных валов во дворе. Он стал ходить по расчищенной тропке, чтобы облегчиться, вместо того чтобы карабкаться к своему обычному месту на берме.

Нещадно осаждаемая зимой у собственного порога, я пыталась вообразить противоположную сторону года. В дни,

когда с неба знобко сеялся снег, а в печке трещали горящие дрова, было почти невозможно припомнить открытые окна, цветы и утра в саду в одной майке. И так же невозможно было сотворить в воображении безлистные осины и ландшафт, обросший коркой наста поверх глубоких снежных карманов, когда травы стояли высотой по пояс, а луга пестрели дикими цветами. Что с того, что с другого конца года мне никак не удавалось полностью поверить в существование противоположного. Это было сродни тому, как пытаться вспомнить любовь, вспомнить, как счастлива я была с Джемом в те короткие пару недель перед зимой. Я больше не могла вызвать в себе ощущение, что с миром все в порядке, которое испытывала в недолгое время, проведенное с этим человеком, – то мгновенное чувство, что все на свете таково, каким и должно быть. Но оно было так же прекрасно, как и очаровательное, эфемерное лето, и я это знала.

В зимний ландшафт с ревом врвался ветер. После каждого снегопада, продолжаясь целыми днями. Порывы в сорок, пятьдесят, шестьдесят миль в час гнали накатом белые волны по моей подъездной и лугам, переиначивая местность. По ночам ветер колотился в хижину рывками, которые заставляли скрипеть и стонать деревянные стены и скидывали сверху поломанные сучья. Он был таким громким, таким непрерывным, что я вытащила свой вентилятор, включила его в высокоскоростном режиме и направила на стену в спальне: мне хотелось заглушить этот товарный поезд, ревавший из ущелья ночь напролет.

Несмотря на снеговой щит, дровяную кучу необходимо было раскапывать ежедневно. Я распахивала своим внедорожником сугробы по утрам и вечерам, гоняя его взад-вперед, чтобы держать подъездную открытой и избежать необходимости вызывать одного из местных бульдозеристов, расчищавших снег, потому что неоднократные подобные вызовы в такую безжалостную погоду могли оставить меня без гроша.

В это же время я регулярно «бодалась» с водителем, расчищавшим шоссе. Он имел привычку наглухо заваливать мою подъездную. Стоило мне откопаться, как он проезжал мимо и играючи хоронил поворот на мою дорожку под четырьмя футами тяжелой заледенелой дряни. Я только и делала, что копала. Спина болела постоянно. Таскать дрова в ящиках было тяжелой утомительной работой, и от постоянного воя ветра я сделалась раздражительной.

В очередной раз заслышав «бип-бип» из сонного далека зимней дремоты однажды утром, я соскочила с кровати, схватила лопату и помчалась к устью своей дорожки. Бульдозер уже успел наполовину заблокировать меня. Я слышала его движение за

поворотом, когда он сдавал назад и сгребал, сдавал назад и снова сгребал, в то время как я лопатой откидывала снег на улицу. Когда он приблизился, я стояла на дороге, перебрасывая полные ковши через плечо, спиной к нему. Он посигналил. Я продолжала кидать, опустив голову. Он остановился и снова посигналил. Я чуть отступила назад, немного в сторону от кучи, и бульдозер медленно двинулся вперед, повернув среднюю лопату наискось и отгребая снег от подъездной. Лопата срезала снежную кучу всего в двух футах от моей ноги. На этот раз, когда он стал сдавать назад, я подвинулась, и он расширил мою подъездную.

Спасибо, проартикулировала я губами, когда бульдозер проезжал мимо.

Во время одной бури ветер бушевал трое долгих суток напролет, час за часом, минута за минутой. Я не видела дороги. Я не могла выгулять собаку. Что раздражало сильнее всего – я не могла выйти наружу, иначе как вырядившись на манер полярницы. Для защиты от игольчатых хлопьев снега я надевала очки-гогглы. Наконец, проглянуло небо, голубое и ясное, арктические массы прогнали ветер прочь, деревья стояли, опушенные белизной. Я блаженно сидела и с облегчением вслушивалась в ничто. Внезапно включилось электричество, которого не было больше суток. Я как раз кипятила воду для кофе на чугунной поверхности печи, когда зажглись все огни в доме, заставив меня вздрогнуть. Звук холодильника, с гудением вернувшегося к жизни, был все равно что гул автомобильного мотора в голой пустыне.

После нескольких сезонов на горе я была хорошо подготовлена к рутинным отключениям электроснабжения. В доме был запас свечей, головные фонарики висели на ручках входной двери и двери в спальню, всегда имелись пара канистр с питьевой водой и, самое главное, резерв загодя смолотого кофе в холодильнике. В резервном баке колодца был запас на три-четыре смыва в туалете (это если не мыть посуду), так что я использовала электричество экономно. При необходимости можно было топить снег на печи и там же разогревать готовую еду, завернув ее в фольгу. Как вариант, я доставала примус и готовила что-нибудь на наружной террасе.

Снег залепил окна более чем футовым слоем мелкой снежной пудры на западной и восточной сторонах дома, и восточная петля тупика была совершенно непроходима, блокированная двенадцатифутовой глубины сугробом, тянувшимся в длину футов на тридцать. Сама я кое-как добралась к его самой высокой точке, после чего бесславно провалилась, в то время как Элвис с легкостью перевалил через гребень. Выражение его морды –

великого исследователя и первооткрывателя новых земель – было неустрашимым.

– Осторожно, – окликнула его я. Теперь, когда он начал стареть, я больше нервничала из-за его любви к обрывам. Элвис развернулся и потрусил вниз по сугробу и дальше, на дорогу, позаячы прыгая впереди меня. Лапы у него были уже не те, слух тоже слабел. Я впервые заметила это в ветреный день у лягушачьего пруда, когда он бежал впереди меня. Я звала его, перекрикивая шорох ветра. Ноль реакции. Громче. *Он стареет*, подумала я, размахивая руками и прибавив шагу, чтобы привлечь внимание пса.

После нескольких сезонов на горе я была хорошо подготовлена к рутинным отключениям электроснабжения.

Мы вернулись обратно к хижине, обходя сугробы на подъездной – трех-четырёхфутовые горбы, слишком глубокие, чтобы растолкать их моей машиной. Бадди, который накануне вечером заглядывал в «Мерк» ради моего говяжьего рагу побаскски, предложил привести мою подъездную в божий вид за «что-нибудь печеное». Я потопала сапогами у двери хижины, стрясая снег, внесла сапоги внутрь, к печке, чтобы обсушить, потом вытащила свою самую большую форму для запекания и отмерила муку, сливочное масло и сахарную пудру для фунтового кекса с апельсином, клюквой и пеканом, а потом стала ждать Бадди с его лопатой.

* * *

Когда подкатил февраль, я уболтала Джоуи позволить мне устроить поэтический вечер JAM в Валентинов день. Во-первых, в качестве нового вице-президента JAM (Хортенс была низложена на январской встрече совета в характерном для маленьких городков эквиваленте бескровного политического переворота) я считала своим долгом продолжать выталкивать организацию за пределы ее бренчаще-поющего кредо. А во-вторых... если бы я обладала суперспособностью, то направила бы ее на повсеместную культивацию любителей поэзии.

Поначалу Джоуи упирался. Валентинов день выпадал как раз на тот вечер, когда завсегдатаями были в основном мужчины, пьющие пиво.

– Да кому это надо! – твердил он, отмахиваясь от меня. – Никто не придет.

– Придут, если ты приготовишь спагетти.

Признаюсь, я ему польстила. Всякий раз как Джоуи готовил свое фирменное блюдо, в «Мерке» было не протолкнуться от тех, кто алкал порции ««Кровавой Мэри» с замороженными фрикадельками и колбасками вместо кубиков льда», по определению одного из наших поваров. Этот шедевр всегда распродавался без остатка.

– А я испеку «непристойный шоколадный торт», – предложила я. Этот торт был быстрым и гарантированно поднимался в духовке, а «непристойным» назывался потому, что его секретным ингредиентом был майонез. – Ну же, Джоуи, Джеймстауну нужна наша любовь!

Когда мы, наконец, договорились, я изготовила флаеры со словами ПОЧУВСТВУЙ ЛЮБОВЬ и вывесила на доску объявлений афишку с обещанием похабных, забавных и дурашливых альтернатив сентиментальным любовным стихам. Могут участвовать все, писала я, и одиночки, и женатики, и те, кого от любви воротит.

Моя традиция высмеивать Валентинов день была заложена в магистратуре Колорадского университета, когда, устав от спектаклей, вечно устраиваемых в магазине, где я работала, я объявила, что меня тошнит от отстойных любовных стишат и конфеток-сердечек. В знак протеста я организовала ужин для Лючии и Элизабет – мы все были одиночками, все слишком резкие и все любили помаду цвета «бургунди», как в девяностых. Я приволокла кофейный столик в гостиную дома на горе Бау, зажгла свечи и разложила по тарелкам пасту *путтанеску* – умеренно жгучее блюдо с анчоусами, каперсами и черными оливками. Мы читали вслух темные и травмоопасные стихи о любви, например «Судьбу человека» Луиса Урреа, где описывается, как автор справляется с жизнью, когда уходит его возлюбленная («да и хер с ней, с открытой дверью», «пиво в пику»), мы смеялись и смеялись, чувствуя себя выше всего этого. Потом Лючия, которая успела до тридцатилетия трижды побывать замужем, вытащила на свет божий трепетное стихотворение о поцелуях.

– О! – отреагировала я. – Кто это?

– Эд, – улыбаясь, ответила Лючия.

Эд Дорм, сумасбродный глава литературной программы и добрый друг Лючии, был поэтом, чьи поздние работы, как и сам Эд, представляли собой сплошной вой сарказма и отчаяния. Подавая на стол шоколадные тарты-сердечки с малиной, я пыталась мысленно связать мужчину, которого знала, с деликатными слогами, прочитанными мягким бархатным

голосом. Под его легендарной мрачностью, оказывается, скрывалась нежность.

Мой план состоял в том, чтобы пригласить в «Мерк» банду закоренелых холостяков, завсегдатаев Джоуи – «мальчиков», как их называли мы с Карен Зи. Некоторые из них, надеялась я, могут оказаться тайными любителями поэзии (ночью, под одеялом, с фонариком). Так что я распечатала три десятка самых эксцентричных и нетрадиционных любовных стихотворений, какие только сумела найти – от заклинательных галлюцинаций о безумии и кипучем сексе Кейт Браверман до тихого пробуждения желания над сливами Уильяма Карлоса Уильямса, – отвезла эту стопку наряду с тремя сумками поэтических сборников и антологий в «Мерк» и разложила все это на одном из столов. Мне казалось, что среди этого богатства каждый найдет что-нибудь для себя. То есть любой мог подойти, выбрать стихотворение и прочесть его вслух. Даже неподготовленные люди вполне способны были сделать это экспромтом, а в качестве дополнительного бонуса слушатели не умерли бы со скуки, слушая самодеятельных поэтов.

Я налила себе бокал вина за стойкой, а Джоуи весело раздавал порции пасты, полными горстями собирая комплименты и приветствуя каждого своим любимым «Хайя!», словно был мэром городка.

Когда достаточное количество тел утрамбовалось возле темной барной стойки в задней части «Мерка», а любопытствующие и голодные заняли около половины деревянных столиков – в общей сложности около тридцати человек, – я пошла раздавать поэтические сборники, точно цыганка, предсказывавшая судьбу.

– Прочтите вот это, – посоветовала я Джовану, мужчине, который носил шляпу-котелок и слишком часто моргал, передавая ему томик Расселла Эдсона, известного знатока эксцентричности.

– Возможно, вам понравится Билли Коллинз, – сказала я Холлису, убежденному холостяку и автомеханику (именно в таком порядке), который мастерски уходил от любых попыток заигрывания. Книгу я открыла на стихотворении под названием *Victoria's Secret*. Речь в нем шла о мужчине, увлекшемся разглядыванием каталога, полного сексуальных женщин в одном белье, взиравших на него со страниц.

Один за другим люди записывались на выступления, первыми – самые упертые любители поэзии.

Любой мог подойти, выбрать стихотворение и

прочсть его вслух. Даже неподготовленные люди вполне способны были сделать это экспромтом.

Джудит прочла свое любимое стихотворение Кэтлин Рейн, в котором снова и снова повторяется фраза «потому что я люблю», а я – «Привилегию быть» Роберта Хасса; как-то раз я видела это стихотворение исполненным в самой что ни на есть эротической манере гибкой поэтессой по имени Симона, в зале где было полно затаивших дыхание мужчин и женщин. Его строки наполнены пышной пустотой и одновременно экзистенциальной жадью, но Симоне оно пришлось в самый раз – я потом видела ее сидящей верхом на бедрах мускулистого молодого человека. Такова сила поэтического слова.

Вечер шел своим чередом, звучали слова поэтов-романтиков наряду с отрывком из «Тристана и Изольды». Потом один из «мальчиков», мужчина по имени Снейк Хабенеро, который играл на банджо и летом подкатывал к «Мерку» на своем мотоциклевнедорожнике, подошел к микрофону. Если судить по внешности, его легко было сбросить со счетов – этакий пьяница с неухоженной седой бородой и волосами, что вились и лезли толстыми щупальцами из-под кепки. Он носил очки в проволочной оправе и круглый год щеголял в гавайской рубаше – но был так же умен, как и добродушен. Начитанный, знаток кино. Сунув покрасневшие пухлые кисти рук в карманы джинсов, он открыл рот – и прочел наизусть «Убийство Дэна Макгрю»^[46] под одобрителное уханье и улюлюканье пьяниц у стойки.

И больше ничего не понадобилось.

Один за другим «мальчики» из арьергарда отделялись от общего стада и, пошатываясь, шли по крашеному сосновому полу к микрофону, вставая в нише, образованной окном, завешенным разноцветной гирляндой с лампочками в форме слезок под выведенными золотом и красной краской словами **ДЖЕЙМСТАУНСКОЕ КАФЕ МЕРКАНТИЛЬ**.

Луи прочел стихотворение, которое я передала Холлису, а Чед – одно из творений Эмили Дикинсон. Джимми, который говорил на пяти языках, продекламировал стихотворение на французском. Но звездой вечера стал Кент – мужчина с характерным хриплым голосом, чья седая борода всегда была аккуратной, а густые волосы зачесаны строго назад. Он делил свой дом на холме с вереницей сменявших друг друга холостяков. Там был бильярдный стол, купальня и телевизор с большим экраном. Там всегда было пиво.

В начале вечера я вручила ему книгу стихов Чарльза Буковски, и он уселся на свой табурет, потягивая самое дешевое пиво, какое

нашлось у Джоуи.

– Эти вам как раз в масть, – сказала я.

Когда Кент поднялся и пошел к микрофону, парни у стойки засвистели и зааплодировали. Все оторвали взгляды от своих тарелок. Джоуи, подбадривая, завопил:

– Кент!

– За любовь, – сказал Кент, салютуя своим «Будвайзером», и прочел стихотворение о сексе и еде. Вместо слова «п***а» он сказал «вагина», произнес его с мягким французским «ж» вместо «г», выводя слог так, что они слетали с губ, будто шепот. Я не могла понять: это он постеснялся или пытался пощадить слабонервных? Когда он произнес это слово, возник момент ошеломленного молчания, этакий шок, а потом зал разразился взрывами хохота, под которые Кент продолжал рычать слова стихотворения с осторожностью, состоявшей из равных долей бесстыдства и сдержанности.

В истории «Мерка» была своя доля легендарных вечеров – вечеров, когда народ залезал на столы и плясал, и люстра качалась туда-сюда над толпой потеющих, пошедших вразнос тел. В иные вечера, бывало, кое-что и разбивали – переднее окно, к примеру, как минимум дважды – или завязывались потасовки. А на следующий день городская молва раздувала случившееся в людских умах так, что историю пересказывали снова и снова. В основном такие вечера вращались вокруг выпивки и музыки и тех побуждений, которые они обе раскрепощают. А в тот вечер была просто поэзия. И, как обо всех легендарных джеймстаунских вечерах, люди до сих пор говорят о нем – о том вечере, когда Кент прочел стихотворение в «Мерке».

* * *

Джеймстаун всегда гордился собой как «домом неприрученных» – фраза-шапка из рукописного меню «Мерка». Местные кичились своей не больно-то цивилизованной натурой и по этой причине считали себя сделанными из другого теста, нежели жители равнин. В результате этот городок, вдобавок к обычной порции одиночек и либертарианцев, привлекал и некоторую долю еретиков. Порой появлялся какой-нибудь настолько чокнутый персонаж, что городок объединялся, стараясь мягко понудить его к перемене места жительства. Но, как правило, основные неприятности поступали в двух формах – пьяницы и молодые бездельники.

Каждую весну в Джеймстаун заявлялась новая толпа

начинающих хиппи: молодежь чуть за двадцать, женщины в дредах, мужчины в бородах, все одеты в многослойную одежду стиля «с миру по нитке». К осени большинство из них съезжали, поскольку фантазия «сладостной магнолии» о ленивых днях, наполненных музыкой, при почти бесплатном проживании резко давала сбой при первой же глубокой пороше.

В тот год дела шли скверно, и ситуация не в последней степени подогревалась новой хиппи-цыпочкой на кухне «Мерка», которая, к досаде голодающих масс, таскала бесплатную еду и пиво своим приятелям. Приехали вначале двое бездельников, потом, через две недели, еще двое, за ними последовала компания из четверых и еще пара-тройка одиночек. Их влекла молва: в *Джеймстауне, мол, жить легче легкого*.

Пресытившись видом нахлебников, которые всю весну сосали пиво и создавали тучи сигаретного дыма перед «Мерком», я обклеила местную почту, доску объявлений пожарной команды и сам «Мерк» плакатами, пропагандирующими «Общество калифорнийского черного медведя», чей девиз «свободная земля для свободных людей» был гимном шестидесятых. Над фото клевых чуваков и чувих, держащихся за руки в кругу на лесной полянке (это фото я нашла на сайте общества), я написала: «Разыскиваются свободные люди, которые хотят вечно жить свободной жизнью на свободной земле». А ниже разместила информацию об обществе и его богатой истории, присовокупив адресные данные.

Возможно, это никак не было связано с моими плакатами, но к концу лета городок снова принадлежал местным жителям.

Кроме того, у нас был собственный бренд нахлебников из местных, которые обращались с «Мерком», как со своей гостиной, выхватывая пачки сигарет из-под кассового аппарата и самостоятельно наливая себе пиво. Иногда не расплачиваясь. Они выключали свет или меняли музыку без спросу, они ни разу не заказали даже чашки кофе и, бывало, приносили пиво с собой в бумажных пакетах. Поскольку бизнес «Мерка» мог оставаться на плаву, только полагаясь на посетителей, особенно зимой, эти нарушения всегда бесили меня и вызывали злость на самых отъявленных нарушителей.

Еще больше затруднений вызывал тот факт, что в «Мерке» было заведено позволять посетителям записывать еду на свой счет. Предполагалось, что клиент будет класть на счет, скажем, сотню долларов, а потом использовать ее как кредит при очередных посещениях, но с воцарением Джоуи эта практика пошла вкривь и вкось. Сдержанная оценка суммы задолженностей была, по словам Джоуи, где-то пять тысяч долларов, но я могла

поспорить, что она была больше десяти. У людей из окрестных горных городков Голд-Хилл и Уорд были в этой книге свои страницы. Как и у друзей их друзей, приезжих из Боулдера и еще более дальних мест. Трудно было уследить за всеми.

В маленьких городках доверие и сотрудничество – безусловная валюта. Но по какой-то причине немало находилось таких, кто искренне чувствовал себя вправе наказывать «Мерк» на деньги, словно кафе, которое десятилетиями служило как сочетание коммуникационного центра, бьющегося сердца городка и кушетки психотерапевта, *был должен им*: людям, беззастенчиво пользовавшимся страховочной сетью, что великодушно предлагал «Мерк». Кончились дома молоко и яйца в снежный день? Нужно срочно перехватить порцию макарон и чашку кофе на пути вниз по каньону? Или понадобилась бутылка вина, которую забыли купить, отправляясь на шопинг в долину? Не беда, возьмем в «Мерке».

* * *

Новым президентом *JAM* был Ди Джей, басист и звуковик, сценарист и режиссер, который, как и я, хотел большего разнообразия для *JAM*. Наш план состоял в том, чтобы устраивать по одному мероприятию каждый месяц. В марте это был «Бэнд в шляпе», традиционный для *JAM*, чьим девизом считались слова «Не бойся быть отстоем». Мы добавили к этому событию бар с тако и конкурс на лучшую шляпу; Джоуи не стал закрывать «Мерк» и наливал пиво, и вечер превратился в вакханалию, когда профессиональная сопрано городка запела «Коснись, коснись меня, хочу быть грязной», а Джерри, один из «мальчиков», играл не в такт на тамбурине, изображая гоу-гоу-герл. В апреле это был вечер караоке в «Мерке», еще одна качественно увлажненная афера, а за ней последовал новый поэтический вечер в мае, на сей раз посвященный весне и «грязеизобильности». В июне мы с Ди Джеем придумали праздник под названием «Джава-Джем-а-палуза» – ребрендинг самой старой традиции *JAM*, фестиваля *JavaJAM*. Мы решили организовать длящийся весь день фестиваль искусств в Джеймстауне. Так что вдобавок к вечеру акустической музыки и десертам должны были состояться художественная выставка, перформанс и публичные выступления. Все это было одобрено денежными призами, которыми предполагалось выманить из нор даже самых нелюдимых художников.

Организация заняла два дня, в течение которых я, Ди Джей и горстка волонтеров из *JAM* носились туда-сюда между парком,

городской ратушей и нашим офисом, таская детали сцены и аппаратуры, развешивая картины, распутывая путаницу и расклеивая афиши и расписание мероприятий. Мы гоняли с места на место судей, пререкались с исполнителями, давали объявления, впрягались вместо отсутствующих волонтеров и направляли людей на мероприятия, проходившие в данный момент. Небольшая склока возникла, когда председатель жюри, которого мы добыли с художественного факультета Колорадского университета, выбрал произведение, созданное десятилетним художником из городка, и вручил мальчишке приз в пятьдесят долларов. Если подвести итог, мероприятие получилось разнообразным и веселым, но утомительным – что-то вроде фантастического званого ужина, от которого получили удовольствие все, кроме устроителей.

У нас был собственный бренд нахлебников из местных, которые обращались с «Мерком», как со своей гостиной, выхватывая пачки сигарет из-под кассового аппарата и самостоятельно наливая себе пиво. Иногда не расплачиваясь.

К июлю стало ясно, что наши амбиции превысили предел нашей прочности. Из-за возросшего числа мероприятий основное ядро совета – человек шесть-восемь – было раздражено до крайности. У нас с Ди Джеем – а мы организовывали, режиссировали, поддерживали или болели на всех мероприятиях до единого – «кончилось горючее». Вспыльчивость и внутренняя борьба разгорались по мере того, как задетые самолюбия подливали все больше масла в огонь в конфликте новых и старых схем действия. Посыпались обвинения в тайных планах. Манера и метод ухода Хортенс с главного поста были кое для кого больным местом. Даже мы с Ди Джеем устали друг от друга. Мы отменили встречи на пару месяцев и взяли паузу до конца лета – для перезарядки.

В августе приехала Уди. Я, против обыкновения, переживала из-за своей хижины, ее некрашеных стен и сделанного из сосновой ветки держателя для туалетной бумаги. Подумав, я повесила почти на каждую стену большие зеркала в рамках, чтобы они прикрывали потемневшее дерево и отражали свет. Двумя годами раньше я вставила окна с двойным остеклением, которые забрала с одной стройплощадки, где их собирались выбросить. Джудит помогла мне подобрать цвета и покрасить кухонную стену красным, а высокую тонкую панель из голого гипсокартона в гостиной – в оттенок кремовой кожи. Я сделала домик уютным, но он все равно оставался откровенно деревенским. Мыши

сновали туда-сюда, в москитной двери зияли дыры.

Уди когда-то была самым богемным человеком из всех моих знакомых: она жила в шестидесятые в калифорнийской коммуне и любила рассказывать историю о том, как закидывалась кислотой и уходила в пустыню, через несколько часов блуждания босиком по песку она возвращалась обратно, обгорев на солнце и посеяв где-то всю одежду. Теперь же, почти сорок лет спустя, она стала самой привередливой из путешественников. Я неустанно высмеивала ее всякий раз, как мы ездили на писательские конференции, поскольку она таскала с собой собственную подушку вместе с берушами, винным бокалом, пакетом *Cheerio* и сахаром, порцию которого, настаивала она, надо съесть не позднее чем через тридцать минут после пробуждения. Я пообещала ей, что позволю занять мою постель, куплю *Cheerio*, апельсины для сока и белый сахар для ее утреннего ритуала. Прежде чем спуститься в безоблачный зной Передового хребта к аэропорту на восточной окраине Денвера и забрать свою старую подругу, я прикупила надувной матрац и протерла от пыли все открытые поверхности.

Все в Уди было утонченным и шикарным – намек на Одри Хэпбёрн, только без холодной ауры пристойности и «ледиобразности». У нее были темные волосы, которые кучерявились облачками, а потом рассыпались коллекцией штопоров и спиралек по груди. Она выглядела на сорок пять – и так было с тех пор, как мы с ней познакомились. Стоя рядом с гигантским чемоданом, Уди широко улыбалась мне с тротуара накрашенными любимой красной помадой губами и махала рукой, одетая в черные сапоги в стиле «милитари» и черные джинсы. Меня шокировало то, что ее черные волосы теперь обрамляли лицо короткими прямыми занавесями. Меньше Одри Хэпбёрн, больше Джоан Джетт.

– Что ты наделала? – воскликнула я.

– Мне нужна была какая-то перемена, – ответила Уди.

Я первый раз видела ее с короткой стрижкой.

– Привет, Элвис, любовь моя, – соблазнительно прошептала она, когда Элвис пролез между передними креслами, чтобы облизать ее лицо.

Мы с Уди провели первый вечер на террасе вместе с Джудит. Я никогда не собирала большую коллекцию друзей, предпочитая развивать горстку значимых для меня контактов. У меня была слабость к земным, упрямым женщинам – опоре мира. Уверена, в тот вечер нас можно было принять за макбетовских ведьм, когда мы хихикали и строили заговоры, смешливо травя байки за пино гриджо, охлажденным замороженной клубникой. Когда тени

потянулись через двор, Джудит и Уди закурили сигареты, а я стала жарить на гриле креветки, маринованные в текиле. Разговор повернул, и мы стали называть вещи, без которых не смогли бы обходиться.

– Мой сад, – сказала Джудит.

– Вот это, – объявила я, указывая в сторону едва различимого вида на Индиан Пикс. – Покой. Элвис.

– Вино! – выкрикнула Уди, и мы дружно чокнулись бокалами.

Утром мы с Уди уселись на террасе и стали слушать колибри. Ветер в осинах и соснах звучал, точно вода, бегущая в ручье. Мимо пыхтели толстенные облачка.

– Это место совершенно, – сказала она.

Позднее в тот день мы ходили к Сент-Врейну с Элвисом и пересекли живописное шоссе Пик-ту-Пик между Нидерлендом и парком Эстес, но главное событие было намечено на субботний вечер, когда единственная и неповторимая панк-группа Джеймстауна «Краснуха» должна была играть в «Мерке». Возглавляемый Блейком, преждевременным поседевшим юристом и музыкантом, ходячей музыкальной библиотекой, этот коллектив отчасти был энциклопедией панка, но больше – просто источником шума.

В «Мерке» негде было яблоку упасть. Мне пришлось силой пробиваться в заднюю часть зала, чтобы добыть пиво для себя и вино для Уди. После многословной и чуточку академически-занудной вступительной речи Блейка группа, одетая в кожу и белые футболки, глаза подведены черным, взревела первую песню, и толпа тут же принялась прыгать и толкаться. Мы с Уди присоединились.

Поначалу атмосфера была игровая: народ хороводился и трясся, но потом команда затянула «Анархию в Соединенном Королевстве», и тут же в воздухе замельтешили локти и тела. Меня пихнули на стол, а Уди торопливо помахала мне и ретировалась на улицу перекурить. Развернувшись, я увидела Боба Британца, надвигавшегося на меня всей мощью своих телес, опустила пониже плечо и с удовольствием врезалась в него. После этого я толкалась, прыгала и вопила «Пошел нах!» во всю силу легких. Словно все те разы, когда «Мерк» раздражал меня, все городские алкаши, метатели подков, каждый день тусившие в парке с приятелями, все эти междусобойные «мы живем тут дольше, чем вы» схлопнулись в момент, когда я пинками и толчками пробивала себе путь через толпу.

Это было здорово!

Как правило, я избегала насилия – как зрелища, так и участия, – не из-за какой-то ханжеской пассивности, а потому что

на самом деле оно мне нравилось. Мне было неуютно от удовлетворения, которое я ощущала, играя в лазертаг в восьмидесятых и вопя противнику «Сдохни, ублюдок!». Эта часть меня – часть, которая притворялась, что ей не по нутру брутальность футбола или хоккея, которую я маскировала принципом «люблю всех», все же хотела разок понять, каково это – вложиться в удар всем своим весом, когда инстинкт вопит «врежь засранцу».

Я никогда не собирала большую коллекцию друзей, предпочитая развивать горстку значимых для меня контактов. У меня была слабость к земным, упрямым женщинам – опоре мира.

Я была в гуще всего этого на танцполе, я бросала свое тело на другие тела, глотая залпом пиво из красных чашек, которые Джоуи мудро предпочел в этот вечер пинтовым бокалам, а три гитары крошили слух стеной электрических шумов и маршевым барабанным ритмом. Пол был скользким, огни люстры качались, столы постепенно стали выносить на улицу, и все больше людей втискивались в пространство перед выступающей группой. Никому из нас не было дела до того, что́ они играли. Я смутно осознавала толпу в задней части бара, рассматривающую меня.

Спустя тридцать минут я выдохлась, улыбаясь от уха до уха. Плеснула пивом в пару-тройку людей, включая Ди Джея, который явно был шокирован и обижен – пока не налетел прямо на меня. *Вот так, ничья.* Я пихалась, и меня пихали. Волосы свисали жгутами на шею, кожа была такой же скользкой, как крашеный деревянный пол. Сердце грохотало.

– О. Боже. Мой, – только и сказала Уди, когда я вывалилась наружу. Здесь группу было слышно ничуть не хуже, чем внутри; передние окна «Мерка» вибрировали и сотрясались. Уди трясла головой, ухмыляясь, точно только что услышала самую смачную на свете сплетню, и я начала смеяться. Вначале громко и фыркая, потом всерьез. И не могла остановиться.

С меня свалился груз в тысячу кирпичей. Я становилась все легче и легче, наполняясь эйфорией.

– Это было великолепно! – прокричала я. Кэмерон, красовавшийся в черной мотоциклетной куртке, волосы торчком, прошел мимо и хлопнул меня ладонью по спине.

– Отлично танцуешь, Карен, – сказал он и плеснул пива из кувшина в мою чашку.

Я сделала глоток и стала смотреть на летучих мышей, которые носились и попискивали над головой. Было всего полдевятого вечера, еще даже не стемнело. Горло у меня саднило,

конечности напоминали вареные спагетти.

– Ладно, с меня хватит, – объявила я, и мы вместе с Уди пошли, держась за руки, к моей машине.

На горе напротив «Мерка» плавучая база – дом с гигантским знаком мира на фасаде – освещала темнеющее небо. Группа заиграла «Хочу быть твоим псом», и мы с Уди провыли эти слова, звонко, как койоты.

С веранды «Мерка» донеслось чье-то «Доброго вечера тебе, Карен!».

Глава 10

Гребаный Т. С. Элиот



В конце октября я наблюдала, как рысь охотилась во дворе на мышей. Если бы я не уловила краем глаза со своего места у окна за компьютером мягкий прыжок на все четыре лапы, то ни за что бы ее не увидела: густая шубка идеально сливалась с рыжевато-коричневым оттенком мертвой травы на берме, где она залегла. Животное не торопилось – удивительно для такого позднего утра, когда солнце уже встало и не осталось никаких теней для маскировки: рыси известны своей стеснительностью.

Я передвинулась, чтобы получше разглядеть ее мускулистое, какое-то бульдожье тело, ее старческую морду и пушистые уши. Элвис, ни о чем не подозревая, лежал под моим столом, дергая лапами и издавая приглушенный, душераздирающий плач, какой издают собаки, когда им снятся сны. Он уже явно старел. Не чувствовал мир за пределами хижины, как когда-то. В прошлом году у него возникли проблемы с щитовидкой – «классическое старческое заболевание», как сказал ветеринар. Лекарства поддерживали падающий уровень энергии и аппетит, но его шелковистая, пахнущая ланолином шерсть стала ломкой и редела пятнами вдоль хвоста и задней поверхности лап, обнажая розовую кожу. В холодные утра его пробирала дрожь.

В старении есть унижительность.

Я видела это на примере своей матери, которая стала совсем старухой. Иного слова и не подобрать. Всего шестьдесят семь – она была еще слишком молода, чтобы быть не в состоянии водить машину, слишком молода, чтобы быть такой дряхлой. Слишком молода для того, чтобы память ее стала мерцающей, точно

мираж. *И все же.*

Спишем это на ее аневризму – тварь, которая продолжала создавать проблемы. Всего через три года после поездки в Аризону мама перенесла еще одну процедуру – у нового специалиста в Денвере, – а потом еще одну. Спирали продолжали смещаться, пропуская скапливающиеся сгустки и кровь. Были введены три штуки, одна внутрь другой, в попытке стабилизировать двадцатипятимиллиметровое расширение в сосуде, но аневризма упрямо вбирала все больше крови. Она пульсировала, как крохотное бьющееся сердце, в центре маминого мозга и толкалась о спинной мозг, вызывая слабость и головокружения. Я сидела с мамой во время рутинных ежеквартальных ангиограмм, что должны были отслеживать перемены в размере аневризмы и просветах между кольцами, и даже они вжимали свою дань. Каждый раз после них разрушались новые участки маминой памяти, уходило все больше сил. Ей снова потребовались ходунки и постоянный дополнительный кислород. Она мрачно терпела все это, словно смотря фильм, который ей не нравился, но я знала, что под ее стоицизмом кроется колодец, кипящий разочарованием и страхом.

Всего шестьдесят семь – она была еще слишком молода, чтобы быть не в состоянии водить машину, слишком молода, чтобы быть такой дряхлой. Слишком молода для того, чтобы память ее стала мерцающей, точно мираж.

Элвис, напротив, сносил свое физическое угасание с типичным для него щегольством. Я купила ему флисовую куртку – светло-синюю с черными вставками, – и он стал выглядеть еще бóльшим красавцем, спортивным и подтянутым. Он по-прежнему оставался добродушно-дурашливым – просто стал более неторопливым и, по чести говоря, меньшей занозой в заднице. Канули в прошлое дни наших долгих походов. Теперь Элвис с удовольствием шел гулять к лягушачьему пруду или вниз до ручья и обратно, а потом проводил остаток дня, наблюдая за миром с террасы или дремля под моим письменным столом. Все волнения достались на долю *мне*. Ему было почти тринадцать – официальная старость. Я все чаще и чаще думала о его смерти.

Да, конечно, я едва не лишилась его, когда ему было шесть. Был Валентинов день, и я только что вернулась домой в Висконсин и к Элвису после месячного проживания во Флориде – это была моя героическая попытка завести с толкача работу над диссертацией, книгу коротких рассказов. Я слушала, как Гаррисон Кейллор читал стихи о любви в своей радиопередаче

Prairie Home Companion («Спутник прерий»), сочинила одно забавное стихотворение про Элвиса, который отказывался от еды, и послала его на радио. Утром в тот день я повезла своего пса к ветеринару, потому что ему было трудно подниматься по лестнице, но диагноз оставался неясен – и ветеринар настаивал на том, чтобы подождать результатов анализов, которые должны были прийти в понедельник, прежде чем назначить лечение. Я упиралась, желая забрать Элвиса домой, вместо того чтобы оставлять на выходные. Спустя несколько часов после возвращения у Элвиса, который ослаб настолько, что не мог встать, начались конвульсии, и мне пришлось разбудить соседа, чтобы тот помог мне перенести собаку в машину.

Его болезнь – одна из форм анемии, когда организм атакует собственные клетки, – была диагностирована в результате быстрого мазка крови на стеклышке. Клиницист – молодой, невысокий, темноволосый – позвал меня в кабинет рядом с комнатой ожидания, где был слишком мягкий диван и коробка с бумажными салфетками.

– Это очень скверная болезнь, – сказал он. – Большинство собак умирает.

– Что вы имеете в виду?

Лечение стоит дорого, и это лотерея – из-за времени и осложнений, пояснил он. Я могла потратить тысячи долларов, а Элвис все равно мог умереть.

– Возможно, вы решите задуматься о том, чтобы прекратить его страдания.

Мне трудно было думать даже о том, что моей собаке плохо, – возможность смерти была мыслью, от которой я наотрез отказалась. В Элвисе всегда было столько жизни! А для врача это был вопрос вложений: неудачная ставка. Да, это правда, у меня не было денег. Но я не желала навешивать ценник на жизнь Элвиса. Я ощущала инстинктивную тягу внутри, первобытное побуждение защитить своего. Элвис был еще жив; еще была надежда.

– Лечите его, – сказала я.

В ту ночь мне звонили из клиники каждые два часа.

Во время первого звонка ветеринар сказал, что Элвис настолько анемичен, что он «в одном шаге от смерти». Ему нужно было переливание крови, первое из трех, чтобы «купить время», пока врачи ждали эффекта иммуноподавляющих лекарств, которые должны были не дать его организму нападать на собственные кровяные клетки. Потом последовала пункция костного мозга, ультразвук... С каждым звонком приблизительная стоимость услуг карабкалась вверх. И каждый раз я говорила: «Да, давайте, делайте».

Я лежала без сна. Было слишком тихо в моей квартире, в верхней половине дома в милуокском районе Ривервест. Я смотрела на пасмурное, освещенное огнями большого города небо, лежа на кровати, ошеломленная той зияющей дырой, которую оставило в ночи отсутствие Элвиса – его привычного кружения на месте, мягкого «плюх», вздоха пса, устраивающегося на ночь. Утром не было тела, следовавшего за мной по пятам, когда я одевалась; не было морды, тыкающейся в меня с просьбой о прогулке.

Я поехала в клинику с подстилкой Элвиса, его любимой игрушкой и одной из своих рубашек. Он лежал на боку, шевеля только хвостом в слабом подобии приветствия. Из капельницы струились лекарства и жидкости. Его живот и участок кожи на бедре были обриты.

Я привязала к прутьям его клетки, вольера 120 на 180 сантиметров, стоявшего отдельно от других многоярусных клеток, фотографию, где были мы вдвоем в Колорадо, и подложила ему под голову свою рубашку. Элвис лизнул мне пальцы. Когда я легла рядом с ним и стала гладить нежную подушечку его лапы большим пальцем, он ощутимо расслабился и провалился в глубокий сон.

В то утро я разговаривала о болезни Элвиса с другим ветеринаром, женщиной. Ей было за тридцать. Открытое лицо, короткие светлые волосы. Она отвечала на мои вопросы, объясняя, что диагноз Элвиса – акантоцитарная гемолитическая анемия – это действительно «скверная болезнь», и никто не знает, почему она проявляется у собак. Она терпеливо повторяла названия лекарств и процедур, пока я делала заметки, иногда заливаясь слезами.

– Каковы его шансы? – спросила я ее.

– Около двадцати процентов, – ответила она, стараясь сделать это как можно мягче.

– Что бы сделали вы?

– Именно то, что вы делаете.

Всю ночь я сражалась с вопросами: *Веду ли я себя эгоистично? Страдает ли мой пес? Что для него лучше?* И в этот момент я поняла. Я попросила, чтобы того, первого ветеринара отстранили от лечения Элвиса:

– Я хочу, чтобы его лечили люди, которые думают, что он может выжить.

Пять дней я навещала Элвиса по три раза за сутки, каждый раз ложась в его клетку вместе с ним и оставаясь там намного дольше выделенных мне двадцати минут. Сотрудники выдали мне широкую раскладушку.

– Ему лучше, когда вы здесь, – заметил один из врачей.

Когда Элвиса выписали, за его состоянием продолжали следить: он все еще мог умереть. Состояние его крови требовало постоянного мониторинга, вначале каждые двое суток, потом дважды в неделю. Постепенно его показатели стали расти. *Медленно*. Все это время он получал иммуноподавляющий коктейль и инъекции физраствора по четыре раза в день. Ему требовалось в три раза чаще мочиться, и каждый раз приходилось носить его на руках вниз по лестнице и обратно. По совету врача я готовила ему богатое протеинами мясо с рисом и корнеплодами, а перекусывал он домашним сыром. Поначалу Элвис принимал пищу только из моих пальцев.

Утром не было тела, следовавшего за мной по пятам, когда я одевалась; не было морды, тыкающейся в меня с просьбой о прогулке.

Мне нужна была помощь.

Карен Зи приехала со своей собакой Сэнди из Колорадо, через три штата, чтобы сунуть мне в руку сверток банкнот из «фонда Элвиса» и остаться с нами на десять дней. Вместе с Эрин и Рексом, ее друзьями с тех времен, когда она жила в Милуоки, они по очереди нянчились с моим псом, когда я уезжала на работу.

Перед самым отъездом Карен я набралась мужества спросить лечащего врача Элвиса, миниатюрную умную женщину по имени Мими, выживет ли он.

– Ага, думаю, выживет, – кивнула она легко, словно говорила о погоде.

Радостная, я купила индейку, и мы отпраздновали Благодарение в марте. Мы вчетвером уселись на пол в моей квартире и выпили за Элвиса игристого сидра, заедая его индейкой и клюквой. Элвис слизывал с моих пальцев картофельное пюре и теребил мясо с бедра индейки, которое я держала в руке. Висконсинское небо было необыкновенно синим.

Просто позволь мне увезти его домой, в Колорадо, молилась я. Просто дай мне всего еще один год.

С тех пор их прошло семь.

Я посмотрела вниз, на Элвиса, спящего под моим столом, а потом перевела взгляд на берму. Рысь исчезла. Я вышла из дома, чтобы взглянуть на следы, но не нашла ничего – ни отпечатков лап, ни примятой травы. Не было никаких признаков того, что тут был зверь. О моей собаке такого нельзя было сказать: он оставлял свою неизгладимую метку. Вместе мы держались, как могли.

Вернувшись домой, я разбудила его, чтобы вывести на

прогулку. Однажды его присутствие сменит невыносимая тяжесть отсутствия. Но не сегодня.

– Не знаю, что я буду без него делать, – сказала я матери, которая обосновалась в недорогом поселке для престарелых – милое скопление желтых, стоявших бок о бок коттеджей в Нивоте, – когда достаточно окрепла, чтобы жить одной. Я оставляла с ней Элвиса три раза в неделю, когда ездила преподавать.

– Понимаю, милая, – отозвалась она, глядя, как Элвис идет в спальню и ложится. Это товарищество было на пользу им обоим.

После ее инсульта наши отношения смягчились – так, как тает лед, неохотно теряя свою твердую колкость ранней весной. Моя мать никогда не была склонна к демонстративности, никогда не тянулась обнять или сказать «я тебя люблю». Очень часто я вообще не была уверена, что нравлюсь ей. Я была совершенно на нее не похожа. Когда она заболела, давние разочарования сдерживало в узде мое чувство долга. *Это то, что ты делаешь.* Бывали моменты, когда уход за ней ощущался как огромное бремя, и мне снилось, что оно топит меня в темном море. Тогда я просыпалась, хватая ртом воздух. Однако *что-то* между нами существовало: мы были из одного общества. Я взяла ее фамилию.

Иногда мать поворачивалась ко мне, рассказывала историю моего рождения: «Когда я увидела, что ты – девочка, я расплакалась». Слезами радости.

Мы заключили хрупкий союз: она принимала мои постоянные напоминания о визитах к врачам, лучше питалась и выполняла упражнения, а я принимала ее благодарность. Мы обе избегали будить призраков. Поначалу мать говорила: «Я знаю, ты просто стараешься обо мне заботиться». Потом признавалась: «Не знаю, что бы я без тебя делала».

Со временем мама стала в большей степени той женщиной, какой могла бы быть, если бы не вышла замуж за моего отца, если бы не была так рано обременена детьми и не была вынуждена вкалывать всю жизнь, получая такую малую отдачу. Она очаровывала врачей и продавцов в магазинах. Мужчина, которому принадлежала китайская закусочная за углом, знал ее по имени и часто предлагал доставить еду к ней домой, чтобы она не утруждалась ходить сама. Она смеялась, когда я поддразнивала ее насчет способа, которым она пила диетический пепси, – порциями на два пальца в маленьком стаканчике: *как какой-нибудь крутой парень*, говорила я, – или когда слышала ее дурашливые заявления: «Я не люблю овощи!»

– Ой, *мама*, – вздыхала я сердитым тоном, который смешил ее. Ее губы складывались в кривую усмешку, а потом она

начинала хихикать. Хихиканье уступало место взрывному смеху. Она хохотала и не могла остановиться.

– Ой, *ты*, – отвечала она. – Вот каждый раз ты так делаешь! – и шаркала в ванную.

Иногда, наблюдая за тем, как она становится слабее, на меня напал ужас. Однажды настанет день, когда она больше не сможет жить одна. И что тогда? Бремя физической немощи ее собственных родителей в годы перед рождением Нэнси было источником скорби, от которой мама так не оправилась. Без помощи братьев и сестер она перевезла своих разбитых инсультами стариков из Арканзаса в наш дом в Колорадо-Спрингс, где они прожили почти год, прежде чем перебраться в дом престарелых с медицинским уходом. Слишком много горьких воспоминаний туманили память моей матери, и я понимала, как легко той же горечи затуманить мою.

В ноябре, когда земля промерзла под свежеснег, я позвонила маме, как было у нас заведено, чтобы справиться о ее делах. Все «деревенеет», пожаловалась она, «не очень хорошо двигаюсь». Мне потребовалось десять минут, чтобы перевести это обтекаемое «деревенеет» в тот факт, что она накануне вечером упала и целый час не могла подняться с пола. Утром, призналась она, ей пришлось потратить почти два часа на то, чтобы встать с постели, одеться и сварить кофе.

– Кажется, я потянула мышцу, – вздохнула она, – у меня ноги не слушаются.

Почему она не позвонила?

– Не хотела беспокоить тебя так поздно.

Равновесие было маминой проблемой еще с первого инсульта, но сейчас проблема была большей. Большей, чем она рассказала мне. Я помчалась по горе в отделение неотложной помощи. Мама сломала бедро.

В больнице мне сказали, что восстановление будет долгим – восемь недель на инвалидной коляске. Оно было еще и очень трудным. Специалист-геронтолог рекомендовал маме переехать на постоянное жительство в интернат с уходом. Я проигнорировала эту рекомендацию и не стала рассказывать о ней матери. Вместо этого на праздник Благодарения прилетела Нэнси – из Портленда, куда она перебралась со своим без пяти минут мужем, – как раз к маминой выписке, и мы совместными усилиями обеспечивали ей уход: договаривались о повторных посещениях врачей, составляли расписание физиотерапии и домашних оздоровительных процедур, помогали с купанием и уборкой. Самой трудной из задач оказалось угодить матери, которая раздавала приказы касательно даже самых мельчайших

деталей. Она указывала нам, как стелить постель, как стирать, как пылесосить и убирать. Я начала называть ее «генералом».

– На-ка, убери это, – говорила она, протягивая мне журнал, который я оставила на столе.

Нэнси, которая жила с мамой, приняла на себя главный удар. Маме не нравилось, как Нэнси готовит, и она предпочитала заказывать на дом пиццу и замороженные готовые обеды. А потом стала советовать Нэнси позволять дочери, малышке Аве, «прореветься», и вообще, по словам сестры, надавала ей «больше советов, чем я получила за всю свою жизнь».

Иногда, наблюдая за тем, как она становится слабее, на меня напал ужас. Однажды настанет день, когда она больше не сможет жить одна. И что тогда?

Под конец недели мы с Нэнси объединили усилия, чтобы приготовить на Благодарение любимые блюда каждой из нас: сдобные булочки для мамы, начинку из сушеных яблок с колбасками и домашним клюквенным соусом для меня, а для Нэнси – *fratuda dusa*, блюдо из ароматизированной миндалем манной каши, загущенной яйцами, потом обваленной в крошках от крекеров и ванильных вафель и обжаренной на сковороде. Это блюдо по рецепту, доставшемуся от семьи отца, всегда безупречно готовила мама, которая теперь никак не могла припомнить, как она это делала.

– Используй сливки – никакого цельного молока, – сказала она, когда я попыталась приготовить его сама. – Не помню, там нужны желтки, белки или и то, и другое разом.

Попытка Нэнси была вкусна, но вышла рыхлыми комками вместо аккуратных квадратиков.

– Может быть, в следующий раз просто нужно добавить желтки, – вздохнула мама.

Мы с Нэнси думали, что совместная готовка зарядит нас энергией, но вся радость, которую мы могли бы получить, испарилась, когда мама едва прикоснулась к своему ужину, говоря, что не настолько голодна. Все мы были обессилены. Мать в тот вечер легла рано, надев наушники и ускользнув в мир Арта Белла и его теории заговора, в то время как сестра усадила Аву перед телевизором с диснеевским мультиком и лихорадочно переписывалась с мужем, оставшимся в Портленде. Я же воротилась вместе с Элвисом в хижину.

Спустя десять недель, когда мать, наконец, сменила коляску на ходунки, настала очередь Элвиса. Тем утром он задрал лапу во время своей ежедневной прогулки и оросил сугроб кровью.

Мой мозг лихорадочно перебирал диагностические причины

– отказ почек, рак. *Что с ним такое?*

Вернувшись в хижину, я сделала два звонка – один ветеринару Элвиса, а другой Джудит. Я просто не могла встретить его диагноз в одиночку. До клиники было больше часа езды, но Джудит сказала, что пораньше закончит работу – она работала уборщицей – и встретит меня на месте.

Был солнечный день, довольно теплый для февраля, из тех, что дают маленькую передышку посреди высокогорной зимы. Лонг-Пик был по-зимнему бел, и снежные карманы сплошь покрывали гору, но низменности отливали золотисто-коричневым. Элвис принюхивался к ветерку из окна машины, пока мы ехали на север вдоль прерии. *Кажется, он хорошо себя чувствует.*

В клинике он втиснулся между мной и Джудит на смотровой кушетке, пока ветеринар объясняла нам диагноз: опухоль в мочевом пузыре.

Лорен была небольшого росточка женщиной, бегуньей, питавшей искреннее любопытство ученого-практика к тому факту, что у моего пса ни одна проблема не проявляла себя так, как это описано в учебниках. Она наблюдала его во время полуторалетного периода восстановления после анемии, когда мы вернулись в Колорадо, и за те почти семь лет, что мы с ней встречались, накопила две полные медицинские папки истории его болячек: аллергии, кожные сыпи, выпадение шерсти, артрит, дегенеративная болезнь позвоночных дисков, заболевание щитовидки, а теперь еще и это. Все это время Лорен не теряла бодрости духа, занимаясь странными симптомами Элвиса, точно играя в захватывающую игру в загадки. Когда мы впервые встретились с ней в ветклинике Калифорнийского государственного университета, где она была заведующей отделением медицины внутренних органов, мне потребовалось некоторое время на осознание того, что «детки» у нее дома – это стая спасенных собак. Когда она ушла в частную практику, мы с Элвисом последовали за ней.

Хорошая новость, сказала она, состоит в том, что опухоли маленькие и медленно растущие. Они хорошо отзываются на медикаментозное лечение, которое заодно помогает справиться с артритом.

Лорен улыбнулась и погладила Элвиса по голове. Она знала.

– Это не та болезнь, что убьет его, – сказала она, целуя пса в нос.

Я давно уже считала февраль самым жестоким месяцем – месяцем коротких дней и отсутствия света, когда больше невозможно подсластить пиллюлю зимы праздничной иллюминацией и игристым вином. В порыве, вызванном наполовину наглостью, наполовину отчаянием, я устроила первый тематический ужин «Гребаный Т. С. Элиот» еще в магистратуре Колорадского университета, драматически заявив, что он «принесет свет потемневшему миру». А потом занималась готовкой три дня, выставив пять перемен блюд для каравана моих самых ярких друзей-писателей в честь события, которое, как я обещала, будет «вечером высокой кухни и помпезности».

И февраль был уже на пороге.

Почти пятнадцать лет я тратила весь январь на подготовку, перерывая стопки кулинарных книг и журналов так же жадно, как когда-то ела вафли. *Хрум! Хрум!* Я грезилась о продуктовых сочетаниях с намерением ослепить гостей и составляла списки впечатляющих блюд. Далее приходила тема, после которой составлялось меню. Однажды темой были «Четыре времени года», в меню входил весенний мусс из артишоков и осеннее утиное конфи-рагу. Томатный суп *rappa al pomodoro* олицетворял лето, а рулетики с начинкой из пашинного стейка – зиму. Каждое из блюд сопровождалось «своими» вином и музыкой. В другой год расшитая бисером и одетая в «варенку» компания из Джеймстауна расселась на полу конюшни в каньоне Лефт-Хэнд и лакобилась марокканским тажином с бараниной и бстеллой^[47], хватая еду руками, под игру в разгадку тайны убийства в коммуне времен шестидесятых.

Спустя десять недель, когда мать, наконец, сменила коляску на ходунки, настала очередь Элвиса. Тем утром он задрал лапу во время своей ежедневной прогулки и оросил сугроб кровью.

Все эти годы «Гребаный Т. С. Элиот» был для меня возможностью отвлечься, игривым пальцем, сунутым под мышку года и в мой вечно слишком скудный бюджет. Это было радостное «пшел на», мой собственный праздник.

Но готовила я его всегда одна и только своими руками.

В этом году я была утомлена до мозга костей, усталая от бесконечных забот. Я не высмотрела ни единого рецепта. Январь прошел в ежедневной битве с курганом льда под москитной дверью. В водопроводных трубах образовалась очередная протечка, и из-за бесконечного чередования морозов и оттепелей на террасу постоянно капало. Если бы я ежедневно не занималась отбиванием льда, то не смогла бы открыть дверь. В ход шли все

средства – лопата, топор-колун, скалка. Ледоруба у меня не было. Подтаявший лед сыпался вниз сквозь щели в настиле. Однажды, вернувшись домой из «Мерка», мне пришлось отбивать лед в темноте кирпичом, прихваченным со двора, под аккомпанемент лая и скулежа Элвиса, запертого внутри.

В этом году, решила я, Т. С. будет иным. Я куплю шампанского, поставлю тесто, приглашу свою обычную компанию – друзей, которые умели говорить так же хорошо, как и есть, – и попрошу их привезти с собой ингредиенты для пиццы. Я назначила дату ужина на Валентинов день, попросив придумать такие пиццы, которые вызывали бы ассоциацию с чувственностью, с сексуальностью и страстью, флиртом и желанием.

Вечер выдался морозным даже по февральским стандартам. Снежные хлопья перчили воздух, дразня, летя по косой в метели, которая пришла с сильным ветром с Континентального водораздела. Этот тип «бурана» – порой с густыми снежными вихрями, – как правило, лаял, но не кусал. Снег не задерживался. Элвис потрусил во двор встречать гостей, одетый в комбинезон; он уже чувствовал себя лучше. Внутри дома было уютно от огня в печи и плавающих свечей, мерцавших на всех открытых поверхностях.

Джудит и Дэвид прибыли первыми, привезя закуски – спаржу и баранину, маринованную в розмарине, – ее я тут же выложила на гриль. Джудит набросила тонкую шаль ягодного цвета из ангоры, которую я связала ей на Рождество, на Дэвиде была нежно-лавандовая классическая рубашка.

Элвис громко залаял у двери, как раз когда мы расположились в комнате. Не успела я встать, как в дом легким ветерком влетела Джулия, подруга Элизабет из Рима, сопровождаемая Клинтом и Жак. Джулия, величавая, как статуя, была одета в шелковое платье-футляр и леггинсы с высокими итальянскими кожаными сапогами. Она была историком искусств в Колорадской университете, где я занимала должность лектора, и актрисой, снимавшейся в итальянских порнофильмах, также она сыграла небольшую роль с текстом – Четвертой туристки-лесбиянки – в художественном фильме «Под солнцем Тосканы». Джулия говорила на полудюжине языков. Ее жених Павел собирался приехать позже со своим другом Сидом, который иначе бы встречал свой день рождения в одиночестве. Сид был милым человеком, одним из тех хилых фанатиков-инженеров, которые, кажется, не способны говорить ни о чем, кроме предварительных наблюдательных тестов и траекторий. Его по-калифорнийски светлые волосы были слишком длинны, спускаясь гораздо ниже плеч и образуя несколько напомилавший швабру занавес.

Я подала на стол баранину и спаржу и стала наблюдать, как Клинт – тихий, стеснительный мужчина – заигрывает с Жак. Жак присутствовала на нескольких прежних ужинах Т. С., когда была незамужней, двадцати с чем-то лет выпускницей факультета английского языка Колорадского университета, прежде чем стать корпоративным тренером и замужней матерью четверых детей. Клинт нашептывал ей на ушко, его ладонь нежно касалась ее волос. Жак казалась незаинтересованной, ее голубые глаза следили за другим разговором, но в прикосновениях ее мужа была нежность. Он наклонялся к ней с фамильярностью, характерной для двух людей, которые провели вместе немало времени. Это был общий язык, несказанная близость. Всего на миг я была загипнотизирована тем, что между ними происходило.

Все, что ты делаешь всерьез, – это очень одинокие занятия.

Когда приехали Павел и Сид, я наполнила бокалы шампанским, и мы дружно подняли их.

– За долбаного Т. С. Элиота! – вскричали мы.

Пары одна за другой ускользали в кухню и возвращались с пиццами. Мы ели «Обнаженную пиццу» с чесноком и четырьмя видами сыра; другую – с грибами и мятой, – под названием «Земные наслаждения», по словам Павла, она пахла «как победа». Последней была пицца «Тициан», разумеется, придуманная Джулией, с грибами и трюфельным маслом, листочками поджаренного шалфея и козым сыром, накрытая прозрачными ломтиками прошутто после того, как ее вынули из духовки.

Мы менялись местами с каждой новой пиццей, сидя по очереди на диване и моем единственном стуле или на полу, по которому я разбросала подушки и *дзафу*^[48]. Время чопорной рассадки за столом с приборами и бокалами прошло. Вместо этого мы облизывали испачканные пиццей пальцы, болтали и смеялись. Ощущалась особая близость, которой не хватало в прежние годы. Возможно, разница была во мне. Никакой необходимости спешить мыть посуду, никакой срочности в подаче очередной перемены, никакой горы кастрюлек в раковине. Я просто упивалась всем этим. Для меня это была самая легкая из всех устроенных мной вечеринок.

И самая приятная.

Но не для Элвиса. Он, ныне раздражительный старик, встал у дверного проема в спальню и гавкнул – раз, два. Он хотел, чтобы мы с ним пошли спать; он хотел, чтобы все ушли. После того как он беспокойно побродил туда-сюда между двумя комнатами, я отвела его на подстилку и закрыла дверь. Громкие звуки его

беспокоили.

Мы спели «с днем рождения» Сиду, и я внесла торт из нескольких слоев размолотого шоколадного печенья, ганаша и крема «роки роуд». Сид разулыбался, довольный, как пастуший пес, и задул красные, желтые и голубые тонкие свечечки.

Джулия стонала с каждым отправленным в рот кусочком, театрально вылизала тарелку и проговорила что-то по-итальянски, что наотрез отказалась переводить.

– Иногда, – пояснила она, – бывает нужен другой язык.

* * *

Это была моя лучшая вечеринка в честь Т. С. Элиота – отчасти потому, что, ради разнообразия, я просто позволила ей идти своим чередом.

После того как все разъехались, я перемыла немногочисленные тарелки и бокалы. Ветер, наконец, прекратился, и мир сделался совершенно неподвижен. Я слышала глухой шепот дыхания Элвиса из спальни. Растущая луна мерцала сквозь кухонное окно, и осины стояли серебристыми призраками на фоне усыпанного звездами неба. За заснеженным лугом ухала сова. Кому-то кажется, что это голос одиночества. На самом же деле вопрос «Разве тебе не одиноко?» задавали мне чаще всего после вопроса «Разве тебе не страшно?». Ответ был приклеен скотчем к моему компьютеру – фраза, которую Натали Голдберг услышала от мастера дзен Катагири Роси: «Все, что ты делаешь всерьез, – это очень одинокие занятия». Когда я впервые прочла эти слова, они звучали для меня гимном: я приму одинокую жизнь и не буду бояться. Я хотела, чтобы они напоминали мне о том, что я выбрала, о том, что пространство и одиночество для меня – самое правильное.

Разумеется, бывали моменты, когда жить в горах было одиноко, но одиночество в том смысле, какой имел в виду Роси, постепенно осознала я, в действительности не было изоляцией. Напротив, это было принятие: «одинокий» – это слово, которое описывает, что значит жить глубоко и серьезно. Глубоко погружаясь в мир, ты позволяешь тысячам отвлекающих факторов отпасть и становишься более аутентичным, становишься в большей степени тем, кто ты есть на самом деле.

Лишь на поверхности одиночество было расплатой – ценой погружения, – но отнюдь не ужасной. И благодаря такому большому количеству времени и пространства, времен года и земли я обнаружила столько нежности! Это не сделало меня

слабой. И, как ни парадоксально, я коснулась большего. «Только после того как мы открываем [мир] для себя, – пишет Уэнделл Берри, – мы перестаем быть одни».

Я выглянула в окно. Это был прекрасный ландшафт. Чудесная тихая ночь.

Задула свечи и скользнула в постель, подтянув к себе подушку. С облегчением и легкой печалью я снова оставалась одна.

Глава 11

Книга утр



Прямо перед четырнадцатым днем рождения Элвиса и через пять лет после нашего переезда в хижину у него нашли рак. Опухоль на его спине за лето выросла в три раза, и биопсия обнаружила кровь, смешанную с клетками. Плохой знак. Хирург, который удалял новообразование – гемангиосаркому, – не смог убрать ее целиком.

– Чтобы сделать это, – пояснил он, – пришлось бы отнять половину вашей собаки.

Опухоль была агрессивной, сказали мне, прогноз – скверным. Даже если бы Элвис прошел курс химии и намного более дорогостоящей радиологии, это могло купить ему всего пару месяцев.

– Сколько? – спросила я.

От трех до девяти месяцев.

Конечно, я хотела остановить время.

Моей первой реакцией было натянуть нос смерти. Создать спектакль во славу моего пса. Я отлила бы лапу Элвиса в бронзе, я нашла бы футболок с его портретом и словами ПРОЩАЛЬНЫЙ ТУР.

Но я бы все равно к этому готовилась.

Через несколько дней я отпраздновала день рождения Элвиса – тот день в ноябре, когда взяла его из приюта. Приготовила запеченную курицу и картофельное пюре, еду, которую Элвис любил и которую мы с ним готовили воскресными вечерами в тот первый унылый год, когда я жила в Висконсине, в маленьком портовом городке. Хотя курицу в меню Элвиса давно заменила

утка и другие неаллергенные протеины, в тот вечер я пила пино нуар и любовно кормила своего пса кусочками мяса с бедра, а он благодарно облизывал мои пальцы. Он был одет в футболку, завязанную узлом, чтобы прикрыть восемнадцатидюймовый шов внутри широкого прямоугольника, тянувшегося между его лопатками до самого таза. После этого я дала ему пару ложек ванильного мороженого и именинное печенье, которое купила в зоомагазине.

Через пару недель Райан, дочь Джудит, приехала к нам провести фотосессию. Я хотела, чтобы у меня осталось хотя бы одно хорошее фото нас вдвоем – но фотогеничным был мой пес, а не я. Мы втроем вышли гулять к лягушачьему пруду. К тому времени Элвис был уже достаточно бодр, чтобы прыгать и играть, он галопом несясь впереди нас, и Райан снимала, не переставая. Потом она поставила нас позировать среди осин, рядом со скальным выступом, и попросила сесть на пятнистую зимнюю землю. Небо было глубоким и синим. На каждом снимке проявлялся тот пес, которого я знала: Элвис, валяющийся в снегу; Элвис, приседающий и бросающийся играть; Элвис в полете, в прыжке через белый сугроб. На одном фото он тыкается носом мне в щеку; на другом я крепко обнимаю его, улыбаясь так же широко, как и он.

Моей первой реакцией было натянуть нос смерти. Создать спектакль во славу моего пса. Я отлила бы лапу Элвиса в бронзе, я нашла бы футболок с его портретом и словами ПРОЩАЛЬНЫЙ ТУР.

В итоге меня привязывало к этим дням и делало их памятными вовсе не то, что я запланировала. Напротив, это были мелочи. Утра в хижине всегда были моим ритуалом. Я поднималась перед рассветом, медитировала, разводила огонь в печи, если было холодно, согревала воду и молола кофейные зерна для френч-пресса. К тому времени Элвис был уже во дворе, метил кусты, разнюхивал, что произошло ночью. Он обходил берму дозором летом; зимой трусил по краю дороги, заглядывая к Полу и Терезе на западе, после чего направлялся на восток, гоняясь за кроликами или ища следы койотов, к Стриклендам, а потом бегом возвращался к нашей с ним хижине. Заслышав мягкий стук собачьих прыжков вверх по лестнице, я открывала дверь и впускала его, потом садилась на диван с ноутбуком и чашкой кофе, такого чернильно-черного и густого, что его вкус напоминал эспрессо.

А потом я наблюдала.

Я собирала утра в своем блокноте, как снимают отстиранное

белье с веревки. Всё шло в дело, что бы мне ни предложили. Зимой это могли быть синицы на кормушке и юнко, расклеывающие семена на ограждении и земле. Острый запах надвигающегося снегопада, когда ветер менял направление и несясь вверх по всей горе, или плесневый душок трав, показывающихся над снегом в первую оттепель, после месяцев под настом. Как-то раз это была лосиха, прошедшая по подъездной и через северный луг; она напугала меня в розовом свете раннего утра под конец зимы. Я, улыбаясь, смотрела, как ее длинные ноги задевали мерзлые пяточки грязи и снега, пока лосиха не спеша двигалась к лягушачьему пруду.

Летом это была решительность зарянки, чей настойчивый зов был словно колодезный ворот, на котором поднималось солнце, а за ним следовал звенящий хор сотен птиц. Я чуяла суглинистый запах грязи, когда первые колибри подлетали к кормушке, подсчитывала меняющиеся краски в саду и слушала, как ветер набирает силу на лугу. Воздух гудел от пчел и бабочек; бурундуки сновали вдоль скал, дубонос залетал напиться и искупаться в каменной поилке. Порой слышалась пальба – тренировки стрелков в теплый летний день.

Я обрела свой дом в деталях: в зимнем ветре, в первом намеке на солнце, в цвете рассвета; в треске, который издавала, прогреваясь, печь; в скрипе сосен, летом полных соков, а зимой болезненных, замерзших; в красоте голых осин на фоне зимнего неба, в структуре и качестве снега – то мягкого, то пышного, то колючего; в забавных повадках животных, как, например, той вороны, которая с верхушки пондерозы в летний день напевала *буп-би-ду, буп-би-ду*; в облаках, рисовавших картины в небе или заволакивавших Индиан Пикс непогодой, – и в том же самом небе, чья голубизна была глубокой, прозрачной синевой грез, чьи настроения напоминали мне о том, что у каждого дня есть собственный императив, архитектор всего этого.

Дни проходили за месяцами, месяцы за очередным временем года, и практика вбирания всего этого в себя стала медитацией, а я – свидетелем места. А потом его хранительницей.

Таким же образом я начала коллекционировать утра со своим псом. Как ни странно, за шесть месяцев до своего диагноза Элвис начал будить меня, тыкаясь мордой. Стоило мне пошевелиться в тусклом утреннем свете, как он потягивался и подходил к краю постели, водя носом по матрасу в приветствии. Раньше он никогда так не делал.

– Доброе утро, красавчик, – говорила я, гладила мех, расходящийся в стороны с его щек, и любовно тянула за уши. Он придвигался ближе, кладя на матрас лапу. Приглашение. Я

осторожно помогала ему забраться, подтягивая за ошейник, и он вытягивался вдоль моего тела. Мы вместе приветствовали день.

В те первые недели после его диагноза я была в панике. Я хотела сделать так много. Но однажды в неподвижности утра замерла, внезапно подумав о том, как собирала свои дни на горе. Это был еще один момент, еще одна деталь. Чтобы отметить ее, я вознесла безмолвное «спасибо». Таким образом, я стала собирать каждое утро – без свойственного наблюдателю календаря ощущения убегающего времени, без страха перед тем, что конец, возможно, близок, но с неподдельным счастьем оттого, что Элвис со мной *в этот один день*.

Каким-то чудом недели шли, складываясь в месяцы, потом в сезоны. А мой мальчик по-прежнему был со мной.

Весна

Четыре фута снега, и электричество отключено. Я считала сережки на осинах в переднем дворе – верный знак ранней весны; но апрельская буря их сорвала. С Элвисом в машине я, часто останавливаясь, ехала в Джеймстаун, где, несмотря на непогоду, ЛАМ ставил пьесу – фарс, написанный семью авторами из нашего городка. Я играла роль Эффи, недалекой домохозяйки, которая жульничает в игре в скрэббл с другой супружеской парой. Вечер комически идет наперекосяк, когда супруги решают преподать ей урок, заставив слюнзяво-патриотичную Эффи поверить, будто в ее дом вторглись террористы.

Я стала собирать каждое утро – без свойственного наблюдателю календаря ощущения убегающего времени, без страха перед тем, что конец, возможно, близок, но с неподдельным счастьем оттого, что Элвис со мной *в этот один день*.

Джеймстаун представлял собой сутолоку из машин и снежных гор. Но Ди Джей взял в аренду пару генераторов, чтобы обеспечить свет и отопление, и пьеса шла в городской ратуше при аншлаге. Люди ходили по улицам, перегороженным трех-четырефутowymi снежными стенами, с фонариками, ручными и налобными. Казалось, что через две недели будет Рождество, а не начало мая.

Снег густо валил все два часа, пока я плавно двигалась по сцене в платье в горошек и туфлях-лодочках, гневаясь на злодеев и Джорджа Буша. За это время четырехмильный в длину и пятнадцатифутовый в ширину подъем по Оверленд-роуд

превратился в однополосную дорогу, прорезанную в снегу бульдозером, направлявшимся обратно в Боулдер. Когда пришло время возвращаться домой, я включила вторую передачу, пытаюсь сохранить инерцию, но переключилась на первую, когда мое продвижение замедлилось на этих «американских горках», и гора, долина, даже края дороги растворились в плотной снежной пелене. Все до единой поездки с побелевшими от напряжения костяшками, какие у меня только случались, были попытками добраться домой – после того как бульдозеры давно встали во чреве бури настолько свирепой, что я не видела ни обочин, ни даже жалких десяти футов перед капотом машины. Остановишься – застрянешь. Будешь слишком рыскать – и можешь съехать с края дороги и кубарем покатишься с насыпи. Что хуже всего, встречная машина может въехать прямо в лоб.

Двадцатью минутами позже я таки добралась до дому – и застряла на середине своей подъездной. Тогда я бросила машину и потащилась вместе с Элвисом по колено в снегу к хижине.

В ландшафте приглушенном и сглаженном я уплыла было в сон, навалив на себя горой пуховое одеяло, но резко проснулась от звука сотрясавших хижину ударов. Целые полотнища снега ссыпались в тяжелые кучи с перегруженных ветвей деревьев. Каждый раз Элвис выдавал перепуганный лай, потом снова сворачивался клубком, а я лежала с широко открытыми глазами, слушая, как ветер скребется и шелестит по стенам хижины.

Когда, наконец, в середине мая потеплело, лягушачий пруд оказался полон как никогда и затопил тропинку, по которой мы с Элвисом обходили его в поисках ветрениц и первой сиреневой вики. Элвис давно оправился после операции и, казалось, чувствовал себя хорошо. Он прожил уже больше трех месяцев. Чтобы отметить это, мы предприняли первую весеннюю дальнюю вылазку с Джудит и ее анатолийской овчаркой Кафкой по крутому маршруту к Блю-Джей-Майн, граничащему с Джеймстауном на юге. Элвис бросался вперед, красовался, но дыхание его выдавало серию ритмичных «хах-хах». Старческая одышка. Он покачивался, поднимаясь в гору, взад-вперед.

К тому времени как мы добрались до вершины, я дышала так же тяжело, как и мой пес. Мы остановились на крохотном лужке, где цвел единственный желтый кактус, и стали смотреть на Порфири, гору, граничившую с северной стороной Джеймстауна через каньон.

Элвис споткнулся. Дважды.

– Кажется, для него это слишком тяжело, – сказала я Джудит, глядя, как он пьяно виляет из стороны в сторону. Я взяла его за ошейник, чтобы помочь держать равновесие, но его одышка была

не просто усталостью.

Через десять минут он все еще не пришел в себя. Его передние лапы растопырились, словно он стоял на палубе качающегося судна.

Когда мы выбрали короткую дорогу домой, по лугу к Джеймстауну, я не замечала ни ранней зеленой травы, проклеывавшейся вдоль тающих островков снега, ни солнца, припекавшего мою обветренную зимой кожу. Я держала Элвиса, словно багажную сумку. Казалось, он никак не мог заставить работать задние лапы. Язык вывалился из его пасти, как вялый ломтик мяса. Он издал резкий звук, потом зашатался, пока я вела его к ручью; его мотало из стороны в сторону. Он наклонился и упал.

Я никак не могла выпустить своего пса из рук, пока Джудит везла нас вниз по горе к ветеринару, где Лорен сообщила мне новость: она совершенно уверена, насколько это вообще возможно, что Элвис перенес инсульт.

– Что-то вызвало кровоизлияние в мозг, – объяснила она. – Как правило, это проходит само собой, если только причина – не опухоль.

А если так, сказала она, все станет намного хуже. У него может случиться «сильный эпизод» – припадок. Он может умереть, но может и выжить. Только дорогостоящее МРТ-исследование подтвердит, что именно случилось, но оно, добавила Лорен, ничего не изменит.

Нам придется подождать и посмотреть.

Неуверенность накапливалась в моем сознании, точно птицы, друг за другом сажающиеся на телеграфный провод. Я не хотела быть одна. Дома Элвиса слишком мучила тошнота, он был слишком слаб, чтобы есть. Я позвонила Джудит. Час спустя она приехала с двумя бутылками вина, хорошим темным шоколадом и Кэтлин, подружкой из нашего небольшого книжного клуба, которая привезла свои DVD с сериалом «Настоящая кровь». Мы вместе сели на диван, Элвис спал, привалившись к моим ногам. Джудит откупила вино.

– Что собираешься делать? – спросила она, как всегда, приземленная и глядящая в будущее.

– Не знаю, – я так же хорошо, как она, понимала, что, когда время придет, мне придется решать за Элвиса. – Если это оно, то надеюсь, что все будет действительно ясно.

– Думаю, уже скоро, – сказала Кэтлин.

Я кивнула, заставляя себя думать только о бокале вина в руке, о доброте друзей.

Лето пришло, и, оплатив свой билет, я провела солнцестояние, ужиная итальянским салом и пищей «маргарита» в Риме, прежде чем направиться в Умбрию, на свадьбу Джулии и Павла на маленькой туристической ферме.

Перед отъездом я поцеловала своего пса.

– Если ты решишь уйти, я не буду против, – прошептала я. И говорила честно.

– Вы больше ничего не можете сделать, – сказала мне Лорен. – Вы сделали все, что могли. Поезжайте.

Ее слова наполнились добротой, мягким напоминанием о том, что у нас с Элвисом было так много дней вместе.

Прохладным утром я сфотографировала Элвиса в его новеньком белом рыбацком свитере, который прикрывал по-прежнему неровно обросшую коротенькой шерстью спину, обняла его сиделку, старую подругу, сказала «пока» и направилась в аэропорт.

Римский воздух густо липнул к коже и пах едко и сладко. У меня было предчувствие, свойственное путешественникам, что я смогу возродиться, пока я дивлюсь непривычным птицам и цветам, римскому образу жизни с его поздними ужинами и расслабленной непунктуальностью. В новизне есть некая перспектива. Много лет после того, как Элвис переболел анемией, я заламывала руки, не решаясь покинуть его, убежденная, что мое отсутствие приложило руку к его болезни. Впервые за все время эти мысли отпали. Я действительно сделала все, что могла.

Я жила у Элизабет, своей приятельницы по магистратуре, у которой была первозданно чистенькая квартирка с видом на густо заросший деревьями двор женского монастыря. Ее превосходный итальянский позволял мне покупать чудесную копченую колбасу с бароло на Кампо-деи-Фьори и торговаться за абсурдно дешевые тарелки фирмы *Vietri* в Орвьето. В Фабро я благословила союз Джулии и Павла стихами и восславила «любовь, общую для двух независимых существ». Сам акт был чисто символическим – они официально поженились еще в мае, в собственном дворе, в присутствии меня и Сида в качестве свидетелей. Когда они возложили руки на каравай хлеба, который мать Павла привезла из самой Польши – согласно традиции под названием *зренковины*, – я накрыла их переплетенные пальцы кружевом и процитировала Неруду: «Двое счастливых влюбленных пекут один хлеб».

Двенадцать дней спустя Элвис приветствовал меня своим радостным «вуу-вуу»; он обнял мои ладони, лицо, ноги, даже

шею и ступни. Это была самая долгая наша разлука за восемь лет. Он немного похудел, но энергетика у него была хорошая, и чувство равновесия восстановилось. Мы вместе вступили в лето, каждый день гуляя вокруг лягушачьего пруда, наблюдая за гнездящимися утками и ласточками, с криками носившимися в воздухе. Когда он был в силах, мы доходили до волшебного леса в поисках водосбора.

Язык вывалился из его пасти, как вялый ломтик мяса. Он издал резкий звук, потом зашатался, пока я вела его к ручью; его мотало из стороны в сторону. Он наклонился и упал.

Я стала проводить больше дней в гамаке, читая или наблюдая за облаками. Элвис лежал неподалеку. Я посадила эхинацею, лаванду (снова) и черноглазые анютины глазки на новом садовом участке, который выкроила между домом и сараем, и старалась не гадать, доживет ли Элвис до их цветения.

В июле ко мне на ужин приехали отец и его жена. Я приготовила колбаски, которые провезла контрабандой в чемодане. После пожара у нас с папой сложились осторожные, излишне вежливые отношения бывших противников, и в Рим я летала на накопленные им бонусные мили. В качестве праздничного блюда я подала салат из помидоров с анчоусами и пиццу «маргарита» с рукколой, за которыми последовал стейк из пашины. Мы пили бароло на террасе, нежась на теплом летнем воздухе. Это было приятно, даже забавно, но мне хватило одного раза. Он ничуть не изменился.

Осень

Осень пришла, горячая и золотая, когда Элвис официально пережил свой прогноз. Лето нырнуло рыбой в осенние дни, подпихнутое поздним августовским лесным пожаром в каньоне Формайл, всего в двух горных хребтах от нас. Наблюдая за вихрящейся волной бархатно-оранжевого и красного пламени со смотровой площадки не более чем в полумиле от хижины, я осознала, сколь многое было уничтожено. Элвис обследовал кусты, вынюхивая бурундуков и кроликов, в то время как я следила за столбом черного дыма, поднимавшегося в воздух. Он не видел того, что видела я.

Пожар вырвался из-под контроля почти неделю назад, предъявив права на более чем сотню домов. Лефт-Хэнд-Кэньон, что был сразу за горой от нас, эвакуировали. А Голд-Хилл,

следующий хребет, был в огне. Шеф пожарных Джеймстауна говорил, что сражаться с пятидесятифутовыми языками пламени это «все равно что бороться с огнем в пекле». Плотные дымовые завесы обволакивали мою хижину туманом. Наконец, я загрузила в машину коробку со своими дневниками, фигурку медведя, фото Элвиса и самого Элвиса, чтобы провести ночь у Джулии и Павла. Мой пикап оставался неразгруженным все время пожара. Когда бы я ни покидала гору, моя собака и мой компьютер были со мной. Решение, что брать, далось легко – число моих приоритетов явно сократилось.

Осины изменились за одну ночь. Я была так занята наблюдением за другим огнем, что проглядела, как по горе поднимается их ползучий свет. Столь же важный, как и отслеживание появления цветов по весне, ритуал наблюдения за цветом листьев замедлял скачок из лета в зиму. Вдоль каньонов, сбегаящих к Передовому хребту, листья осин потихоньку приближались к золотому и красному. Осень в любом случае казалась несколько лихорадочной – время слишком быстро утекало сквозь узенькое стеклянное горлышко: нужно было запастись и складировать дрова, снимать москитные сетки, мыть окна и убирать с террасы горшки, снимать кормушки для колибри и вешать на пондерозу кормушки для семян. Но в этом году новый сезон наступал, несясь на всех парах.

Отлив теплых дней был осязаем. Я впервые разожгла огонь в печи в первую неделю октября – это было рано. И хотя я каждое утро проводила с дышащим Элвисом и проговаривала свои безмолвные молитвы благодарности, дни улетали с шелестом, точно журнальные страницы на ветру.

Зима

Минус двадцать пять и долгая февральская ночь, проведенная в тревогах: а ну как трубы замерзнут, или Элвису станет плохо именно сегодня, когда моя машина в двадцати милях вниз по каньону стоит в автомастерской? Ледяные грабли ветра и морозного воздуха явно были слишком сильным испытанием для него. Он впервые выглядел дряхлым, неуверенно стоял на льду во дворе, хромал на замерзших лапах. Его вес резко упал до шокирующих двадцати восьми килограммов. На его задних лапах мышц почти не осталось, позвоночник превратился в перерванную букву V.

Весь мир становился хрупким при таких температурах, когда ветки деревьев ломались, стоило задеть их, и толстый слой льда обнимал каждую поверхность. Снаружи было настолько холодно,

что воздух замерзал кристалликами инея, которые парили, точно невесомые снежинки. Я скатала одеяло и пристроила его перед дверью, где патина инея выросла на нижней металлической планке молдинга. Молитвенные накидки были опущены, и я взяла еще одно одеяло и занавесила им самое большое окно в гостиной. Обогреватель стоял рядом с открытыми шкафчиками, и со всех стеклянных дверей капала испарина. Я опасалась, что очередной перебой с электричеством вызовет отключение обогревающей лампы водяного насоса, и тогда придется пропиливать доступ к насосу в углу хижины, занесенном со всех сторон двумя футами снега.

Когда бы я ни покидала гору, моя собака и мой компьютер были со мной. Решение, что брать, далось легко – число моих приоритетов явно сократилось.

Элвис спал в комбинезоне, поскольку температура в моей неотапливаемой спальне опустилась ниже десяти градусов тепла. Я нарушила свое правило не топить по вечерам, оставляя небольшое пламя на дубовых дровах гореть всю ночь, но держала тяжелую дверь спальни плотно закрытой. Под спальным мешком, положенным сверху на толстое пуховое одеяло, я лежала без сна, прислушиваясь к дыханию Элвиса.

Этой зимой холод ломал волю. Или, может быть, я просто устала тянуть все на себе в одиночку. Мать снова заболела. За плечами было почти два года и больше полудюжины поездок в отделение неотложной помощи, включая и ту недавнюю, по поводу перелома бедра. После очередного раунда консультаций и ангиограмм в Денвере маму назначили на экспериментальную процедуру в конце мая.

– Думаю, мы должны попробовать, – сказал доктор Фри, который провел сотни успешных операций на симуляторе и собирался впервые применить новый метод вживую на пару с еще одним врачом.

Ничто не вечно, даже этот холод, думала я. Утром развела огонь и села на диван вместе с Элвисом. Он навалился на меня всем весом, я обвила руками его шею и держала так, радуясь еще одному дню.

Кода

Прямо перед официальным наступлением весны приехала Джудит. Солнце садилось за деревьями; дни уже стали ощутимо длиннее. Выставив на стол бутылку вина, она тут же полезла в

холодильник, чтобы добыть себе шоколада, запас которого я там держала. Элвис зашевелился в спальне и вышел, приветствуя Джудит на свой неповторимый манер «счастливого хаски», пока я разливала вино в высокие бокалы и несла их к дивану.

Джудит сбросила за зиму двадцать фунтов, перенесла жуткий приступ пневмонии «на ногах». Она стала такой крохотной, что теперь ходила в одежде своей дочери-подростка – леггинсах и джинсах, коротких платяцах в облипку; в том, чего раньше никогда не носила. Ее вечно щебечущая натура, жившая по принципу «давай с этим разберемся», присмирела – глаза потускнели, всегда готовое улыбнуться лицо пошло морщинами. Она выглядела изможденной.

Она призналась, что не может спать. Я спросила, как дела у ее матери, гадая, не в этом ли причина.

– Хорошо пока что, – ответила она, пожав плечами.

За последние полгода Джудит дважды летала в Англию, чтобы побыть с недужной матерью. Но было и что-то еще, что-то такое, чего она, по ее словам, «не могла рассказать», – это было для нас необычно. Что бы это ни было, продолжалось оно уже не один месяц.

– Есть хочу – умираю, – объявила Джудит.

Я поднялась, зажгла свечу на столе и включила крохотную белую гирлянду, обвивавшую стену с деревом. А потом вытащила свои новые тарелки *Vietri*, расписанные ежиками и быками, и положила в каждую по щедрой порции поленты. Сверху добавила говядины, тушенной в красном вине, с грибами и горошком.

– За весну – которая вот-вот наступит, – сказала я с надеждой, поднимая бокал.

– Да, – подхватила Джудит, чуточку слишком радостно.

Ее глаза закрылись, когда она проглотила полную ложку рагу.

– Боже мой, – проговорила она, – я и забыла, как люблю еду.

Мы еще выпили, и разговор зашел о моей матери.

– Надеюсь, Стив прилетит на процедуру в мае. Я собираюсь жить в «Тилте».

Джудит только кивнула.

Наконец, я потребовала:

– Ладно, выкладывай. *Что происходит?*

Оказывается, Дэвид, который только что отметил свое шестидесятилетие, встретил какую-то женщину. Они переписывались по электронной почте после короткого знакомства в кофейне в Мексике, куда Дэвид поехал один, чтобы отпраздновать в ноябре свой день рождения.

– Ему кажется, что он ее любит, – сказала Джудит.

Если бы не боль на ее лице, моим первым побуждением было бы громко расхохотаться.

– Да как такое может быть? – изумилась я.

По словам Джудит, они познакомились в *кантине*, около часа разговаривали, а потом та женщина улетела домой, во Флориду. С тех пор они переписывались.

Он впервые выглядел дряхлым, неуверенно стоял на льду во дворе, хромал на замерзших лапах. На его задних лапах мышц почти не осталось, позвоночник превратился в перевернутую букву V.

Я ни в чем не была уверена, кроме того что ступаю на незнакомую территорию. Я понятия не имела, что произошло между двумя людьми, которые были вместе много лет, но интуитивным побуждением было принять сторону подруги, выставив Дэвида злодеем. *Их брак казался таким идеальным.*

– Что будешь делать?

Она покачала головой:

– Я сказала ему: поезжай к ней и решай.

Я кивнула. Дэвид уехал два дня назад.

– Дерьмо!

– Ей двадцать восемь лет, – тихо проговорила она. Вполовину моложе Джудит. Она прижала кулаки к глазам, всхлипывая, и Элвис встал, чтобы потянуться к ней носом и расцеловать в щеки. Я мягко оттащила его, глядя одной рукой, а второй обнимая Джудит.

Потом, так же быстро, она снова взяла себя в руки. Эта напряженная верхняя губа.

– И теперь?..

– Жду, – она пожала печами.

Мы сидели, прислушиваясь к догоравшему огню в печи. Я наклонилась поцеловать ее в щеку.

– Ублюдок! – бросила я в сердцах.

Она улыбнулась:

– Точно, ублюдок.

Когда Джудит уехала, я улеглась на диван с Элвисом и стала думать о том, как мы в прошлый раз повернули домой, не дойдя до лягушачьего пруда, потому что было слишком холодно. Даже комбинезон Элвиса не спасал. Он тихонько похрапывал, а я гладила редкий свалевшийся мех на его спине.

Мир казался призрачно истончившимся. Я затаила дыхание. Нельзя было знать наверняка, что грядет.

У Элвиса больше недели необъяснимо кровоточили десны. Я часто просыпалась по ночам и слышала, как он облизывается, снова и снова. По утрам на подстилке обнаруживалось розовое пятно. Придется отвезти его на прием к Лорен. На улице крупными хлопьями валил снег. Мир казался призрачно истончившимся. Я затаила дыхание. Нельзя было знать наверняка, что грядет.

Часть четвертая

Сезон изобилия

Глава 12

Любя Элвиса



Утро выдалось ясным и ярким, почти не по сезону теплым. Небольшой ветер потряхивал деревья во дворе. Я лежала щекой и подбородком на голубом флисовом комбинезоне Элвиса. Сон, если и приходил, был рваным. Ночью я слушала, как кричала сова на лугу, из открытого окна слышался шорох ее крыльев.

Позаботиться о моем мальчишке, думала я.

Джулия пошевелилась на диване в гостиной и сонно потерла глаза, когда я пошла варить кофе в кухню. Она ночевала у меня, чтобы я не оставалась одна.

– Ты спала? – спросила она.

В доме было так тихо. Пусто.

У меня было семнадцать месяцев, чтобы подготовиться к ощущению этого утра, к чувству, что внутри моей крохотной хижины слишком много пространства. И все же это чувство вломилось в меня тараном. Где то живое существо, которое следило за каждым моим движением на протяжении почти пятнадцати лет?

Завершение началось два дня назад, после полуночной поездки в клинику неотложной помощи, за которой последовала встреча с Лорен.

Лорен обняла меня на пороге клиники и наклонилась поцеловать в нос Элвиса.

– Привет, красавчик, – поздоровалась она.

Ультразвук показал новые опухоли, пронзившие стенку мочевого пузыря, из-за чего жидкость просачивалась в брюшную полость, причиняя Элвису боль. Через пару дней у него начали бы

отказывать внутренние органы.

– После этого, – сказала Лорен, – все будет развиваться очень быстро.

Она отправила его домой с фентаниловым пластырем, у нас оставалось всего два дня, чтобы попрощаться.

Я боялась потерять Элвиса чуть ли не с того дня, как взяла его. Теперь конец пришел, и перемена была сейсмической. Дело было не в смерти, чьи шаги я слышала давно, как эхо в каньоне, – не ее я боялась, а полной перестройки своих дней и самой себя.

– Я не знаю, кто я такая, – сказала я Лорен, обнимая ее на прощанье, – без моего пса.

* * *

В Джеймстауне Элвис был своего рода знаменитостью. Люди видели его белую голову, высунутую из окна моей машины, всякий раз, когда я работала в «Мерке». После того как ему удалили опухоль на спине, Джоуи разрешал мне вносить Элвиса внутрь, пока я готовила и обслуживала столики. Мой пес сворачивался клубком рядом с кухней, приподнимаясь и дружелюбно приветствуя каждого входящего, виляя хвостом. Он любил людей. Как-то раз я обнаружила, что он создал очередь из машин снаружи «Мерка»: мой пес подпрыгивал, чтобы наградить поцелуем каждого водителя. Мы не раз маршировали вместе с казу-бэндом Джоуи на парадах Четвертого июля, а потом фотографировались со всеми жителями городка, стоя перед «Мерком» или в нижнем парке, у пожарной машины.

Дело было не в смерти, чьи шаги я слышала давно,
как эхо в каньоне, – не ее я боялась, а полной
перестройки своих дней и самой себя.

«А где Элвис?» – часто спрашивали люди. Он был двойником моих дней. Мой автоответчик говорил: «Вы позвонили Карен и Элвису». Моя мать присылала ему поздравительные открытки. Друзья знали, приглашая меня к себе, что я приду с Элвисом.

Я всегда говорила, что этот пес – лучшее из того, что есть во мне. Элвис любил людей естественно, так, как я никогда не умела. Он был моим посланцем доброй воли, моим сердцем; и вот теперь я должна была со всем этим распрощаться.

Всего неделю назад я смотрела в свете раннего утра, как Элвис бежит по следам во дворе, вынюхивая койота и лису. Он неловко пробирался между камнями, съезжая вбок на скользких поверхностях, его тело скользило там, где следовало ступать,

спотыкалось там, где следовало прыгать. Он даже не представлял, что состарился. Его походка была скованной и зажатой; лапы не столько ступали по земле, сколько вцеплялись в нее. Но хотя его тело с наростами, проплешинами и тающими мышцами балансировало на краю дряхлости, его разум – тот самый любознательный, радостный разум хаски – никуда не делся. Элвис галопом мчался исследовать утро. Когда он возвращался, прыгая между соснами и все еще голыми осинами, им двигал чистый энтузиазм, словно он обнаружил самую удивительную вещь на свете. Хриплый и задыхающийся, выдыхающий свое курильщицкое, одышливое «хах», Элвис своей широкой ухмылкой говорил – *какой нынче прекрасный день!* Япустила его в дом, но он был весь – радостное волнение: «Эй, весна настала – пойдём туда!» Он потрогал меня лапой, когда я села на диван, готовясь работать, и смотрел на меня этим своим взглядом «ты знаешь, чего я хочу», а потом пошел обратно к двери.

Раздраженная, я снова выпустила его, на сей раз без комбинезона – исследовать подтаивающий двор, новых весенних птиц, новые следы в грязи рядом с дровяной кучей. Он бродил туда-сюда, в дверь и из двери, пока я, наконец, не сдалась, и мы вместе пошли к ранчо Кушманов, огибая озеро в центре покато́го пастбища, по краям которого выстроились сосны и ели, по двусторонней грунтовке, бегущей через него. Это был мой любимый вид на горе. На одном гребне стоял старый амбар и пастуший дом. Летом коровы шли на водопой через заросли бородача и дикого проса. Элвис трусил передо мной, обегая вприпрыжку дальнюю оконечность озера, – белое пятнышко на горизонте. В воздухе пахло землей и плесенью. На мне была джинсовая юбка, флисовая куртка и потертая белая ковбойская шляпа. На гору пришла весна.

В тот день он умолял о прогулке – тот пес, которого я всегда знала, – но спустя неделю слабость и рвота заставили нас ехать в отделение неотложной помощи. И всё. Не было никакого постепенного заката, никакого мучительного многомесячного конца, в процессе которого я снова и снова задавалась бы вопросом: *пришло время или нет?* Я просто поняла. Сразу.

И у меня родился план.

Я выбрала субботу, через два дня после нашей встречи с Лорен, что давало мне еще один последний полный день с моим псом. Акупунктурист Элвиса и ветеринар, жившие напротив меня через Оверленд-роуд, предложили домашнюю эвтаназию. Я созвала друзей, назначив каждому свою роль в прощании с Элвисом.

Элвис провел неудобную ночь после нашей встречи с Лорен.

Дыхание у него было затрудненным, и он не находил себе места. Я спала на его конце кровати, кладя руку ему то на спину, то на грудь. Утром он был настолько опьянен опиатами, что мне пришлось снести его по лестнице во двор, где он встал, шатаясь, потом присел пописать всего в двух шагах от того места, где я спустила его с рук; взгляд его был расфокусированным, отстраненным.

Я видела, что дело не в боли, а в лекарствах. Растерянный и встревоженный, Элвис боролся с морфиновым туманом. Не успела я помочь ему подняться обратно в дом, как он попытался сам взойти по ступенькам и опрокинулся, приземлившись с глухим басовитым стоном.

– Держись, миленький, – сказала я, подхватывая его, как новорожденного теленка, и неся вверх по лестнице.

В доме я сняла пластырь. Уход в фентаниловый туман – это был не тот конец, которого я хотела для своей собаки. Наши совместные дни были сотворены из энергии и чистой радости Элвиса. Пусть такой будет и его смерть.

Лизе я позвонила первой. *Сможет она приехать сегодня, а не завтра?* Следующие звонки были друзьям, которые переиграли свои расписания и отменили занятия и клиентов.

Отложив телефон, я подошла к центру хижины. Моя жизнь опиралась на тысячу крохотных ритуалов – зажигание свечей, трапезы, медитация, составление молитв на бумаге, которые я сжигала в печи, или на молитвенных флагах, которые вывешивала снаружи дома. Я приветствовала времена года и просила о переменах. Я праздновала союзы, рождения и выживание. И вот, впервые, мне предстояло праздновать смерть.

У меня не было четкого представления о том, что случится с духом Элвиса после его смерти, но я понимала: мой долг – обратиться с определенными просьбами от его имени. Я всегда чувствовала, что дать Элвису достойную жизнь отчасти будет означать – дать ему достойную смерть.

Я позволила своему голосу наполнить дом.

– Сегодня – тот самый день, – сказала я, – да будет он добрым.

В этот момент не было на свете силы, способной отказать мне.

Потом я пошла в спальню и легла рядом с Элвисом. Он слабо поцеловал меня, и я начала плакать.

– Пора, приятель, – объясняла я. – Твое тело больше не справляется. – Я почесала его за ушами, провела ладонями по спине. – Я буду все время здесь, с тобой.

Слова посыпались сами. Он был моим лучшим другом, моим

мальчиком, говорила я. Он всегда будет со мной. Элвис спокойно смотрел на меня и продолжал лизаться. Я свернулась рядом с ним, слушая, как он дышит, положив ладонь ему на грудь возле сердца. Мы лежали так долго.

Через некоторое время я встала и начала сдвигать мебель, чтобы освободить пространство в гостиной, и все смогли сесть на пол с Элвисом. Кэтлин приехала первой, чуть ли не на два часа раньше назначенного времени. Облегчение. Я не слишком хорошо была с ней знакома, зато точно знала, что она любит собак. Ее тихое присутствие фокусировало меня; я спокойно делала то, что нужно было сделать, пока она безмолвно сидела с Элвисом.

Моя жизнь опиралась на тысячу крохотных ритуалов – зажигание свечей, трапезы, медитация. Я праздновала союзы, рождения и выживание. И вот, впервые, мне предстояло праздновать смерть.

Я включила спокойную музыку, потом приготовила для Элвиса запеченную курицу и картофельное пюре. К этому моменту я уже не пыталась скрыть рыдания.

Один за другим приезжали друзья. Джудит привезла колокольчики, Рэйнбоу – книгу стихов. Джоди, с которой я дружила тридцать лет, – мичиганский можжевельник для благословения перед его уходом.

Неожиданно приехала Карен Зи. Пару лет назад мы серьезно поссорились, после того как я была одной из трех человек, работавших на строительстве пристройки к ее крохотному домику на Уорд-стрит. Доведение дел до конца не было сильной стороной Карен, и она слишком часто затрудняла процесс и для своей племянницы Рейчел, и для меня. Мы обе отдали этой стройке по целому месяцу лета, сами вызвались помочь Карен – которая сидела на более чем скудном бюджете, пытаясь бежать против течения рефинансирования, – и сэкономить ей деньги. Мы залили фундамент, покрасили новые стены и покрыли дом черепицей, уложившись в жесткий дедлайн. Однажды после того, как из-за Карен дело в очередной раз встало, я сорвалась, и у меня случилось то, что можно назвать только истерикой. Карен выгнала меня вон.

Мы кое-как залатали самые пострадавшие части своих раненых чувств, но больше не гуляли вместе с собаками и не ходили пить пиво. И все же я пару недель назад обмолвилась ей в «Мерке», что, возможно, ей вскоре придется приехать повидаться с Элвисом. Карен всегда была его защитницей. Мне пришло в голову, когда она подъезжала, что – да, конечно, ей следовало быть здесь.

Элвис приковывал в гостиную, чтобы поздороваться с Карен, и устроился на своей подстилке, все заняли свои места на полу вокруг него. Я попыталась в последний раз предложить ему курицу и пюре из своих рук. Он принял и отвернулся. Действие фентанила прекратилось – он уже не был захмелевшим и сбитым с толку, – но его внимание фокусировалось на периферии комнаты. Его глаза были темны, взор отстранен.

Пока мы ждали Лизу, Джудит спела «Ты мой солнечный свет» – песню, которую я пела Элвису сотни раз, когда мы с ним вместе ехали по шоссе. В свою очередь, каждый из присутствующих рассказал какую-нибудь историю об Элвисе. Рэйнбоу извинилась за то, что не выбрала стихотворение заранее.

– Но я только что открыла книгу, – сказала она, – вот на этом стихотворении Фрэнка Йерби. Мне кажется, оно прекрасно.

Стихотворение было озаглавлено «Ты – часть меня» и заканчивалось обращением: «Я никогда не познаю сожалений, не зная волшебства, способного освободить ту часть тебя, которая есть часть меня».

Мы навсегда будем связаны, этот пес и я.

Приехала Лиза и выбрила небольшое местечко на теле Элвиса для инъекции. Она дала ему валиум, чтобы он оставался спокойным, и подождала, пока лекарство подействует.

Через пару минут Элвис взглянул на Лизу, потом перевел взгляд на выбритое место на ноге, потом снова уставился прямо на нее.

– Он готов, – сказала я.

Обняв его за голову, я посмотрела ему в глаза и прошептала:

– Ты мой мальчик. Я люблю тебя.

Я продолжала шептать ему на ухо и гладить, прижавшись к нему лицом. Его голова приклонилась ко мне – любовно, как это делают только хаски, – и потом, постепенно, он осел на меня всем весом, когда его сердцебиение замедлилось и удары стали слабее.

– Все хорошо, все нормально, теперь можешь уйти.

Когда его грудь под моей ладонью затихла, Лиза проверила пульс, и я прошептала:

– Спокойной ночи, милый принц. – Поцеловала его в нос и морду. – Мое сердце принадлежит тебе.

Лиза кивнула мне. Внутри хижины зазвенели крохотные колокольчики.

Всего через пару секунд я выпрямилась, не отнимая руки от груди Элвиса.

– Мы должны ехать!

Моя спешка была вызвана желанием, чтобы Элвиса кремировали в тот же день. Мне невыносима была мысль о том,

что его тело останется лежать неухоженным в одиночестве на всю ночь. Карен Зи связалась с частным крематорием для животных за пределами Форт-Коллинза, куда я ездила с ней, когда умерла София, и они договорились, что нас будут ждать до половины пятого.

Я заранее опустила заднее сиденье своего внедорожника, чтобы можно было ехать с Элвисом; его походная подстилка – красно-бело-синий плед в клетку, оставшийся после одного из Четвертых июля в Джеймстауне, – была разложена в задней части машины. Я взяла его на руки, как делала много раз, подсунув руки и подхватив под грудью, и вынесла из дома. Забравшись в машину, я легла рядом с ним, нащупывая шелковистые перышки его лап и бархат ушей. Его кожа уже твердела, морда перестала быть умильной и мягкой. Я закрыла глаза. Джудит ехала с Джулией на переднем сиденье, а Карен Зи следовала за нами вместе с Сэнди в собственной машине. Я проводила руками по всей длине тела Элвиса; привычность ощущений таяла. К тому времени как мы часом позже добрались до места назначения, я поняла, что его тело именно этим и стало – *его телом*. Я поцеловала его в последний раз и сняла с шеи ошейник.

Белый мех Элвиса стал черным в тот же миг, когда его тело коснулось пламени. Я, всхлипывая, закрыла глаза.

Люсиль, веселой женщине с рыжими волосами, недоставало – и *слава Богу*, подумала я, – сиропной почтительности, которой грешат столь многие служащие похоронных контор. Она приветствовала нас, когда мы подъехали. Помогла мне сделать отпечаток лапы Элвиса и вручила ножницы, чтобы срезать клочок его шерсти, и мы с Карен Зи окурили его тело привезенным Джоди можжевельником – для благословения. Внутри здания Люсиль и еще одна женщина уложили тело Элвиса на металлический поднос. Потом она вручила мне толстую кожаную куртку и перчатки и велела «толкать сильно и быстро – там будет жарко».

Эта часть смерти Элвиса была самой важной. Я натянула куртку и перчатки и в последний раз прошептала Элвису: «Беги!» – а потом положила ладони на его таз и плечи; дверца печи открылась, тележка наклонилась, и я пихнула ее изо всех сил. Нам нужно какое-то слово для должности распорядителя смерти. «Повитуха» не годится. Этот акт – ритуал возвращения, отдачи. И он священен.

Белый мех Элвиса стал черным в тот же миг, когда его тело коснулось пламени. Я, всхлипывая, закрыла глаза.

Мы с Карен Зи пошли прогуляться вдоль Каш-Ла-Пудр, а Джулия и Джудит отправились поискать еду. Тополя выстроились вдоль небольшого ручья. Солнце согревало землю под нашими ногами.

Спустя час Люсиль позвала нас назад. Когда она подняла тяжелую металлическую дверцу, там остались лишь крохотные кусочки костей. Люсиль выскребла прах и косточки длинным мастерком на предмет, похожий на химический поднос. От осколков, из которых когда-то состоял скелет моего пса, исходило красное свечение, как от углей. Когда они остыли, Люсиль стала перебирать розоватые и зеленоватые фрагменты длинными щипцами. Мне вспомнилась тревога, с которой я перебирала золу и пепел моего дома, ища там что-то, что напоминало бы мне о моей жизни, – все, что я потеряла, кем я была. Теперь же было иначе. Я ощущала любопытство, а не отчаяние. Кости Элвиса, его основа, лежали передо мной. Я представляла, как эти кости соединяли и удерживали кожу, воображала, как они скакали и прыгали. Каждый кусочек был драгоценен, каждый – аффирмация жизни, которая была нашей общей.

– Это минералы – объяснила Люсиль, – указывая на цветовые оттенки костей. – Он был собакой, о которой хорошо заботились.

Она протянула мне щипцы и позволила выбрать те кусочки, которые я хотела забрать: пару костей фаланг, ломтик ребра, часть позвоночника, большеберцовую кость и, что самое удивительное, два зуба.

– Вам повезло, – заметила она. – Они редко остаются.

Остальные кости отправились в мельницу, которая превратила все, что осталось от Элвиса, в мелкий прах – его едва хватило, чтобы наполнить пластиковый пакет, вставленный, как ни абсурдно, в шкатулку для кулинарных рецептов, украшенную голубыми цветочками.

* * *

На следующее утро Карен Зи приехала, как раз когда я налиwała кофе. После того как умерла ее София – мы с Элвисом жили тогда в Джеймстауне, – она взяла с меня обещание привести к ней на следующий день Элвиса, чтобы отправиться на нашу обычную утреннюю прогулку.

– Если я сейчас этого не сделаю, то больше не сделаю никогда.

Теперь она возвращала мне любезность, взяв с собой Мэгги, последнюю из череды спасенных ею золотистых ретриверов.

Втроем, вместе с Джулией, или, точнее, вчетвером, мы обошли вокруг лягушачьего пруда; всего пару дней назад я и Элвис, гуляя здесь, повернули обратно под ледяным ветром.

Утро было ярким и прохладным, но не холодным, небо – того колорадского синего цвета, который вселяет мысль о том, что все возможно. Я надела свою самую тонкую куртку. На верхней точке маршрута, в том месте, где можно повернуться и взглянуть через обрамленные осинами болотистые земли на гору Сотус и неровную грань водораздела, расцвел единственный цветок ветреницы, первый в этом сезоне. И вскоре должно был последовать время обновления.

Мы шли, не разговаривая, наблюдая за Мэгги, которая вертелась на тропе.

– Она счастлива, – сказала Карен.

В тот вечер я отправилась в «Мерк», чтобы послушать субботнее выступление музыкантов и выпить пива. Необычный для меня поступок. Не знаю, в чем было дело – в пустоте хижины или в потребности быть с другими. Я уже получила почти пятьдесят писем от друзей, приславших соболезнования в связи со смертью Элвиса, и местная доска объявлений запестрела словами в память моего пса, когда весть разнеслась по городку. Внутри тускло освещенного кафе с его сосново-зеленым полом и китчевыми лампами в тканевых абажурах почти каждый подошел ко мне, чтобы сказать, как ему жаль мою собаку.

– Не могу представить вас без него, – сказал Майлз, мужчина, на большеглазом лице которого навсегда застыло удивленное выражение, словно жизнь была сплошным актом ошеломленности и озадаченности.

Вернувшись домой, я лежала без сна, прислушиваясь к первому весеннему грому, рокотавшему на горе, к эхо, доносившемуся издалека, к горе, которая пела песнь перемен.

* * *

Я знала, что Элвис прожил прекрасную жизнь, что он был псом-счастливчиком. Но и я была счастливицей. Любовь собаки – это не мелочь. Каждый миг моих дней с ним менял архитектуру моего сердца. Моя жизнь была больше, богаче, глубже и серьезнее, потому что я взяла к себе домой этого пса с шипастым ошейником. Он был моим гуру, моим богом, моим бодхисаттвой.

Скорбь накатывала на меня странными волнами. Поначалу я открыто рыдала – перед незнакомыми людьми, по телефону, в разговоре с бабушкой, любительницей животных, жалуясь

друзьям или гуляя в одиночку, – и мне казалось, будто скорбь отмывает меня дочиста. Я не чувствовала себя разбитой. Напротив, моя печаль была подтверждением тому, что я любила глубоко. Элвису была нужна я, чтобы держать светоч между миром живым и миром мертвых: это я делала, и этого не отменить. Такова работа любви.

Я думала, что успешно справлюсь. *Разве я не готовилась?*

Но у скорби есть тысяча личин.

Несколько дней после смерти Элвиса я ощущала безмерное облегчение, странную жизнерадостность. Я была в эйфории, моя постоянная тревога растворилась в легкости. Отчасти причина была в том, что, как выразилась Джудит, Элвис «причинил мне добро». Его уход был идеальным: он жил вплоть до того дня, когда умер.

Но спустя неделю, когда потрясение прошло, моя эйфория сменилась пустым, голодным чувством. Я была уверена, что ощущаю присутствие Элвиса в первые дни после его смерти. Но теперь я не чувствовала ничего. Вместо этого я занималась рутинными делами, как будто он все еще здесь, – автоматически опускала стекло заднего сиденья машины, чтобы он мог высунуть наружу голову, ждала мягкого *тамп-тамп* его лап по террасе, наливая себе утренний кофе, прислушивалась к его дыханию по ночам.

Раздосадованная, я позвонила женщине, понимающей язык животных, которую звали Рианной. Я пару раз консультировалась с ней – и с хорошими результатами: *он не умирает, нет, он пока не готов уйти*. Во время болезней и недомоганий Элвиса она каждый раз, без исключения, оказывалась права. Я доверяла ей.

Поначалу я рассыпалась в извинениях, но она уверила меня, что люди часто звонят ей после смерти своих любимцев. Стесняясь, я объяснила, что разрываюсь в противоположных направлениях: я знаю, что Элвис ушел, и все же меня опустошает ощущение, что я больше не могу обнаружить его во времени и пространстве. Я не могла его почувствовать.

– А я думала, что смогу, – договорила я.

Рианна сказала мне, что Элвис «решил задержаться рядом» на пару недель или месяцев, «а потом он уйдет с Духом Стаи». Слушая ее, я воображала собрание волков, сидящих в туманном ландшафте, как на какой-то абсурдной, голубой с серебром, нью-эйджевской картине. Из этих – прозрачных, сентиментальных и банальных.

Нет, подумала я. *Слишком абсурдно, даже для меня.*

Под конец она сказала, что «Страж придет забрать его».

Я повесила трубку, совершенно несчастная. Смерть – это

смерть. Отсутствие, которое она оставила, лишило мои дни красок.

Любовь собаки – это не мелочь. Каждый миг моих дней с ним менял архитектуру моего сердца.

На следующий день у меня случился первый приступ паники. Я приехала домой после йоги и очередной напряженной поездки вверх по каньону. Гром скатывался с гор, и завеса пухлых, несомых ветром хлопьев яростно атаковала воздух. Я ничего не видела уже в пяти футах перед машиной. Приехала в темную хижину, где не было пса, который встретил бы меня, и легла в постель с сильно бьющимся сердцем, не находя покоя. И пролежала без сна четыре часа. Плечи горели, разум тикал тяжким метрономом в такт сердцу. *Слишком много йоги? Сердечный приступ?* Я приняла успокоительное и аспирин, просто на случай, если дело во второй причине, и постаралась дышать медленно и глубоко. Снег падал с деревьев над домом на крышу с мягкими ударами.

На следующий день он уступил место теплему весеннему ветру, и ландшафт растворился в лужицах и прудах. Первая голубая сойка появилась у лягушачьего пруда, а за ней последовали плачущие горлицы.

На следующей неделе снова выпал снег. Я беспокоилась за колибри, которые могли вернуться в любой момент. Развесила кормушки и старалась постоянно очищать их ото льда.

Через пару дней это случилось снова. На сей раз я проснулась, испуганная, сердце скакнуло, как встревоженная лошадь, когда порыв ветра врезался в хижину. Неудержимо дрожа, я натянула спальный мешок поверх стеганого одеяла. Выпила бутылку воды и снова приняла аспирин и успокоительное. Часы тикали, провожая час за часом, снаружи завывал ветер. Сердце колотилось все сильнее и сильнее, пытаюсь заполнить звуком глубины Вселенной в поисках Элвиса. Наутро я чувствовала себя так, будто и вовсе не спала.

К тому времени как это случилось в третий раз, проснулись медведи – я видела первого на пересечении каньонов Лефт Хэнд и Джеймс; но колибри так и не появились. На этот раз я взялась за телефон. Джудит, которой прописали слишком сильное болеутоляющее из-за грыжи диска после автомобильной аварии, уехала в Боулдер после спровоцированной опиоидами ссоры с только что вернувшимся из Флориды Дэвидом – эта ссора разбила остатки их брака вдребезги; она не могла приехать на выручку. Я позвонила Джен, женщине с моих литературных курсов, она была фельдшером в джеймстаунской добровольной бригаде

неотложной помощи; три SOS-сообщения, оставленные на автоответчике, ни к чему не привели. Тогда я попробовала позвонить Рэйнбоу. Была половина первого ночи.

– Я приеду забрать тебя, – просто сказала она.

В своем крохотном домике на берегу Джим-Крик она укутала меня в одеяло, заварила успокоительный чай и уложила на кровать в нише, где обычно спал ее сын Кофи, а остальная семья – она, муж, сын и новорожденная Джуна – спала вповалку на громадных матрасах, сдвинутых вместе на полу спальни – крытой веранды, выходившей окнами на восток.

На следующий день мое сердце снова горело, в груди была тяжесть. Я уехала домой, в свою пустую хижину. Здесь было средоточие скорби: я совершенно внезапно поняла, что жду возвращения Элвиса – словно он каким-то необъяснимым образом временно был в отъезде.

– Он ведь не вернется, правда? – сказала я матери по телефону.

Я тосковала по его телу, его присутствию. Я хотела *видеть* его.

Эту боль я несла с собой – долго. Она тянула меня в поездку в Таос и в одинокие летние походы по горе. Мне нужно было найти новый способ любить Элвиса, отличный от того, которым я любила его почти пятнадцать лет.

* * *

Через семь недель после смерти Элвиса мне приснился сон: я была у Джудит и Дэвида, в пустом доме. Элвис остался снаружи. Была ночь. Беспокоясь, что он станет добычей пумы в своем дряхлом и слабом состоянии, я открыла дверь и позвала его по имени. Снаружи собралась стая собак. Они были всех форм и размеров – коллекция из собачьего загона, подумала я. Одна собака поднялась, когда я позвала, и вошла в дом: это была Сэнди, золотистый ретривер Карен Зи, умерший больше года назад. Я снова позвала Элвиса, свистнув ему, и он внезапно появился, как часто бывало на тропе, – выпрыгнул ниоткуда и устремился прямо в дом, ухмыляясь. На его плечах были крылья. Во дворе какой-то мужчина, похожий на бухгалтера в толстых очках, в классической рубашке с короткими рукавами и с галстуком, махал руками. Элвис бросил на меня один взгляд, потом стал смотреть на собак. Потом он подпрыгнул, пролетел сквозь стекло от пола до потолка и исчез.

Я с ранних лет училась изолировать себя от людей и мира. Я считала, что веду себя умно. Но потом Элвис влез между нагрудным панцирем и моей кожей.

Тибетская буддийская традиция гласит, что душа странствует сорок восемь дней после того, как умирает тело. Ее задача – заблудиться, чтобы на сорок девятый день она могла возродиться. Как-то раз я видела документальный фильм, в котором монахи совершали бдение над разлагающимся телом другого монаха на протяжении семи недель, распевая молитвы, чтобы помочь проводить его душу в следующий мир.

Этот день был сорок девятым после того, как умер Элвис. Все это время он был со мной. Но я не видела этого – ни в вóроне, который слетел на двор, чтобы съесть последнюю трапезу Элвиса – остатки курицы, выложенные на пень, и целую минуту смотрел мне в глаза своим таинственным черным глазом с ограждения террасы; ни в песне Элвиса Пресли, игравшей по радио, когда я покупала продукты; ни в уханье совы, которое я слышала три вечера подряд ровно в то время, когда умер Элвис; ни в ощущении лапы, ступившей на кровать, от которого я проснулась однажды ночью. Я записывала все это в своем дневнике, собирая кусочки дней без Элвиса, слишком сосредоточенная на старании увидеть его тело, а не его присутствие.

На пятидесятый день после ухода Элвиса я проснулась, одновременно смеясь и плача. Он всегда подрезал мое колючее эго, мое отношение «да пошли вы», мою потребность контролировать все и вся. Всякий раз как я была из-за перспективы потерять его, суежилась, когда он не хотел есть, вопила и уговаривала его вернуться на тропу, безрассудно и бессонно беспокоилась о его здоровье, – его реакция всегда оставалась одинаковой. Вся она заключалась в том моменте, когда он кувырчался в снегу, когда горел мой дом:

Как это прекрасно – быть живым.

Не относиться ко всему этому – и, главное, к себе – слишком серьезно.

Единственная сила, достаточно мощная, чтобы учить этому, – любовь. Не любовь родственных душ и карамельных сердечек, но та сила, которая повелевает звездами, сердцебиение Вселенной.

Я с ранних лет училась изолировать себя от людей и мира, в котором было слишком много опасных неопределенностей. Я считала, что веду себя умно. Я оседлывала коня и уезжала в закат, одиночка, вооруженная и неуязвимая. Но потом Элвис влез между нагрудным панцирем и моей кожей.

Я думала, что завожу себе спутника своих дней, попутчика на

походных тропах, друга; но под конец Элвис встал на пороге дикого мира, реального мира, виляя хвостом и показывая путь. *Давай же, говорил он, между небом и землей еще столько всего...*

И так оно и было.

Глава 13

Яджна – огненная церемония



В голубом свете раннего августовского утра я сидела со скрещенными ногами, завернувшись в шерстяные одеяла, перед огнем, языки которого вздымались из глубокой церемониальной ямы. Было полшестого утра. Вокруг меня: стены, расписанные образами Ганеши, слоноподобного божества, устранителя препятствий, и Ханумана, преданного воина-обезьяны Рамы, который перепрыгнул океан с горой на спине. Снаружи лесной воздух был тронут первым осенним запахом влажной земли. Хотя гора все еще была укрыта по-летнему зелеными травами и листвой, в воздухе присутствовала острота разложения, затхлость начинавших буреть листьев. *Всего этого не станет за месяц,* думала я.

Напротив меня, за краем поднимавшейся ярусами квадратной ямы, сидел мужчина лет двадцати с небольшим, с длинными вьющимися каштановыми волосами и ясными голубыми глазами. Он пел на санскрите, языке, пропитанном звуками, которые, по слухам, способны перестраивать молекулярные структуры. Он брал щепотки масалы из миски правой рукой, подносил к сердцу, а потом бросал смесь льна и риса в пламя. Я делала то же самое. Внизу перед нами сосновые поленья ошетикивались искрами, поднимался дым.

– Огонь священен, – говорил этот мужчина. – Он выжигает любую карму. Он очищает душу.

– Сваха, – отзывалась я, рассыпая масалу под ритм пандитской молитвы. *Да будет так.*

Когда я выцелила этот ашрам из длинного ствола поздней

весны, моя жизнь была битком набита работой, тревогой и скорбью. Я предвкушала горное лето, когда буду заново учиться жить одна, но все надежды пошли прахом перед лицом очередной чрезвычайной ситуации: хрупкое здоровье моей матери, в последние годы скользившее вниз так, как съезжают по горному склону кусочки снега размером с наперсток, перешло в свободное падение. Моей семье предстояло снова воссоединиться и возродить свои худшие черты. Вместо того чтобы тихо печалиться, я потратила постепенно теплеющие месяцы весны и лета на демонстрации с биением себя в грудь перед братьями и сестрой, пока мы решали, кто, чем и когда будет заниматься.

Удобно начинать день со сжигания прошлого, с напоминания о том, что все, что у нас есть – это настоящее.

К этому времени сил у меня не осталось. О двойственности положения сиделки говорят мало. Бремя множества тревог, огромной ответственности, усталость и мрачность, что усиливаются со временем... Братья и сестра ссылались на свои семьи и обязанности как причины для ограничения своего участия – и вполне обоснованно; но я, поскольку находилась так близко в географическом смысле и поскольку у меня не было собственной семьи, не могла претендовать на такую привилегию. Я чувствовала себя обязанной матери, но после полных шести лет, когда я первой отзывалась на ее нужды, мне необходимо было убежище.

Ашрам Шошони был двойником огромного саманного, с деревянным сводом здания в Эльдорадо-Спрингс, чуть к югу от Боулдера, где мы с Джулией занимались по понедельникам йогой. Это был легкий выбор – всего тридцать миль к югу от моей хижины вдоль шоссе Пик-ту-Пик. Я могла сбежать туда на неделю без дополнительного финансового бремени авиаперелета или долгой поездки в машине, не опасаясь, что буду вне досягаемости в случае, если состояние матери внезапно резко ухудшится.

Тем утром я была единственной гостьей при проведении *яджны*, первого ежедневного ритуала в ашраме – до мантр, до йоги, до завтрака. Удобно начинать день со сжигания прошлого, с напоминания о том, что все, что у нас есть – это настоящее. Храм был достаточно велик, чтобы в нем могли сидеть до сотни людей, но сейчас там были только я и пандит перед концентрическими красным, белым и черным квадратами, отмечавшими место жертвенной огненной ямы. Снаружи расцветал день, солнце вставало над горой, и в храм вползал свет. Подавала голос утренняя горлица, с тем самым своим воркованием, которое я

любила, таким полным неизбывного желания. Поднимался дым. Сваха, сваха, повторяла я.

Так много всего случилось.

* * *

В начале мая, за три недели до очередной операции аневризмы у мамы, я отправилась в Таос с Джулией. Что-то тянуло меня на юг, в то же место, где я пыталась спастись от скорби, вызванной своим сорокалетием и потерей плодов почти двадцати лет работы. Теперь, семь лет спустя, это была пустота моей хижины, отсутствие Элвиса, весна, которая продолжала вбрасывать снег припозднившейся зимы. Это будет, шутила я, заключительный этап прощального тура Элвиса. Вместо своего пса я брала с собой голубую шкатулку с его прахом.

Ледяная морось выплевывала мокрые хлопья на все еще голые осины во дворе. Они приземлялись с хлопком, прежде чем мгновенно растаять или слипнуться комьями на только-только проклюнувшейся манжетке. Я плакала, неся свою спортивную сумку и коврик для йоги к машине. К этому времени Элвис уже сидел бы на переднем сиденье, упорно показывая: куда бы я ни собиралась, он тоже едет.

Я поставила ведро с семенами для птиц за дверь хижины, надеясь, что голодный медведь не учует его присутствия, и занесла мусор, чью вонь он учуял бы наверняка, в машину, чтобы выбросить по дороге в мусорный контейнер у «Мерка». Последним я внесла в машину прах Элвиса.

– Поехали, красавчик, – сказала я.

В «Мерке» я оставила пару долларов Рэйнбоу за вывоз мусора и держала на руках ее маленькую дочку Джуну, пока Рэйнбоу готовила порцию яиц вкрутую и хрустящий бекон для Эль-Патрона – его утренний ритуал.

– Собатька, – проговорила Джуна, улыбаясь мне.

– Что?

– Собатька!

Я огляделась. Никаких собак на веранде «Мерка» не было.

– Новое слово? – спросила я Рэйнбоу, когда она усадила Джуну себе на бедро.

Та помотала головой:

– Она еще никогда его не произносила.

В Боулдере снег с дождем перешел в чистую изморось. Я припарковала машину перед домом Джулии и Павла. Как и мне, Джулии нужен был отпуск. В тот год, когда она вышла замуж за

Павла, они пытались зачать ребенка, но ее сорока-с-лишним-летние яйцеклетки не шли на сотрудничество, и сейчас молодожены были на грани искусственного оплодотворения. Джулия пламенно желала материнства: ее страстность была ярким цветком огня в темную ночь. Я, напротив, понимала, что теперь все это для меня уже миновало. Когда была моложе, я подумывала завести собственных детей, но все продолжала ждать *чего-то*: стабильного дохода, партнера, ощущения, что остепенилась. Но, вероятно, истинным препятствием стали обстоятельства моего собственного детства: я втайне боялась, что обречена на повторение истории.

И все же материнская забота была моей главной целью. Я видела это в своих отношениях с друзьями, с Элвисом, с собственной матерью. Меня учили предугадывать потребности других, лезть из кожи вон в стараниях исправить ситуацию, пусть даже в ущерб себе.

Джулия приветствовала меня у порога римским поцелуем (в обе щеки). На ней были расклешенные брюки для йоги и кожаные сапоги на плоской подошве; вокруг длинной, как у статуи, шеи обмотан фиолетовый шарф с цветами, перевитыми золотом. Когда Джулия была серьезна, в ней виделась блаженная повадка ренессансной святой, а в остальное время – «резиновочелюстная» дурашливость Харпо Маркса^[49]. Стоявший за ней Павел, ну чисто плюшевый мишка, приветствовал меня объятием и вручил бумажный пакет с круассанами и латте.

– Э! – воскликнула Джулия, когда я пристраивала шкатулку с Элвисом позади рычага передач ее гибридной «Хонды». У каждого было для этого пса свое прозвище: Карен Зи называла его *Эль* и *Красавчик*, Джудит и Рэйнбоу – *Элви*. Павел использовал более мужественное *Э-мэн*, а Том Рэббит звал *Королем*. Для Кофи, четырехлетнего сына Рэйнбоу, он был *Элва*. Я звала его Зайкой.

Джулия вручила мне маленькую плоскую коробку, обернутую голубой бумагой.

– Заранее с днем рождения, – сказала она. Внутри оказалась клавиша от старинной печатной машинки, оправленная в серебро и стекло, с буквой Э.

Кое-кто закатывал глаза по поводу моей преданности своему псу, но не Джулия. Я прицепила букву Э к голубой подвеске-медальону, которую носила на шнурке на шее. В нем хранилась часть праха Элвиса. Я не могла объяснить ни утешение, что ощущала, нося его на себе, ни логику этого поступка. Наряду с мехом и костями, которые лежали рядом с фигуркой медведя у меня дома, прах Элвиса помогал мне определять свое местонахождение в этом мире.

И еще я просто хотела, чтобы он повсюду ездил со мной. До сих пор.

Мы с Джулией сняли дом на плоском холме за окраиной Таоса, с кухней и задним двором, где были газовый гриль и купальня. Я упаковала стейки, толстенькие красные помидоры, гребешки и анчоусы, сыр и хороший хлеб, яйца и тортильи, пару бутылок кавы^[50] и красного вина и планировала погреть кости под небом Новой Мексики. И сослужить еще одну последнюю службу своему псу: ему нужна была подобающая урна – не чрезмерно торжественный монолит из камня или дерева, не «хорошенькие» варианты с ангельскими крылышками и херувимчиками и надписью ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК, но вместительное, которое подошло бы ему. Что-то дикое и чуть дурашливое, что-то неожиданное, что-то единственное в своем роде. На окраинах Таоса было полно гончарных лавок, где целые ряды и комнаты были заняты керамикой и глиняной посудой, которую рекламировали плакатики с объявлениями: 50 % РАСПРОДАЖА ТОЛЬКО СЕГОДНЯ! Мы собирались посетить их все.

В первый день мы поехали в миссию святого Франциска Ассизского, круглую саманную церковь; ее трансепты напоминали женские бедра, чьи меняющиеся юбки из света рисовала Джорджия О'Киф. Внутри была часовня Девы Марии Гваделупской. Джулия поставила свечу и прочла молитву о материнстве. Я всегда дивилась тому, насколько много света дают огни в католических храмах: свечи горели с той яркостью, которая превосходит простой огонь. В юности я была убеждена, что качество этого света означает присутствие Божие.

Выйдя на улицу, я подошла к известной мне лавке, где торговали *retablos*^[51] и *milagros*^[52], и в блюде с амулетами, посвященными распространенным молитвам, нашла крохотного младенчика. Чего там только не было – плечи, колени и сердца, фигурки молящихся, дома и домашний скот. Когда Джулия вышла ко мне, было видно, что она плакала. Глинобитный потолок лавки был низким, стены – мягкими и напоминавшими пещеру. Деревянные образки святых всех размеров и цветов висели на стенах от пола до потолка. Я сунула Джулии в ладонь младенца, пока она перебирала маленькие ламинированные открытки с изображениями святых. Мы решили, что ей нужен святой Герхард Майелла – святой-покровитель будущих матерей, чей платок, по слухам, помог одной женщине в трудных родах годы спустя после его смерти. На открытке с его изображением была молитва: «Сделай меня плодотворной в отпрысках».

Каждый день мы заходили в одну-две лавки – возвращаясь из

Абикиу и с Ранчо Привидений или выезжая исследовать крохотный Арройо-Секо, – чтобы я могла пройти по длинным рядам в поисках подходящей урны. Я рассматривала ярко раскрашенную *талаверу*^[53] и деревенские глиняные горшки, черные оахакские узоры и охряно-рыжие оттенки керамики из Мата-Ортис; но ничто мне не глянулось.

– Я была уверена, что это будет здесь, – сказала я Джулии за «маргаритами» однажды вечером.

В наш последний полный день в Таосе, после того как я купила для Джулии подвеску в форме круглой розовой женской груди («Просто на случай, если Бог – любитель грудей»), мы снова зашли в магазинчик на площади под нарисованной от руки бледно-голубой вывеской со словами «Иисусова распродажа». Поначалу я хотела только сфотографироваться, но потом предложила еще раз присмотреться. Я обошла весь торговый зал, должно быть, уже раза два, когда наткнулась на горшок в лаймово-розовых оттенках и поманила к себе Джулию. Она повертела в руках круглый сосуд с крышкой и покачала головой.

– Не уверена. Элвис – и неон?

Разочарованная, я бросила взгляд через ее плечо, всматриваясь в формы и цвета на полках, и заметила что-то, скрытое позади остальных неоновых горшков. В центре глубокого стеллажа стоял высокий кувшин с опоясанным каймой бирюзовым верхом, бирюзу прорезали молниеподобные желтые и розовые загогулины. Я осторожно выудила его. Это оказался винный кувшин на ножках с черным доньшком в форме тыквы-горлянки, на нем был нарисован розовый цветок, а по обе стороны от цветка – одинаковые позолоченные горлицы. Под бирюзовой частью шейки кувшина шел золотой обод, украшенный еще одним цветком (белым) с розовыми лепестками.

Я огляделась в поисках похожих горшков.

Ни одного.

Я открыла было рот, собираясь заговорить, но из моего нутра вдруг вырвался вой, бездонный звук. Добрейший владелец лавки, кругленький, грудастый мужчина с усами, поспешил к нам.

Я потрясла головой.

– Это для моего пса, – пояснила я.

Он кивнул:

– Понимаю.

* * *

А колибри тем временем запаздывали. Первые самочки

прилетели к моей кормушке в тот же день, когда пришла весть о том, что моя мать перенесла ряд микроинсультов во время процедуры, которую рекомендовал доктор Фри. Это было на третьей неделе мая. К этому времени я уже месяц как старательно развешивала кормушки. Я словно задерживала дыхание, дожидаясь звуков их голосов с тех самых пор, как умер Элвис, дожидаясь возвращения радости, волны счастья, что я ощущала при первой трели на горе – обещании нового сезона.

Как и планировалось, мой брат Стив прилетел, чтобы быть с мамой. Я разговаривала с ней накануне вечером, но впервые за все время не была рядом во время операции. Стив позвонил ближе к вечеру и сказал, что все прошло гладко, пусть и немного затянулось. Через двенадцать часов начались проблемы: мама видела муравьев на стенах и котят, игравших в ее еде. По больничному коридору проплыл кит. Компьютерно-аксиальное сканирование подтвердило инсульты, и мама, получавшая огромные дозы преднизона, чтобы уменьшить отек в мозге, впала в такое неистовство, что пришлось привязать ее за руки к койке. Невролог, с которым она никогда не встречалась, прописал ей то же лекарственное лечение, которое давали людям с психотической вспышкой.

Это было началом трех месяцев сражений. Столь многое нужно было делать, и каждое действие требовало борьбы – от выступлений в защиту матери на встречах с врачами, сиделками, социальными работниками и специалистами «Медикеа» до попыток разобраться, каковы варианты выбора. Домашний уход или спецучреждение? «Мадикеа» или «Медикейд»?^[54] Поскольку один представитель медиков за другим противоречили тому, что говорили предыдущие, мы кое-как составили план и подготовились ко всем случайностям.

Впервые доктор Фри не выразил оптимизма насчет маминого выздоровления. Хотя новый невролог говорил, что с мамой «все будет в полном порядке», доктор Фри беспокоился об ущербе, нанесенном ее мозгу за годы введения микроспиралей. Он не мог точно сказать, насколько она «сможет оправиться от этого».

Мама видела муравьев на стенах и котят, игравших в ее еде. По больничному коридору проплыл кит.

Я пыталась следовать плану, но в итоге бросалась вперед, очертя голову. Я считала, что мои действия эффективны: я ведь тратила столько времени, возя маму к врачам, ведя заметки о ее лечении, о назначенных лекарствах. Я лучше всех понимала изменения в ее состоянии день ото дня. Но в результате только всех раздражала. Для братьев и сестры мои усилия выглядели как

проявление высокомерия и властности. Я слишком легко впадаю в гнев, говорили мне; я веду себя некрасиво, если что-то идет согласно не *моему плану*. Наверное, это было правдой. Я действовала как инсайдер, обращаясь с братьями и сестрой как с аутсайдерами, – они не знали того, что знала я, и моя вызывающая манера была в равных частях опытом, переутомлением и страхом перед тем, что могло случиться.

В больнице мама страдала забывчивостью. Половину времени она не помнила, сколько ей лет, какой нынче год или где она находится. Гораздо хуже, чем после ее предыдущего инсульта. Зато помнила, что Барак Обама – президент: исторический факт, который ей очень нравился.

– Как Элвис? – спросила она меня однажды, когда я ее навещала.

– О, мама, он умер, – сказала я как можно мягче.

Лицо матери сжалось, словно она могла остановить внезапный поток эмоций, зажмурившись и поджав губы. Ей и так тяжело было слышать, что его больше нет, но теперь эта новость усугублялась белыми пятнами в ее памяти, тем фактом, что она забыла. Я видела это выражение только пару раз за все время ее болезни; это был униженный страх, что она теряет власть над своим телом, своим разумом. К тому же она любила Элвиса.

Моя тетка вылетела к нам как раз тогда, когда Стиву нужно было возвращаться домой, и мы вместе стали разрабатывать планы потенциального будущего для мамы. Мэри-Энн, которая была на пять лет моложе матери, казалось, росла в совершенно другой семье; она каким-то образом выжила в ландшафте «выжженной земли» родительского алкоголизма и сохранила восхищавший меня оптимизм. Она была двойником мамы, кипящим энергией.

Мэри-Энн сидела с матерью большую часть дней и разговаривала с врачами, которые заходили к ней тогда, когда им было удобно, рассылала свои замечания и отчеты о прогрессе мамы в ежедневных электронных письмах родственникам, в то время как я заполняла анкеты, прессовала социальных работников и страховую компанию и пыталась определить лимиты покрытия «Медикеа». Моей ближайшей задачей было добиться, чтобы мама оставалась в реабилитационном учреждении достаточно долго, чтобы ее мозг успел исцелиться, и она восстановила часть физических сил и независимости. Но страховая компания и «Медикеа» могли принудительно выписать ее. Если бы они решили выписать маму до того, как ее кандидатуру одобрит «Медикейд», ей бы пришлось либо согласиться на пребывание в пансионе с уходом, покрытие

которого еще не обеспечивалось, либо жить с кем-то из нас. Мы затаили дыхание, надеясь на одобрение «Медикейда», чтобы, где бы мама ни оказалась в итоге – дома и в специальном медицинском учреждении под присмотром сиделки, – имелась страховая поддержка услуг, которые ей потребуются. Невозможно было предсказать, что случится, – ни на следующей неделе, ни в следующем месяце.

В то лето мама сохраняла какие-то струнки себя прежней – неизменную вежливость с сиделками и любовь к картофельным чипсам и диетическому пепси, – но все остальное отпало. Она никогда не была решительным бойцом, а теперь была и вовсе побеждена. Она хотела, по ее собственным словам, «покончить с этим».

В больнице мамина память стала так плоха, что мне приходилось оставлять приклеенной к ее прикроватной тумбочке записку, объясняющую, что она перенесла ряд инсультов и это повредило ее память. Иногда она прочитывала ее и плакала. Иногда срывала записку и выбрасывала ее в мусорную корзину, разгневанная, растерянная.

Но я начинала понимать, что сила есть и в смирении. Этому научила меня жизнь на горе Оверленд. Алхимия диких мест состоит в том, что они работают над тобой так же, как ветер трудится над скалами.

Больше четырех недель в июне и июле члены нашей семьи сменяли друг друга на посту сиделки, после того как маму выписали под домашнюю опеку, но сама я уже через пару недель поняла, что наш план нежизнеспособен. Могло пройти шесть, восемь, а то и двенадцать месяцев, прежде чем мать смогла бы снова жить самостоятельно. Нэнси уже планировала преподнести маме сюрприз в ее семидесятый день рождения (он наступал в июле), предложив перевезти ее в Орегон, где она могла бы жить до тех пор, пока не будет достаточно здорова, чтобы вернуться. Я с облегчением купила для нее билет на самолет, чтобы она вместе с Нэнси отправилась домой. Но утром в день юбилея маму опять спешно отвезли в больницу. Ее состояние было слишком нестабильным для переездов.

Вернулась тетя Мэри-Энн, и через лихорадочную неделю, наполненную телефонными звонками, встречами и поездками, я смирилась с решением, которое теперь, когда я вспоминаю то долгое лето, кажется мне неизбежным: я организовала переезд своей семидесятилетней матери в интернат для проживания с уходом.

Через неделю, когда мама поправлялась в интернате в третий

раз за то лето и тетя приехала мне на смену, я поехала в ашрам. Я нервничала, не зная, чего ждать, не желая на самом деле разговаривать ни с кем. Я хотела стать невидимой для мира.

Зарегистрировавшись и получив ключ, я спросила стройную женщину за стойкой администратора:

– Чья тут бегают собаки?

И описала белого хаски, который исчез передо мной на дорожке, когда я поднималась по лестнице, – пушистая шубка, хвост колечком.

Она покачала головой. Ни у кого в ашраме не было такой собаки.

* * *

После первой огненной церемонии, после йоги и упражнений на дыхание я познакомилась с Джимми, худым и долговязым мужчиной лет семидесяти с зубастой улыбкой, жителем Аспена. Мы сидели на воздухе, за длинным столом для пикников на террасе с видом на маленький пруд, и ели тофу со сладким чили и салат, греясь на солнце вместе с другими гостями. Джимми спросил о *вибхути* (пепле), втертом в мой лоб, – остатке утренней *яджны*.

– Как мне сказали, это то, что остается, когда все сгорает, – объяснила я, а потом описала ему эту церемонию.

– И как, помогло? – спросил он.

Я пожала плечами.

Мы быстро сдружились, ежедневно встречаясь за трапезами и на йоге, а потом ходили гулять. Джимми был внимательным и мягким человеком – любителем собак. Мы делились собачьими историями и фотографиями.

– Неудивительно, что вы его любили, – сказал он, разглядывая фотографию Элвиса.

Я возвращалась на *яджну* – чувствовала, что должна. Ощущение было такое, будто выскребашь пыль, давно осевшую и слежавшуюся в глубоких бороздах. Каждое утро я разматывала скорбь, точно леску, вцепившуюся крючком в мое сердце, и выбрасывала ее в огонь. Чем больше было *сваха*, тем легче я становилась.

Верить – это выбор, который мы делаем в отношении того, каким хотим видеть мир. Он может быть враждебным, холодным, недобрым. А может быть полным волшебства.

Я так рьяно боролась, бросалась на препятствия, катила камни в гору! Решимость – металл, который делал меня такой адски крутой. Если и было что-то такое, в чем я была уверена, так это моя собственная сила. Но я начинала понимать, что сила есть и в смирении. Этому научила меня жизнь на горе Оверленд. Алхимия диких мест состоит в том, что они работают над тобой так же, как ветер трудится над скалами, как струйки-близнецы, текущие в противоположных направлениях на перевале Милнера высоко в Скалистых горах, становятся реками Каш-ла-Пудр и Колорадо. Так же, по словам учителя, как мантра – постепенно, неизбежно – трудится над разумом.

Все остальное – я отпускаю. *Сваха.*

* * *

В наш последний вечер в ашраме я убедила Джимми встретиться со мной ночью, в половине третьего, на террасе столовой, чтобы наблюдать метеоритный дождь Персеид, мое любимое августовское событие.

– Но ведь луна полная, – сказал он, улыбаясь.

Я отмахнулась:

– К тому времени она уже зайдет.

Когда в четверть третьего прозвонил мой будильник, луна горела так, что было светло почти как днем.

И все же Джимми ждал, как обещал, на террасе с видом на озеро.

Мы хихикали и посмеивались, потом я расхохоталась, от души и надолго.

– Они где-то там, наверху, – проговорила я, воображая похожие на стрелы прочерки и серебристые вспышки.

– Вера – великое дело, – отозвался Джимми, кивая.

Я рассказала ему о белой собаке, которую видела здесь, и которая никому не принадлежала.

– Как думаете, это мог быть Элвис? – спросила я.

– Думаю, да, – ответил он.

И я в это верила. Верить – это выбор, который мы делаем в отношении того, каким хотим видеть мир. Он может быть враждебным, холодным, недобрым. А может быть полным волшебства. В тот день я верила, что это мой пес привел меня в это место. Что это его белый хвост я видела исчезающим на дорожке.

Пора было находить общий язык с жизнью.

Глава 14

Сезон изобилия



Как и все на горе, я думала о наступающей осени, заполняя ежедневник делами и наблюдениями, свойственными концу лета. Август был месяцем, когда я приняла доставленные четыре корда дров и наблюдала, как улетают колибри. Это также было время, когда спешка сезона роста испустила дух, когда я дорожила каждым смелым соцветием в саду, упрямым пламенем кастиллеи на лугу, фиолетовыми астрами – последними цветами перед зимой, – выглядывающими между желтыми листьями. Мое тело колебалось между торопливыми приготовлениями и маниакальным желанием релаксации: *еще один долгий поход*, говорило оно, *еще один ужин альфреско* – перед ухудшением погоды и возвращением к занятиям в колледже, перед тем как ранние утра станут ощутимо темнее, перед тем как начнется ежедневное поджигание костров.

В августовские солнечные часы просочился неожиданный свет – Грег.

Оба стеснительные, оба нелюбители ухаживаний, мы познакомились в Интернете – да, и я тоже попробовала этот способ, как все прочие, после того как годами от него отказывалась. Романтическая история моей жизни представляла собой практически чистый лист, отмеченный лишь парой коротких увлечений и ровно одним событием, которое можно было бы засчитать за «свидание». Давным-давно я перестала поднимать глаза и встречать чужой заинтересованный взгляд.

Наполовину обнадеженно, наполовину рассеянно пару месяцев я просматривала сайт *OkCupid* (оправданием мне

служила умно написанная статья в «Нью-Йоркере» и жгучая потребность думать хоть о чем-нибудь, помимо мамы). Я отбивалась от писем мужчин, явно не имевших со мной ничего общего, и отправила кому-то пару нерешительных «привет», но – за одним стеснительным исключением – ни с кем так и не познакомилась. Это «стеснительное исключение» оказалось при ближайшем рассмотрении умным и веселым, и работало «оно» в администрации нового мэра в Денвере. Мы обменялись серией интеллектуальных писем, а потом был один странный и долгий телефонный разговор. Этот человек засыпал меня любопытными (так и слышался хруст попкорна) вопросами об условиях моей жизни «в глуши» и впал в тупое молчание, когда я их описала: медведи во дворе, мышь, которая вот только сию минуту сбежала вниз по внешней поверхности дымохода...

– Ого, – сказал он наконец, – вы действительно живете на грани.

После этого его письма прекратились, хотя в последнем он настойчиво утверждал, что «все же хотел бы как-нибудь встретиться», когда будет не слишком занят.

– Это, – произнесла я так, будто держала вонючий мусорный пакет, рассказывая о переписке Джули, всегда готовой подбодрить и поделиться энтузиазмом, – пустая трата времени.

А потом я получила письмо, адресованное Девушке из Джеймстауна.

Меньше чем через неделю мы с АртЧуваком перешли от коротких сообщений «ни о чем» к трех-, четырехчасовым телефонным разговорам.

Всю свою жизнь я была хладнокровной палочкой-выручалочкой для подруг в их личных невзгодах и горестях. «Ты даешь такие хорошие советы, – говорила Джулия. – Ты всегда знаешь, что сказать».

Если бы я разговаривала с этой Девушкой из Джеймстауна, я посоветовала бы ей, черт побери, притормозить. Но она не слушала. Мы с АртЧуваком каждый день выстреливали очередями сообщений, рассказывая о повседневных подробностях – о разнице погоды в наших местностях, об особенностях нашей профессиональной деятельности и расписаний, – вдаваясь в обширные дискуссии о наших любимых авторах и книгах. Грег был человеком начитанным, к тому же художником-пейзажистом, садовником и мечтателем. Он жил в Денвере, в пятидесяти пяти милях от меня, в маленькой квартирке неподалеку от парка Вашингтона, и писал о том, как облака наполняют закатное небо собственным светом.

«Я провел значительную часть своей жизни, лежа на спине и

глядя в небо, – писал он. – Боюсь, никогда не смогу охватить его целиком. И в то же время опасаясь, что смогу».

На шестое утро после знакомства мы почти два часа обменивались мгновенными сообщениями. Отправляясь на занятия йогой, я послала Грегу свое стихотворение о мужчине, что плавал на спине под пирсом, пытаюсь увидеть звезды средь бела дня. Когда я вернулась домой, он прислал сообщение из одной-единственной строки, в котором признавался, что это стихотворение довело его до слез.

«Откуда ты такая взялась?» – писал он. А ниже написал свой номер телефона – на случай, «если захочется поговорить».

Голос на другом конце оказался звучным и сильным. Разговор шел как по маслу. У меня возникло ощущение, будто мы упали в медленную реку. Мы разговаривали о кино и погоде, об американском Западе, о вестернах, о наших любимых писателях, о видах из наших окон. Мы легко включились в беседу: не было никаких иных ощущений, кроме узнавания и облегчения.

Всю свою жизнь я была хладнокровной палочкой-выручалочкой для подруг в их личных невзгодах и горестях.

Почти три часа спустя я опомнилась и осознала, что мне нужно работать. На следующий день начинались занятия в колледже. Я словно сделала шаг назад, наружу, в торопливый мир.

– Мне нужно идти, – с сожалением сказала я.

Назавтра в моих входящих обнаружилось стихотворение Гэри Снайдера из ежедневной поэтической подписки. Оно воспевало в последней строке настежь распахнутые возможности: «Открыты все пути». Я послала его Грегу.

Еще пять дней мы беседовали каждый вечер. Однажды заговорились далеко за полночь, и я лежала в постели в темноте, слушая успокаивающий голос Грега, прижав телефон к уху, и шептала, полусонная, в полусвете наливающейся луны, под тявканье койотов за стенами дома. В том году полно было цитрусовой моли. Целые тучи этих бабочек приветствовали меня, когда я возвращалась по вечерам домой, их серые крылышки бились о москитную сетку, танцуя в свете фонаря на террасе. Каждый вечер я слушала, как их тела потрескивают и сгорают на огне свечей, которые я зажигала в спальне. Как и они, я не заботилась о том, что могу сгореть.

Всю свою жизнь я опасалась близости. Но я побежала навстречу Грегу так же, как когда-то бежала к краю скалы вдоль Колорадо, где моя рафтинг-группа остановилась, чтобы попрыгать

с утеса. Я видела издали, как моя лучшая подруга присела и замешкалась, потом на цыпочках подошла к краю – и так же на цыпочках отошла. Любому, кто видел эту сцену со стороны, я показалась бы незаинтересованным зрителем. Но потом я встала – и *побежала!* – взлетев в воздух мимо красного песчаникового обрыва. В тот день я бежала к неизвестности, к чему-то такому, что обладало равной способностью и привести меня в восторг, и убить, потому что хотела ощутить себя частью воздуха, неба и воды, понять свое тело как частичку природного мира и не бояться.

Та же сила тянула меня к Грегу. Я ни на секунду не задумывалась о шоке или температуре воды, я не рассуждала о пристойности или безопасности, я не окунала нерешительный кончик пальца и даже не погружалась постепенно – вместо этого я нырнула с разбегу.

Мы с Грегом встретились в Боулдере через полторы недели после первого обмена сообщениями, в субботу, движимые обжигающим любопытством и радостью, унижительным страхом пополам с головокружительностью наших разговоров: мы уже признались друг другу в слишком многом. Грег был в разводе десять лет и, по его собственному выражению, все это время главным центром его жизни оставался сын. Он был старше меня, высокий, широкий, плечистый, в прелестных очках в проволоочной оправе, с черными волосами, зачесанными к затылку от красивого лица. Этаким ковбой, он носил джинсы, кожаные сапоги на шнуровке и белую рубашку на пуговицах поверх футболки даже в жару под тридцать.

Мы встретились на автобусной станции. У него был при себе кожаный рюкзак с акварельными красками, ноутбуком, экземпляром «Черной весны» Генри Миллера, сборником стихов Уэнделла Берри и чистой футболкой.

– На ночь ты не останешься, – предупредила я его по телефону накануне вечером, охваченная внезапной паникой. – Давай просто посмотрим, как пойдет.

– Как пожелаешь, – отозвался он.

Но прошло не так уж много времени, прежде чем мы плюхнулись на одеяло в парке на бережку Боулдер-Крик, и после жареной курицы, которую приготовила я, и сыра с оливками, которые мы купили на фермерском рынке, после пары глотков вина, пары долек шоколада, нескольких моих стихов, которые он попросил взять с собой и почитать, после поцелуев там, на траве, где дети играли в ручье и татуированный мужчина ходил по канату, натянутому между деревьями, мы вместе уснули – моя голова у него на груди – под теплым солнцем.

Впоследствии Грег говорил, что у него было ощущение, будто он нашел себя в центре карты под толстой стрелкой, на которой было написано *ВЫ ЗДЕСЬ*, указывающей на наши тела на траве.

– Весь остальной мир, – говорил он, – велосипедисты и скейтеры, люди, сидевшие на траве, вращались вокруг нас. Лишь мы были неподвижны.

Мы лежали там до тех пор, пока тени не простерлись над парком, а потом поехали по извилистому фартуку Лефт-Хэнд к каньону Джеймс и дальше, к Оверленду. Удивительно – Грег, как оказалось, бывал в «Баларате», туристическом лагере на полпути между моей хижинкой и Джеймстауном, когда учился в школе. Пока мы ехали, он рассказывал о том, как ложился в своем спальном мешке на землю посреди луга, а поутру просыпался – и вокруг него со всех сторон паслись олени.

– Никогда не забуду это чувство, – говорил он. – Я просто лежал, не шелохнувшись, и смотрел – долго-долго.

Грег сидел на террасе и наблюдал за птицами у кормушки, пока я раскатывала тесто для пиццы и готовила салат из рукколы с лимоном и трюфельным маслом. Он поднялся со своего места, когда я вынесла бокалы, наполненные кофеем, сдобренной шамбором. В нем было что-то от прежнего, старомодного мира: он придерживал двери перед женщиной и называл незнакомых людей «сэр» и «мэм»; в заднем кармане носил носовой платок из ткани и предложил мне его, когда я чихнула. Он был истинным джентльменом; его доброта и манеры были привязаны к моральному компасу – способу восприятия этого мира и поведения в нем, абсолютно лишенному вероломства или хитрых планов. Я подумала, что он – самый славный из всех известных мне мужчин.

Я выложила лепешки на гриль, и мы ели пузырящуюся и хрустящую пиццу «маргарита» и другую, с нарезанными ломтиками яблоками сорта «ханикрипс» и посыпанную сыром горгонзола. В салате были кусочки тертого пармезана и дробленых лесных орехов.

– Ничего себе, – протянул Грег, который потом признался, что моя кухня показалась ему слишком «шикарной».

После еды я положила ноги ему на колени – жест, который казался столь же комфортным в своей подразумеваемой интимности, сколь и неожиданным. Пока мы смотрели, как солнце садилось за Индиан Пикс, Грег брал по очереди сначала одну, потом другую мою ступню и массирует их. Его руки были сильными, прикосновения – уверенными, не опасливыми.

Уехал он два дня спустя.

У рассказчицы Клариссы Пинкола Эстес есть притча о

Женщине-Скелете, которую бросает в океан отец, и вот однажды ее вылавливает рыбак, который, придя в ужас от ее буйных волос и костлявого вида, яростно гребет прочь, а потом бежит домой, все это время думая, что за ним гонится привидение, которое он подцепил за ребро крючком. Не понимая причину ее «погони», он бежит все дальше, унося с собой удочку, и ужасающая женщина поневоле бежит за ним, и наконец оба падают с ног, влетев в его иглу^[55]. Через некоторое время он проникается жалостью к ее истерзанному телу и, напевая песню, осторожно распутывает узлы лески вокруг костей, укутывает ее в шкуры, а потом засыпает. Ночью рыбаку снится сон, слеза скатывается по его щеке, а Женщина-Скелет приближает к ней свои костяные губы и пьет, утоляя давнюю жажду. Потом она просовывает руку в его грудь и вынимает оттуда сердце, приговаривая: «Плоть! Плоть! Плоть!» – и на ее костях начинают нарастать мышцы, на мышцах – кожа, и она становится снова женщиной: с грудями, руками и всем прочим. Потом она ложится рядом с мужчиной и засыпает, а поутру они просыпаются переплетенные в объятии, словно так и было всегда.

Мы с Грегом оба ощутили эту привычность – чувство, что, несмотря на краткость знакомства, мы уже долго, очень долго знаем друг друга. Полагаю, именно это чувство делает из людей любовников. Внезапно история, которую вы проживаете, перерастает вас.

Когда в понедельник вечером я вернулась домой после занятий в колледже и йоги – после того как утром высадила Грега у автобусной станции, – я обнаружила рисунок чернилами, подоткнутый под мою подушку. На нем мужчина и женщина держались за руки на вершине горы, глядя на звезды.

Так мы и нырнули в осень, самый, на мой вкус, изобильный сезон из-за его торопливых – успеть бы – демонстраций красок и холодных, припахивающих дымом вечеров. Я всегда считала, что жизнь богаче всего не в первом беспорядочном румянце весны, но именно там, на пороге разложения. Есть глубинная и неопровержимая чувственность в смерти, такая же как в рождении: тело трудится, чтобы покинуть эту жизнь, так же, как трудится оно, чтобы даровать ее. Я видела это своими глазами. В моей собственной жизни Грег обеспечил контрапункт к мучительно медленному закату матери. Наши отношения были ответом на ее тускнеющий свет.

Ранее я начала душераздирающий процесс обрезания жизни моей матери, сократив число ее пожитков до тех предметов, которые могли поместиться в комнатку размером два с половиной на три с половиной метра. Мы с Грегом вместе

перевезли горстку маминых вещей в «Мэри Сандоу Хаус» у подножия Боулдер-Флэтиронс, интернат с современными и уютными комнатами на одного человека. Это был настоящий оазис среди остальных, довольно гнусных, вариантов проживания под опекой «Медикейд» – обветшалых учреждений, «украшенных» преимущественно ламинатом в серо-коричневых тонах и слишком часто «благоухающих» мочой.

Хотя я продолжала надеяться на лучшее всю осень и зиму, к весне стало ясно, что мать истаивает. Она жаловалась, что стала слишком слаба, чтобы выходить на улицу – в продуктовый магазин или библиотеку. И хотя я просила лечащего врача назначить больше физиотерапии и поощряла маму гулять и участвовать хоть в какой-то деятельности – заниматься щадящими физическими упражнениями, играть в бинго, рисовать акварелью, – ее решение было уже принято. Она начала медленно исчезать из мира, уходя в безмолвие своей комнаты, все дни напролет смотря телевизор.

Мы с Греггом оба ощутили эту привычность – чувство, что, несмотря на краткость знакомства, мы уже долго, очень долго знаем друг друга. Полагаю, именно это чувство делает из людей любовников. Внезапно история, которую вы проживаете, перерастает вас.

Тогда я этого не видела. Я все еще была слишком занята попытками поддержать ее. Мы каждый день разговаривали по телефону, и часто я привозила ей «специальный ужин понедельника» – еду из *KFC* или *Good Times*, которую мама обожала. Но к Четвертому июля, через десять месяцев после того как она переехала в интернат, она заметно ослабела, стала медленнее одеваться. У нас с Греггом ушло целых десять минут, чтобы вывести ее из комнаты на площадку для пикников, где обитатели пансионата собирались на барбекю. Оказавшись там, мама с восторгом лакомила вкусностями, не входившими в «здоровое меню» интерната: бургерами и хотдогами, картофельным салатом, капкейками и пирогами, – и я давно уже не видела ее такой счастливой, как в эти моменты.

Пока Грегг помогал раздавать обитателям пансионата тарелочки с десертом, мама потянула меня за рубашку.

– Он хороший человек, – сказала она.

Моя любимая мамина фотография была сделана в этот день. У мамы на голове моя потертая белая ковбойская шляпа. Ее рот открыт, лицо поднято, она хохочет над одной из шуток Грегга.

Я часто смотрю на эту фотографию, вспоминая маму счастливой – до очередных поездок в неотложку, до новых болей

и обессиленного заката, до того дня шесть месяцев спустя, когда ее доставили в госпиталь с пневмонией, а потом диагностировали отказ дыхательной системы. После недель в палате интенсивной терапии, после того как врач предложил снова провести анализы, чтобы выяснить, почему она не выздоравливает, после ее диагноза – «недомогание», я услышала, как моя мать произносит твердое, недвусмысленное «нет», впервые в своей жизни.

– Со мной покончено, – сказала она.

Ее перевели в хоспис, и она протянула еще два полных года в интернате с круглосуточным уходом, больше ни разу не встав с постели.

Я посещала это гнусно воняющее учреждение, еженедельно привозя маме капкейки, потому что к этому времени она отказывалась придерживаться еще и диетических ограничений вдобавок ко всем лекарствам. Мне говорили, что для людей, попадающих в хоспис, внезапное улучшение самочувствия – не такое уж редкое явление, что и случилось с матерью утром того дня, когда я сказала ей последнее «прощай»: перед этим я вошла в ее комнату и увидела, что она сидит в кровати и ест картофельные чипсы. Остаток дня мама прожила в блаженном неведении, где она находится. Впервые не было никакой борьбы.

– Ты мой ангел, – говорила она мне. – Не знаю, что бы я без тебя делала.

– Я люблю тебя, золотко, – говорила она каждый раз.

Последний дар... Моя ошибка состояла в упрямых попытках заставить ее любить меня на *моих* условиях, а не на ее собственных. Я больше ничего не могла для нее сделать. Мамина жизнь была тяжела, но теперь все это ушло.

– Спасибо, мама, – говорила я. – Я тоже тебя люблю.

Она сказала мне:

– Жаль, что я не могу вернуться назад, в те времена, когда ты была маленькой, и воспитать тебя по-другому. Ты заслуживала лучшего.

Она умерла пару месяцев спустя, после того как я в последний раз напоила ее – тремя глотками пепси.

Но все это было еще в будущем, которого я не видела, в истории, которой только предстояло развернуться, а пока моя мать нежилась в моей заботе о ней, пока мы вместе ждали смерти.

* * *

К тому времени как первый снег лег на гору, мы с Грегом уже

давно признались во взаимной любви, и большинство своих выходных освобождали ради удовольствия держать друг друга в объятиях. Мы читали друг другу стихи, устраивали пикники перед печкой и проводили ленивые воскресенья в постели с кофе и «Нью-Йорк Таймс». Между его приездами мы каждый вечер разговаривали по телефону, посылая друг другу издали дымовые сигналы. Я писала стихи и утренние сообщения, Грег присылал SMS, когда я была в городе. Мы обменивались письмами. А в промежутках между всем этим я продолжала заботиться о маме: мой маятник раскачивался между полным и пустым.

И все же временами я неуклюже несла груз новой любви, не приученная считаться с чужой точкой зрения. В октябре я подумала, что будет чудесно и романтично отправиться в поход в пустыню вместе с Грегом, но у него нашелся миллион причин, чтобы не ехать: *еще слишком рано для совместной поездки, он не готов, Моэб – это место, куда он ездил с бывшей женой*. Так что я уехала одна. Спишем это на застарелую раздражительность и мою склонность к демонстрациям независимости. Прежняя «я» никуда не делась.

По ночам мне снились медведи, угрожающие, пытающиеся забраться в стеклянный дом. Мне снился Элвис, постаревший или живущий с людьми, которые о нем не заботятся. Мне снилась я – волочащее ноги жалкое создание с неразборчивой речью. В этом сне я теряла слова, способность общаться, и со мной обращались с дикой жестокостью. Никем не понятая, я могла лишь грозиться своим физическим присутствием. Этот новый мир был странным. Я не знала его языка.

Я тосковала по своему псу. Я тосковала по Грегу. А потом он неожиданно позвонил мне на сотовый, когда я в последний вечер своей поездки шагала по улицам Моэба.

– Я знаю, что не должен был звонить, – сказал он, – но я по тебе скучаю.

– Я тоже, – сказала я, сама изумленная тем, как счастлива слышать его голос.

Когда на горе утвердилась зима, тишина без Грегга обрела текстуру и присутствие. Я скучала по нему. Наши совместные уикенды стали спасением от тягот холодного сезона, от двухчасовых поездок туда-обратно, чтобы привезти маме еду, от бремени преподавания – четыре дня в неделю по пять лекций в день, – все это заставляло меня мотаться туда-сюда вдоль Передового хребта. К своему удивлению, я поняла, что лучше сплю, когда Грег со мной: его тело было тем якорем, в котором я нуждалась. Когда его не было рядом, я порой звонила ему после

скверного сна, приснившегося под утро, и он переставал рисовать и забирался в собственную постель, мягко заговаривая-убаюкивая меня, пока я снова не засыпала.

Мне говорили, что для людей, попадающих в хоспис, внезапное улучшение самочувствия – не такое уж редкое явление, что и случилось с матерью утром того дня, когда я сказала ей последнее «прощай».

Даже снег казался тяжелой, нудной работой, но Грег облегчал мне зимние труды. Он расчищал дорожку и колот дрова. Он наполнял для меня дровяной ящик и сыпал корм птицам. Несколько снежных дней мы почти целиком провели в постели, подкармливая пламя результатами труда Грега, однажды он приехал, чтобы набить дровами ящик, когда я потянула спину.

В феврале мы праздновали очередной день Т. С. Элиота, посвященный «зажигательным вещам».

Грег провел этот день, обрабатывая маслом деревянный кофейный столик, а потом наполнил хижину зажженными греющими свечами, которые мерцали на всех поверхностях. Снаружи хижины он выложил дорожку из таких же лучистых огней, утопленных в снег. Горные луминарии^[56].

Я поцеловала его.

– Это прекрасно!

– Нет, *зажигательно*, – возразил он.

Приехали мои друзья. Было очень заметно отсутствие Джудит – она перебралась в Боулдер, съехав из дома, где двадцать пять лет прожила с Дэвидом.

– Все никак не могу поверить, что что-то столь прекрасное могло так ужасно сломаться, – сказала я Грегу.

Он пожал плечами.

– Быть в отношениях – все равно что сидеть обнаженным на ручной дрезине, мчащейся во мрак по туннелю в шахте.

Его неопределенность устраивала, меня – нет.

В тот вечер мои друзья расшалились на славу: Жак импровизировала лимерики, а Джулия, одетая в летящую красную юбку и черное боа, возглавила нас в возбуждающей игре в «верю – не верю». Грег отвечал за музыку – Шакира, Патти Смит, *The Replacements*. Когда пришло время десерта, я попросила всех задуть свечи, а сама подожгла озерцо коньяка на верхушке запеченного торта-мороженого «Аляска» в форме вулкана. Нежное пламя пустило похожие на лаву дорожки по бокам, освещая хижину чудесным светом.

Весна пришла и протрубила вниз, в Боулдере, своего рода срочную побудку. Взорвались цветами нарциссы и крокусы, в то время как на горе вовсю цвели фиалки. По ночам я слышала мышь, хотя по громкости звука казалось, что это кто-то намного больший шуршит газетами в щели под моей кроватью. Строит гнездо? Однажды утром я обнаружила в своих углах соленые крекеры, в другой раз заметила, что персикового цвета боа из перьев, которое Джудит подарила мне на день рождения пару лет назад, на одном конце изгрызено до состояния крысиного хвоста.

– Это ж какого ты размера?! – вслух удивилась я. И пошла доставать ловушки.

Вернулись медведи и стали бродить по краям моего участка так, как не делали годами; наверное, чуяли, что собаки больше нет. Одной пронизывающе холодной дождливой ночью меня разбудил мишка, учтиво откручивавший дно кормушки для колибри от ее стеклянного верха. Я поленилась и оставила ее на улице после лившего весь день дождя. *Ну уж сегодня медведей не будет*, думала я, но рассудила неверно.

– Эй! – завопила я из окна, подхватываясь и выбегая на сыкотный двор, чтобы отпугнуть медведя и снять кормушку.

Признаюсь, я начала вести счет месяцам с Грегом, отсчитывая их, точно указатели на дороге к определенному месту назначения. *Сколько мы еще продержимся?* Каждая размолвка, каждое непонимание становилось поводом оценить долгосрочную перспективу наших отношений. Я не доверяла счастью. Компромиссы давались мне с трудом. Каждую ссору я откладывала в папку «о чем стоит беспокоиться» или «причины, по которым у нас ничего не получится».

Тем не менее лето пришло. Грег посадил толерантный к тени розовый куст там, где я пыталась заставить вырасти лаванду и кореопсис, и помог мне выкорчевать осиновые корни, чтобы освободить место под такие колорадские эндемики, как пенстемон и гайлардия. Мы проводили время с моими новыми сезонными соседями из Небраски, Сэнди и Рэнди, на террасе их дома с видом на Хай-лейк и вместе ездили в «Мерк» на бранч.

Годом раньше Джоуи отошел от дел, и «Мерк» купила Рэйнбоу. Она наплатила ресторан своей собственной творческой чудаковатой чуткостью, перенесла стойку дальше назад, избавилась от витрины для пирожных, надобность в которой отпала давным-давно, и отремонтировала трухлявый пол в кухне. Она поставила на подоконники фруктовые деревца, изменила меню, включив в него авокадо и большие салаты, и научила

поваров резать картофель для жарки вручную. Теперь в воскресном меню было три вида яиц по-бенедиктински и бургеры с настоящим сирлойном.

В июле она попросила меня принять участие в «Двухдолларовом радио», «радиопередаче в старомодном стиле», которую собирался записывать и продюсировать «Мерк». Эту программу вел один бывший джеймстаунский музыкант, и она была чем-то средним между местной радиостанцией *eTown* и «Спутником прерий».

Было холодное, с морозящим дождем летнее воскресенье, «Мерк» был заставлен рядами стульев, повернутых к окну, которое запотело и всё сияло от мигающих белых огоньков, добавленных к разноцветной рождественской гирлянде, повешенной еще Джоуи. Грег сидел рядом со мной в рубашке с перламутровыми пуговицами в стиле «вестерн» и ковбойской шляпе. Мы смеялись вместе со всеми остальными, когда Снейк оглашал «Джеймстаунские новости» в хаотичном импровизированном монологе; он объявил, помимо прочего, что «какой-то миллионер купил гору и собирается сделать нас всех богачами», имея в виду покупку Берлингтонской шахты на краю города для разведки золотой жилы. Кристен, маленькая темноволосая красотка, читала прогноз погоды: «Лето наступит первого июля и отступит двадцать пятого». Джоуи выпендривался перед микрофоном, сыграв на своем казу битловскую «Когда мне будет шестьдесят четыре». Рэйнбоу прочла пару любимых стихотворений, а я представила рейтинг «холостяк месяца» – попытка «Двухдолларового радио» «решить повсеместную проблему холостяков в горах». Под конец была премия «Крошка Грош», призванная «признать акт крохотного достижения». Ее присуждала Сара, она объявила своим тонюсеньким голосочком, что Адам-спасатель бегом помчался к себе домой за инструментом, что понадобился в «Мерке», – «малое доброе деяние, которое в противном случае могло бы остаться незамеченным».

Я любила гору и любила его: нам суждено было любить друг друга так долго и так крепко, как мы сумеем.

Весь городок собрался, чтобы прославить свою эксцентричность и посмеяться над собой, но в отличие от театральных постановок, музыкальных мероприятий или даже бедлама Четвертого июля, которые тяготели к излишествам во всех возможных вариантах, в этом дне была некая приятность. Все искренне наслаждались друг другом. После программы, когда мы

с Грегом стояли и разговаривали с другими слушателями, фонтанируя сентиментальным восторгом по поводу главных, на наш взгляд, достоинств Джеймстауна, я вспомнила ту стрелку, про которую говорил Грег, определявшую местонахождение на карте: *Вы здесь*.

Да, подумала я.

* * *

В августе мы лежали поверх моего спального мешка посреди дороги за моей хижиной – на единственном клочке открытой земли, – наблюдая Персеиды. Грег нервничал, опасаясь случайной машины, которая может неожиданно наехать на нас, хоть я и уверила его, что это маловероятно – особенно в два часа ночи:

– Здесь только местные и ездят.

Земля еще хранила дневное тепло, и две большие рогатые совы перекликались через луг. Я была сонная, и через некоторое время, привалившись к груди Грега, натянула на себя край мешка. Утром он должен был вернуться в Денвер. Пока нас обоих, казалось, устраивали эти поездки туда-сюда. Скучать друг по другу было частью наших «стимулов и реакций».

Запах грязи был повсюду. Я могла протянуть руку и зарыться в нее пальцами. Я погружалась в новую жизнь – жизнь, все еще полную неопределенности. Мы делились местом так же, как делились поцелуями: гора, времена года, звезды – все они были нашими. Грег не был ни тем кусочком головоломки, который делал меня целой, ни моей наградой за все годы, что я провела одна. Но здесь я, по крайней мере, видела историю любви – историю о том, как я узнала, что означает быть в отношениях: с местом, с людьми, с собой. Мне больше не нужно было уходить *от*. Вместо этого я шла *к*. Я любила гору и любила его: нам суждено было любить друг друга так долго и так крепко, как мы сумеем.

Эпилог

Лиса, что приходила на ужин



Мы с Греггом праздновали годовщину нашей встречи в тот день, когда лиса, которую я видела весной, нерешительно прокралась на террасу, ведомая запахом жареной баранины. Мы пили друг за друга, кидали мясные косточки во двор для нашей гостии и смотрели, как одна за другой проявляются звезды.

Она впервые показалась в день другой годовщины – смерти Элвиса, – когда я выставила во двор куриное мясо в память о своем псе. С тех пор я не раз видела лисий помет на скалах неподалеку от лестницы – визитную карточку.

За осень – наверное, польстившись на объедки, что я разбрасывала всякий раз, завидев ее, – Малышка, как я стала ее называть, стала моей постоянной гостьей. По нескольку раз в неделю она появлялась вечерами, заставляя реагировать датчик движения, включавший свет на террасе, и я выходила из дома, вынося остатки еды – какие были под рукой. Она смотрела на меня со двора большими немигающими глазами викторианской нищенки.

Существует миллион причин не кормить лису, самая малая из них – хищники покрупнее, которых она может привлечь. Но соблюдать правила было слишком поздно. У нее появилась привычка сидеть на террасе на верхней ступеньке, как когда-то сиживал Элвис, наблюдая за двором со своего насеста. Я с нетерпением ждала ее прихода и, как ни абсурдно, беспокоилась, что ей не хватает еды.

Потом однажды, во время ледяного январского мороза, Малышка прихромала ко мне во двор с больной задней лапой.

– Возможно, с ней все будет в порядке, – сказал мне моложавый голос волонтерши из реабилитационного центра для диких животных. А потом она беззаботно добавила: – Или выживет, или нет.

Ловить ее они стали бы, только если б лиса потеряла подвижность.

Вот тогда-то я и стала кормить лису по-настоящему.

Малышка обожала сырые яйца и сырую курятину, но воротила нос от продуктов-наполнителей вроде риса или картофеля. Ночи были такие холодные, что оставленная во дворе еда смерзлась мгновенно. Так что каждый вечер я терпеливо ждала, пока осветится терраса, и выходила с тарелкой ее любимой еды, осторожно ставила тарелку на ступеньки, а лиса дожидалась меня, держась чуть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки.

К тому времени как она поправилась, я уже покупала по две дюжины яиц в неделю и забивала морозилку «семейными» упаковками куриных ножек. Пару раз по вечерам, когда она не объявлялась, я босая выходила на снег, чтобы позвать ее по имени, которое ей дала.

Это была еще одна безнадежная и холодная зима. Когда я почти десять лет назад перебралась жить на гору Оверленд со своим псом, я могла по нескольку дней подряд не перемолвиться и словом с другим человеком. С появлением Грега все изменилось. И хотя мы каждый вечер разговаривали по телефону, из-за разделявшего нас расстояния он начал казаться самому себе «любовником на полставки». Я болезненно скучала по нему, когда его не было рядом. Лисица облегчала это одиночество – и заодно сглаживала острую грань холодного времени года.

Когда зима наконец оттаяла в весну, Малышка начала терять свою шубку косматыми неровными клочьями. К этому времени она устраивала постоянную дневную лежку на скальном выступе, и я видела, как она там яростно вычесывается и кусает себя за облезлый крысиный хвост.

У нее была чесотка.

И снова люди из реабилитационного центра не проявили сочувствия.

– Это обычное дело, – говорили они. *Это редко лечат.*

Нет уж, так дело не пойдет: я заказала гомеопатическое средство у организации по спасению лис в Англии и, согласно инструкции, старательно сыпала его на сэндвичи с арахисовым маслом и медом. Я лечила лису полных четыре недели, даже договорилась с Рэйнбоу, чтобы та кормила ее, когда мне приходилось уезжать из города.

Когда я почти десять лет назад перебралась жить на гору Оверленд со своим псом, я могла по нескольку дней подряд не перемолвиться и словом с другим человеком. С появлением Грега все изменилось.

Ветреницы на горе уступили место индейской кастиллее, и Малышка перестала чесаться, сбросив свою зимнюю шубку, под которой проступил шелковистый рыжий летний мех. Хвост у нее снова оброс, стал пушистый и толстый. Именно тогда в сумерках летнего вечера, когда Малышка осторожно выступила на террасу, я заметила, что «она» на самом деле «он».

– Догадываюсь, что теперь Малышка стала Малышом, – сказал Грег по телефону.

Лис по-прежнему являлся каждый вечер – теперь все позже, вместе с закатом, – чтобы съесть свою порцию еды. Вначале яйца: он уносил одно в лес, прежде чем вернуться за другим. Я видела, как он закапывает их у корней дерева, иногда в моем же дворе. Затем он возвращался за куриной ножкой, съедая ее у нижней ступени лестницы. Раз или два он совал нос в открытую москитную дверь моей хижины, и мне приходилось отгонять его.

Он стал частью моего ландшафта.

В июле Джулия объявила, что беременна – наконец-то! – а в августе мы с Грегом впервые отправились в совместный поход, исследовав пару городков-призраков в Коллиджиэйт Пикс и читая друг другу стихи под кофе у костра по утрам. Когда мы отпраздновали вторую годовщину в горячих источниках Буэна-Висты, я была уверена, что пора сделать шаг на сближение. Но мы препирались по вопросу о том, куда и как нам съезжаться, влюбленные каждый в свое место. Я отказывалась покидать гору, он – город.

А потом, как бывало много раз, ландшафт изменился.

Не прошло и месяца, как неделя непрерывных и сильных сентябрьских дождей вылила на гору двадцать дюймов воды и заставила Джим-Крик раздуться, значительно превысив обычные уровни весенних разливов. По ночам тревожный грохот валунов, сталкивавшихся в ручье, слышно было даже в Джеймстауне, а Литтл-Джим, сезонный ручеек, который бежал вдоль дороги на Оверленд, впятеро прибавил в размерах и скорости, существенно расширив свои берега. Мир промок насквозь. Вода стремительно летела по стенам каньона и неслась вдоль дороги. На пятый день непрекращавшихся дождей я интуитивно вернулась домой пораньше после встречи в университете, вместо того чтобы заняться делами в городке.

Не прошло и десяти часов, как Джеймстаун стал местом

слияния трех рек по двадцать футов глубиной: Джим-Крик, Литтл-Джим, что был к западу, и дренажный поток Гиллесли-Спер на южной стороне городка. За считанные минуты до полуночи грязевой оползень сошел с вершины горы Порфири над Джеймстауном и с силой катящейся бочки промчался по Мейн-стрит. Со скоростью восьмидесяти миль в час он врезался в дом Джоуи, снес его с фундамента и убил на месте хозяина. Майлс, квартирант Джоуи, выжил и кое-как дополз по улице до дома Нэнси Фармер, где стал колотить кулаком в дверь, пока не разбудил ее, – возможно, он спас этим не одну жизнь. Дорогу ниже дома Джоуи блокировали бурные и смертельно опасные воды селя. На вздутом брюхе Джеймс-Крик всплыла чья-то машина – наряду с вырванными с корнем деревьями и газовыми баллонами.

Мой телефон зазвонил в половине второго ночи. Это была Карен Зи, сообщившая, что половины ее двора больше нет и ручей бушует всего в футах ниже мостика подъездной.

– Не медля садись в машину и приезжай сюда, – сказала я, потом дала объявление на городской сайт о том, что мой дом открыт для всех, кто сможет выбраться на более высокие места. Я тогда не знала, что дорогу, ведущую на Оверленд, перекрыл другой массивный оползень на западной стороне. Выезды из Джеймстауна были заблокированы с обеих сторон. А сам городок оказался разделен посередине на северную и южную половины наводнением, чьи воды неслись по Мейн-стрит и выворачивали огромные куски асфальтового покрытия. Через два дня приземлились первые спасательные вертолеты, и к этому времени треть домов в городке, включая дома Карен Зи и Нэнси Фармер, сложились гармошкой и были смыты течением. Маленький парк напротив «Мерка», где в теплые дни собирались любители побросать подкову и где Джеймстаун устраивал завтраки с оладьями на Четвертое июля, исчез, на его месте образовался завал из снесенных сосен и валунов, а Уорд-стрит, где я поначалу жила в Джеймстауне с Элвисом, когда ему было три года, оказалась выскоблена до основания – теперь дорога была на шесть футов ниже подъездных дорожек. Дома на Мейн-стрит и Лоуэр-Мейн были занесены шестью футами песка, и городок – без воды, без электричества, без доступа – стал едва ли пригодным для жизни. И таким ему предстояло оставаться многие месяцы.

У меня на дворе было четыре дюйма стоячей воды, и на пять дней я оказалась отрезанной от остального мира, без электроэнергии и возможности спуститься вниз. Связь пропала, Грег не находил себе места от тревоги. Я спустилась с Оверленда пешком вдоль тридцатифутового русла, прорытого Литтл-

Джимом, к западной оконечности Джеймстауна, чтобы осмотреть нанесенный ущерб, но была остановлена двадцатью футами яростного потока вместо дороги.

Позвонил мужчина с другой стороны ущелья и сказал, что начинается заключительная часть эвакуации. Мои друзья – Рэйнбоу, Адам и их дети, а также Джудит, которая недавно переехала в квартиру на первом этаже дома чуть дальше вниз по каньону, вместе с почти двумястами других жителей Джеймстауна уже были вывезены по воздуху в ходе операции, которой суждено было стать крупнейшей спасательной воздушной операцией после урагана Катрина. Горстка особо упорных джеймстаунцев, включая Кэтлин и ее мужа Вика, которые жили высоко на горе на северном краю городка, и Карен Зи, которая вызвалась позаботиться о брошенных животных, упрямо оставалась на месте, не желая покидать родной город. Им предстояло долгие недели жить впроголодь, пока не расчистили осыпи и не починили дорогу, ведущую на Оверленд.

Я провела один осенний уикенд с Сэнди и Рэнди, ныряя в озов дома Карен Зи, основная часть которого обвисла и полоскалась в Джим-Крик, точно выброшенный мусорный пакет, разыскивая немногочисленные ценные вещи, включая старинное бриллиантовое кольцо, принадлежавшее матери Карен. Потом вместе с другими волонтерами спасала, что могла, из ее еще стоявшей кухни и свозила спасенное в сарай. Впоследствии ей пришлось отдать банку оставшиеся три стены кухни и начать все заново в другом доме, выстроенном меннонитской благотворительной организацией неподалеку от нижнего парка. Прошло три года, прежде чем она снова обзавелась собственным домом.

Следующие шесть недель я нарезала круги по полуторачасовому маршруту через шоссе Пик-ту-Пик, по двадцати милям искореженной грунтовки через Год-Хилл, прежде чем открылся менее опасный, но все равно длинный альтернативный маршрут через Нидерленд на Боулдер и дальше. Прошло еще девять месяцев, прежде чем открылась временная и примитивная дорога «только для местных» через каньон Джеймс, и я рисковала быть остановленной местным шерифом, потому что жила на территории с другим почтовым индексом. Но я была местной. Да, этот маршрут экономил время, но как же странно было не проезжать через Джеймстаун на пути вверх или вниз по каньону, а еще страннее – не видеть множества знакомых лиц, как когда-то прежде!

В ту зиму лисья шубка расцвела во всей красе. Грег написал акварельный портрет лиса, сидящего на высоких скалах за моим

кухонным окном, и подарил мне его на Рождество. Иногда по утрам я просыпалась и находила лисьи дорожки в снегу, наполняя кормушки, и он подбегал прыжками, спускаясь с того места, где у него была ближняя лежка.

На вздутом брюхе Джеймс-Крик всплыла чья-то машина – наряду с вырванными с корнем деревьями и газовыми баллонами.

Весной Джулия родила кругленькую и красивую малышку с очаровательными черными, стоявшими дыбом волосиками. В то же время моя сестра объявила, что возвращается домой, в Колорадо. Лис стал появляться редко. *Теперь у него есть семья*, думала я, прикинув, что ему должно быть около трех лет и, значит, давным-давно пора завести подружку. В апреле я уже не видела даже его следов в саду, а к тому времени как вернулась домой после долгой поездки в мае, моя жизнь тянулась без лиса уже полные шесть недель. Я заметила одного лиса-папашу ниже по каньону, примерно в миле от своего дома, но не была уверена, что это «мой».

Вслед за перелетными птицами все больше и больше джеймстаунских жителей потянулись домой вместе с весенней оттепелью. Во дворах водружали цистерны, пока горожане ждали строительства новой городской водопроводной системы. В том году Четвертое июля отметили маленьким праздником в большом парке, на котором наш казу-бэнд посвятил свое выступление памяти Джоуи. Некоторые говорили, что это был лучший их концерт. Я приготовила жареную курицу вместе с куриными ножками, хранившимися в морозилке, и пригласила Нэнси, ее мужа и свою племянницу отпраздновать этот дождливый день вместе со мной и Грегом на террасе моей хижины. И все же я скучала по своему лису и старалась не думать о том, что в дикой природе они живут в среднем четыре года.

Однако мир заполняет пустоты, которые сам и создает. Через четыре месяца после смерти Элвиса я познакомилась с Грегом, а через четыре месяца после того как я в последний раз видела лиса, мы с Грегом стали строить полные надежд планы на общий дом.

Почти два месяца мы обыскивали горы, и один за другим возможные варианты рушились у нас на глазах. Хотя такая ситуация не была напрямую вызвана наводнением, это событие все равно в итоге сыграло свою роль. Поскольку «небывалый случай за сто лет» ободрал как липку каньоны вверх и вниз по Передовому хребту, свободное жилье в горах стало редкостью.

Я плакала и в тот день, когда мы подписали договор аренды

на дом на краю широко раскинувшегося городка в прериях, и каждый день после этого, пакуя вещи. Но в душе я знала, что это надо сделать. Мне придется отпустить один ландшафт, чтобы войти в другой. Вера, которая говорила мне, что мой лис нашел себе лисичку и они перебрались в более подходящие для них и их детей места, была той же верой, которая твердила, что новая территория, на которую я вступала вместе с Греггом, незнакомая мне в столь многих отношениях, была лучшим местом для нас – вместе.

Первый снег пришел на гору в тот день в конце сентября, когда мы с Греггом складывали вещи в грузовик для переезда. Мокрые осиновые листья облепили дорожку и дицентру, которая, наконец, расцвела, клонясь к земле. Времена года сменились за одну ночь.

Через четыре месяца после смерти Элвиса я познакомилась с Греггом, а через четыре месяца после того как я в последний раз видела лиса, мы с Греггом стали строить полные надежд планы на общий дом.

Пока Грег ждал меня на дорожке, я в последний раз вышла на террасу – Индиан Пикс не было видно, – а потом спустилась по ступеням, чтобы постоять в саду.

Жеода, которую я вынесла с пепелища, по-прежнему стояла на перекрученном пне в форме сердца, как и каждый день с тех пор, как я перевезла ее сюда. Сорок сезонов этот камень с одной плоской гранью был моим талисманом: *выжил камень – выживу и я*. Поначалу я думала сохранить его как напоминание о своей жизнестойкости – но истинная сила, как я, наконец, осознала, кроется не в сопротивлении, а в мягкости, в готовности ступить без опаски в новый день. Вглядываясь в эту туманную грань, я вспомнила слова Гретель Эрлих: «Значит, чтобы понять что-то, мы должны быть выскоблены дочиста, постыжаемое сердце – обнажено». Я всегда хотела познать свое место. Теперь я знала контуры собственного сердца.

Под теньканье синиц на деревьях я вдохнула прохладный горный воздух. На следующий день Нэнси Фармер, которая жила в квартире в предместье Боулдера со времени наводнения, должна была переехать в мою хижину, вернувшись на гору после почти года жизни без нее.

Я оставила непроницаемый каменный лик на пне. Моя история теперь была частью горы Оверленд: *я знаю, из чего состоит мир, и все равно люблю его весь*.

Наконец, пора было трогаться в путь.

Благодарности



Прежде всего, спасибо Питеру Катапано из *The New York Times*, который выдернул меня из десятилетий писательской безвестности, когда опубликовал мой рассказ о лисе в *Menagerie* и тем открыл дверь для всевозможных хороших событий.

Никакой благодарности не достаточно для такого чуда, как Бонни Солоу, моего агента. Она появилась откуда ни возьмись и стала в первую очередь моей родственной душой. Ее интуиция, увлеченность и особый род вкуса к жизни – манна небесная. Спасибо тебе за мудрые советы и любовь к лису, Элвису и ко мне.

Острый взор Шэннон Уэлч из *Scribner* придал этой истории форму и помог создать мемуары из сборника эссе. Кэти Белден мягко стимулировала важнейшие моменты, Нэн Грэм добавила свет и послесловие. Спасибо вам всем! И всей остальной моей команде из *Scribner*, включая феерическую Салли Хауи, моего рекламного агента Кейт Ллойд, а также всех до единого людей, трудолюбиво работавших над созданием этой книги, – море благодарности вам и множество бокалов шампанского.

Столь многие люди помогали, поддерживали и подбадривали мои творческие усилия на протяжении всех этих лет, что я просто обязана упомянуть тех из них, кто упрямо не позволял мне сворачивать с дороги. Среди них Питер Михельсон из Колорадского университета, лучший гость на любом званом ужине и прекрасный человек, который никогда со мной не церемонился. Он и поэтесса Лорна Ди Сервантес поверили первыми. Спасибо Рег Сейнер, которая посеяла семя документалистики, и Лючии Берлин – она на свой собственный окольный лад учила меня верить в себя. Спасибо Майклу Уилсону из университета Висконсина-Милуоки, который видел во мне и

писателя, и коллегу. Спасибо братьям-писателям Дэвиду Гесснеру, Нине Де Грамон, Бернсу «Свити» Эллисону и Большому Джиму Кэмпбеллу, которые входили в мое первое писательское сообщество; их дружба и поддержка питали меня долгие годы.

Важное для меня вдохновение исходило от женщин, участвовавших в моих летних семинарах на горе Оверленд, их воля так часто поддерживала мой творческий огонь! Особенно хочу отметить Лору Маршалл, Джен Рид, Нэнси Фармер и Джо-Анну Роткин. Спасибо вам, Оук, Нэнси И, Джинни, Келли, Хелен, Джулия и все остальные писатели, которые приезжали ко мне заниматься и играть. Спасибо Жаклин Герлихи, которая была со мной с самого начала и является лучшим из известных мне редакторов текста.

Двое друзей поддерживали меня и помогали стать лучше – по-человечески и творчески. Эти отношения были источником не только родства и поэзии, но и частичками необходимой непристойности, глубокой любви к чувственному и неперменной и полной энтузиазма чуткости к словам. Спасибо вечной рок-звезде и сообщнице по преступлениям Уди Петти, моей героине, и Хелен Тернер, дикарке, которая будет всегда и во веки веков танцевать под собственную мелодию широкой души. Я люблю вас обеих.

Я в долгу перед теми, кто не пожалел времени, читая и комментируя эту рукопись, пока я писала и переписывала ее: прежде всего перед Хелен и Уди, затем перед моей тетужкой Мэри-Энн Аувинен-Макгафи и сестрой Нэнси; огромное спасибо! Книга, которую вы держите в руках, не состоялась бы без безмерного великодушия и сверхчеловеческого трудолюбия Элизабет Гейеген – она читала и комментировала каждую главу в далеком Риме, ведя при этом полдюжины курсов, и побуждала меня – всегда! – не останавливаться. Океан благодарности тебе, моя коллега, мой друг.

Спасибо также тем местам, которые помогали мне, пока я писала: фонду *Jentel* в прекрасном Вайоминге – за кошку Мэрилин и чудесную квартирку-студию с камином, художнице Пилар Хэнсон – за долгие прогулки к горизонту, пока мы со всем этим разбирались. Спасибо семейству Маркес за хижину, которая обеспечивала долгие часы сосредоточенности, когда я редактировала текст, и *Java Moose* в Фейрплей, штат Колорадо, за вкусный обед, электричество и вай-фай, когда я приехала подышать воздухом. Спасибо Сэнди и Рэнди за их чудесный дом на Высоком озере и Джин и Хелен за не раз предоставленное убежище.

Спасибо людям Джеймстауна, которые пришли на помощь,

когда я лишилась всего, особенно Каре и Уолди Баумгартам, моей великодушной подруге и спутнице в походах Карен Зи, Бонни Магдалоне, Нэнси Эдельштейн, Джин Хофви, Холли Смит-Манн, покойному Джоуи Хьюлетту и всем завсегдатаям джеймстаунского «Меркантиля». За то, что подарили мне ощущение дома в Джеймстауне, – Хелен и Алану. За любовь и поддержку, когда они были мне нужнее всего, – Рэйнбоу и Адаму. За целую жизнь, наполненную дружбой и ритуалом, – Джолин Киндиг. Спасибо вам, мои соседи по Высокому озеру, Джо и Кэти, Пол и Тереза, вы первыми показали мне, что никто не выживает в одиночку.

И, наконец, море нежности Грегу Маркесу, который великодушно создал акварельные иллюстрации для книги, прочел все черновики и так часто соблюдал режим «тихого утра», пока я писала. Твоя любовь – лестница к звездам. Я знаю, что твоя цель верна.

Примечание от автора



Я старалась рассказать здесь историю о своей жизни и детстве, какой я ее знаю. У моих родственников, которые не просили, чтобы о них писали, есть собственные истории. Им я посвящаю свою любовь с пониманием, что у каждого из нас есть своя история и своя роль.

И последнее, что я точно знаю о горных городках: люди, не описанные на этих страницах, будут видеть на них себя – и им я приношу свои извинения. У остальных изменены имена и черты внешности из уважения к стремлению к анонимности, которое и толкает людей в горы.

notes

Примечания

1 фут приблизительно равен 30 см. – *Здесь и далее примеч. переводчика.*

Неологизм из цикла Стивена Кинга «Темная башня», обозначающий у Кинга заброшенное ранчо Гарберов.

1 акр – ок. 4046 м², или 40,5 сотки.

1 *миля* – ок. 1,609 м.

Род воробьиных из семейства овсянковые; обитают в Северной Америке.

1 ярд – 0,91 м.

Коктейль из апельсинового сока с шампанским.

Франкоговорящий житель Луизианы; здесь, возможно, имеется в виду просто американец с французскими корнями.

Район Сан-Франциско Хейт-Эшбери вошел в историю в 1967 году; жарким летом здесь собрались около ста тысяч хиппи, чтобы отпраздновать знаменитое Лето любви, положив начало мощному общественному движению.

Название и герои американского мультипликационного сериала 1970-х.

Ставка не на конкретную лошадь, а на дорожку или пару дорожек.

Вид пари, в котором необходимо определить участников забега, занявших первое и второе место в указанном порядке.

Ставка на первую, вторую и третью лошадь.

Вид пари, в котором необходимо определить участников забега, занявших первое, второе и третье места в указанном порядке.

Ставка на двух участников, которые финишируют первым и вторым в любой последовательности.

Итальянский соус с анчоусами и овощами.

Можно только догадываться, что это означает. Смысл, разумеется, непристойный.

Героиня детской сказки Джона Ньюбери, вариации на тему «Золушки»; в переносном смысле – настолько положительный персонаж, что скулы сводит.

У этого гавайского слова есть значения «злой», «плохой»; здесь, возможно, «негодник» или «злыдень».

Катание в положении «лежа» на прибрежных волнах на доске длиной около 1 метра.

Гавайский вариант «бро» – означает «брат».

Алкогoльный коктейль на основе рома.

Крытый балкон или веранда; зона отдыха.

Сеть американских розничных магазинов.

Американская сеть универсальных магазинов.

Kelly Services – американская компания, предоставляющая услуги по найму персонала, консультированию, аутсорсингу и т. д.

Сандэнс Кид (1867–1908) – известный американский преступник, вместе с Бутчем Кэссиди организовавший «Дикую банду», члены которой долгое время грабили банки и поезда.

Таос (англ. Taos) – город на юго-западе США, административный центр округа Таос штата Нью-Мексико.

Дэвид Герберт Лоуренс (1855–1930) – британский писатель начала XX века, известный романами «Любовник леди Чаттерлей», «Влюблённые женщины».

Здесь, видимо, имеется в виду горизонтальный уступ ниже участка.

Полный корд, или просто корд, – это стек дров шириной 4 фута (1,2 м), высотой 4 фута (1,2 м) и длиной 8 футов (2,4 м). Общий объем составляет 128 кубических футов (3,5 м³).

Приблизительно $3,6 \times 1,8$ м.

Precioso (исп.) – дорогой, драгоценный, прекрасный, дивный.

Итальянский соус по-охотничьи.

Двухдольный размер в музыке в быстрых темпах.

Термин, означающий удивительное нахальство, наглость высшей степени.

Вопрос, загадка, которую задают дзэнские наставники, для того чтобы привести ученика в особое психическое состояние «всепонимания», или понимания без слов.

Ок. 227 л.

Малиново-ежевичный ликер.

Искусственная приманка для ловли рыбы, разновидность блесны.

Замкнутая полость в каких-либо горных породах, не полностью заполненная скрыто- или явнокристаллическим минеральным веществом.

Из стихотворения Джерарда Мэнли Хопкинса «Пятнистый мир» (*Pied Beauty*).

Казу – американский народный музыкальный духовой инструмент, принцип которого основан на изменении тембра голоса играющего.

Мелкие двустворчатые моллюски.

Йоль у германских народов – самая длинная ночь в году (декабрьское солнцестояние). Она считалась праздничной, и был целый ряд обычаев, которые требовалось соблюсти. В том числе надо было сжечь Йольское полено, что символизировало возрождение, приход света в жизнь.

Поэма Роберта Сервиса.

Пирог с курицей.

Японская круглая подушка для сидения во время медитации.

Американский актер, комик, участник комедийной труппы «Братья Маркс».

Испанское игристое вино.

В современной Латинской Америке ретабло нередко представляют собой выполненные самими прихожанами иллюстрации бытовых историй о том, как им помог тот или иной святой.

Милагро, от исп. «чудо» – чудотворные амулеты.

Известный бренд мексиканской керамики.

Medicare – одна из федеральных программ медицинского страхования для населения старшего возраста (старше 65 лет) и инвалидов. *Medicaid* — американская государственная программа медицинской помощи нуждающимся. Осуществляется на уровне штатов при поддержке федеральных властей.

Эскимосское жилище из снежных или ледяных блоков.

Маленькие бумажные фонарики, как правило, со свечами, популярные рождественские украшения в Нью-Мексико и других юго-восточных штатах.